Александр Солженицын

В КРУГЕ ПЕРВОМ


ИНКОМ НВ



Марфино. Декабрь 1948

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Малое собрание сочинений

Том 2

В круге первом

Роман

Книга II



МОСКВА 1991

ББК 84Р7
С60

Печатается по тексту собрания сочинений А.Солженицына
Вермонт — Париж, YMCA-PRESS, 1978, тома 1 — 2

Тексты «Малого собрания сочинений» подготовлены
Издательским центром «Новый мир» совместно с автором

Книга издана при содействии Московского
инновационного коммерческого банка

Солженицын А.
С60 В круге первом. Книга II. — М.: ИНКОМ НВ, 1991. — 320 с.
ISBN 5-85060-034-5

С $\frac{4702010201-08}{А10(03)-91}$ **без объявл.** ББК 84Р7

ISBN 5-85060-034-5

В полукруглой комнате второго этажа под высоким сводчатым потолком алтаря было особенно просторно мыслям и весело.

Все двадцать пять человек этой комнаты собрались дружно к шести часам. Одни поскорей разделись до белья, стремясь избавиться от надоевшей тюремной шкуры, и плюхнулись с размаху на свою койку (или, подобно обезьянам, вскарабкались наверх), другие так же плюхнулись, но не снимая комбинезона, кто-то уже стоял наверху и, размахивая руками, кричал оттуда приятелю через всю комнату, иные ничего не предприняли ещё, а отаптывались и оглядывались, ощущая приятность предстоявших свободных часов — и теряясь, как начать их поприятнее.

Среди таких был Исаак Каган, чёрно-кудлатый низенький «директор аккумуляторной», как его называли. У него было особенно хорошее расположение духа от прихода в просторную светлую комнату из тёмной подвальной аккумуляторной с плохой вентиляцией, где он по четырнадцать часов в день копался кротом. Впрочем, он был доволен и этой своей работой в подвале, говоря, что в лагере давно бы уже загнулся (он никогда не уподоблялся хвастунам, гордящимся, что в лагере «жили лучше, чем на воле»).

На воле Исаак Каган, недоучившийся инженер, кладовщик материально-технического снабжения, старался жить незаметной маленькой жизнью и пройти эпоху великих свершений — боком. Он знал, что тихим кладовщиком быть и спокойнее и прибыльнее. В своей замкнутости он таил почти огненную страсть к наживе и ею был занят. Ни к какой политической деятельности его не влекло. Зато, как только умел, он и в кладовой соблюдал законы субботы. Но Госбезопасность избрала почему-то Кагана запрячь в свою колесницу, и стали его тягать в закрытые комнаты и в явочные безобидные места, настаивая, чтоб он стал сексотом. Очень это было отвратно Кагану. Прямоты и смелости такой не было у него (а у кого она была?), чтобы резануть им в глаза, что это — гадство, но с неистощимым терпением он молчал, мямлил, тянул, уклонялся, ёрзал на стуле — и так-таки не подписал обязательства. Не то, чтобы он совсем не был способен донести. Не дрогнув, донёс бы он на человека, причинившего ему зло или унижение. Но отвращалось сердце его доносить на людей добрых к нему или безразличных.

Однако в Госбезопасности за это упрямство на него затаили. Ото всего на свете не убережёшься. В кладовой же у него затеяли разговор: кто-то выругал инструмент, кто-то снабжение, кто-то планирование. Исаак и рта не открыл при этом, выписывал себе накладные химическим карандашом. Но стало известно (да наверно, подстроили), друг на друга все указали, кто что говорил, и по десятому пункту получили все по десять лет. Прошёл и Каган пять очных ставок,

но никто не доказал, что он хоть слово вымолвил. Была бы 58-я статья поуже — и пришлось бы Кагана выпускать. Но следователь знал свой последний запас — пункт 12-й той же статьи — *недоносительство*. За недоносительство и припаяли Кагану те же десять астрономических лет.

Из лагеря Каган попал на шарашку благодаря своему выдающемуся остроумию. В трудную минуту, когда его изгнали с поста «заместителя старшего по бараку» и стали гонять на лесоповал, он написал письмо на имя председателя совета министров товарища Сталина о том, что если ему, Исааку Кагану, правительство предоставит возможность, он берётся осуществить управление по радио торпедными катерами.

Расчёт был верен. Ни у кого в правительстве не дрогнуло бы сердце, если бы Каган по-человечески написал, что ему очень-очень плохо и он просит его спасти. Но выдающееся военное изобретение стоило того, чтобы автора немедленно привести в Москву. Кагана привезли в Марфино, и разные чины с голубыми и синими петлицами приезжали к нему и торопили его воплотить дерзкую техническую идею в готовую конструкцию. Уже получая здесь белый хлеб и масло, Каган, однако, не торопился. С большим хладнокровием он отвечал, что он сам не торпедист и, естественно, нуждается в таковом. За два месяца достали торпедиста (зэка). Но тут Каган резонно возразил, что сам он — не судовой механик и, естественно, нуждается в таковом. Ещё за два месяца привезли и судового механика (зэка). Каган вздохнул и сказал, что не радио является его специальностью. Радио-инженеров в Марфине было много, и одного тотчас прикомандировали к Кагану. Каган собрал их всех вместе и невозмутимо, так что никто не мог бы заподозрить его в насмешке, заявил им: «Ну вот, друзья, когда теперь вас собрали вместе, вы вполне могли бы общими усилиями изобрести управляемые по радио торпедные катера. И не мне лезть советовать вам, специалистам, как это лучше сделать.» И, действительно, их троих услали на военно-морскую шарашку, Каган же за выигранное время пристроился в аккумуляторной, и все к нему привыкли.

Сейчас Каган задирал лежащего на кровати Рубина — но издали, так чтобы Рубин не мог достать его пинком ноги.

— Лев Григорьич, — говорил он своею не вполне разборчивой вязкой речью, зато и не торопясь. — В вас заметно ослабело сознание общественного долга. Масса жаждет развлечения. Один вы можете его доставить — а уткнулись в книгу.

— Исаак, идите на ..., — отмахнулся Рубин. Он уже успел лечь на живот, с лагерной телогрейкой, накинутой на плечи сверх комбинезона (окно между ним и Сологдиным было раскрыто «на Маяковского», оттуда потягивало приятной снежной свежестью) и читал.

— Нет, серьёзно, Лев Григорьич! — не отставал вцепчивый Каган.

— Всем очень хочется ещё раз послушать вашу талантливую «Ворону и лисицу».

— А кто на меня куму стукнул? Не вы ли? — огрызнулся Рубин. В прошлый воскресный вечер, веселя публику, Рубин экспромтом сочинил пародию на крыловскую «Ворону и лисицу», полную лагерных терминов и невозможных для женского уха оборотов, за что его пять раз вызывали на «бис» и качали, а в понедельник вызвал майор Мышин и допрашивал о развращении нравственности; по этому поводу отобрано было несколько свидетельских показаний, а от Рубина — подлинник басни и объяснительная записка.

Сегодня после обеда Рубин уже два часа проработал в новой отведённой для него комнате, выбрал типичные для искомого преступника переходы «речевого лада» и «форманты», пропустил их через аппарат видимой речи, развесил сушить мокрые ленты и с первыми догадками и с первыми подозрениями, но без воодушевления к новой работе, наблюдал, как Смолосидов опечатал комнату сургучом. После этого в потоке зэков, как в стаде, возвращающемся в деревню, Рубин пришёл в тюрьму.

Как всегда под подушкой у него, под матрасом, под кроватью и в тумбочке вперемежку с едой лежало десятка полтора переданных ему в передачах самых интересных (для него одного, потому их и не растаскивали) книг: китайско-французский, латышско-венгерский и русско-санскритский словари (уже два года Рубин трудился над грандиозной, в духе Энгельса и Марра, работой по выводу всех слов всех языков из понятий «рука» и «ручной труд» — он не подозревал, что в минувшую ночь Корифей Языкознания занёс над Марром резак); потом лежали там «Саламандры» Чапека; сборник рассказов весьма прогрессивных (то есть сочувствующих коммунизму) японских писателей; «For Whom the Bell Tolls» (Хемингуэя, как переставшего быть прогрессивным, у нас переводить замялись); роман Эптона Синклера, никогда не переводившийся на русский; и мемуары полковника Лоуренса на немецком, ибо достались в числе трофеев формы Лоренц. .

В мире было необъятно много книг, самых необходимейших, самых первоочередных, и жадность все их прочесть никогда не давала Рубину возможности написать ни одной своей. Сейчас Рубин готов был глубоко за полночь, вовсе не думая о завтрашнем рабочем дне, только читать и читать. Но к вечеру и остроумие Рубина, и жажда спора и витийства также бывали особенно разогнаны — и надо было совсем немного, чтобы призвать их на служение обществу. Были люди на шарашке, кто не верил Рубину, считая его стукачом (из-за слишком марксистских взглядов, не скрываемых им), — но не было на шарашке человека, который бы не восторгался его затейством.

Воспоминание о «Вороне и лисице», уснащённой хорошо переня-

тым жаргоном блатных, было так живо, что и теперь вслед за Каганом многие в комнате стали громко требовать от Рубина какой-нибудь новой хохмы. И когда Рубин приподнялся и, мрачный, бородатый, вылез из-под укрытия верхней над ним койки, словно из пещеры, — все бросили свои дела и приготовились слушать. Только Двоетёсов на верхней койке продолжал резать на ногах ногти так, что они далеко отлетали, да Абрамсон под одеялом, не оборачиваясь, читать. В дверях столпились любопытные из других комнат, средь них татарин Булатов в роговых очках резко кричал:

— Просим, Лёва! Просим!

Рубин вовсе не хотел потешать людей, в большинстве ненавидевших или попиравших всё ему дорогое; и он знал, что новая хохма неизбежно значила с понедельника новые неприятности, трёпку нервов, допросы у «Шишкина-Мышкина». Но будучи тем самым героем поговорки, кто для красного словца не пожалеет родного отца, Рубин притворно нахмурился, деловито оглянулся и сказал в наступившей тишине:

— Товарищи! Меня поражает ваша несерьёзность. О какой хохме может идти речь, когда среди нас разгуливают наглые, но всё ещё не выявленные преступники? Никакое общество не может процветать без справедливой судебной системы. Я считаю необходимым начать наш сегодняшний вечер с небольшого судебного процесса. В виде зарядки.

— Правильно!

— А над кем суд?

— Над кем бы то ни было! Всё равно правильно! — раздавались голоса.

— Забавно! Очень забавно! — поощрял Сологдин, усаживаясь поудобнее. Сегодня, как никогда, он заслужил себе отдых, а отдыхать надо с выдумкой.

Осторожный Каган, почувствовав, что им же вызванная затея грозит переступить границы благоразумия, незаметно оттирался назад, сесть на свою койку.

— Над кем суд — это вы узнаете в ходе судебного разбирательства, — объявил Рубин (он сам ещё не придумал). — Я, пожалуй, буду прокурором, поскольку должность прокурора всегда вызывала во мне особенные эмоции. — (Все на шарашке знали, что у Рубина были личные ненавистники-прокуроры, и он уже пять лет единоборствовал со Всесоюзной и Главной Военной прокуратурами.) — Глеб! Ты будешь председатель суда. Сформируй себе быстро тройку — нелицеприятную, объективную, ну, словом, вполне послушную твоей воле.

Нержин, сбросив внизу ботинки, сидел у себя на верхней койке. С каждым часом проходившего воскресного дня он всё больше отчуждался от утреннего свидания и всё больше соединялся с привыч-

ным арестантским миром. Призыв Рубина нашёл в нём поддержку. Он подтянулся к торцевым перильцам кровати, спустил ноги между прутьями и таким образом оказался на трибуне, возвышенной над комнатою.

— Ну, кто ко мне в заседатели? Залезай!

Арестантов в комнате собралось много, всем хотелось послушать суд, но в заседатели никто не шёл — из осмотрительности или из боязни показаться смешным. По одну сторону от Нержина, тоже наверху, лежал и снова читал утреннюю газету вакуумщик Земеля. Нержин решительно потянул его за газету:

— Улыба! Довольно просвещаться! А то потянет на мировое господство. Подбери ноги. Будь заседателем!

Снизу послышались аплодисменты:

— Просим, Земеля, просим!

Земеля был талая душа и не мог долго сопротивляться. Раздаваясь в улыбке, он свесил через поручни лысеющую голову:

— Избранник народа — высокая честь! Что вы, друзья? Я не учился, я не умею...

Дружный хохот («Все не умеем! Все учимся!») был ему ответом и избранием в заседатели.

По другую сторону от Нержина лежал Руська Доронин. Он разделся, с головой и ногами ушёл под одеяло и ещё подушкой сверху прикрыл своё счастливое упоённое лицо. Ему не хотелось ни слышать, ни видеть, ни чтоб его видели. Только тело его было здесь — мысли же и душа следовали за Кларой, которая ехала сейчас домой. Перед самым уходом она докончила плести корзиночку на ёлку и незаметно подарила её Руське. Эту корзиночку он держал теперь под одеялом и целовал.

Видя, что напрасно было бы шевелить Руську, Нержин оглядывался в поисках второго.

— Амантай! Амантай! — звал он Булатова. — Иди в заседатели.

Очки Булатова задорно блестели.

— Я бы пошёл, да там сесть негде! Я тут у двери, комендантом буду!

Хоробров (он уже успел постричь Абрамсона, и ещё двоих, и стриг теперь посередине комнаты нового клиента, а тот сидел перед ним голый до пояса, чтоб не трудиться потом счищать волосы с белья) крикнул:

— А зачем второго заседателя! Приговор-то уж, небось, в кармане? Катай с одним!

— И то правда, — согласился Нержин. — Зачем дармоеда держать? Но где же обвиняемый? Комендант! Введите обвиняемого! Прошу тишины!

И он постучал большим мундштуком по койке. Разговоры стихали.

— Суд! Суд! — требовали голоса. Публика сидела и стояла.

— Аще взыду на небо — ты та́м еси, аще сниду во ад — ты та́м еси, — снизу из-под председателя суда меланхолически подал Потапов. — Аще вселюся в преисподняя моря, — и там десница твоя настигнет мя! — (Потапов прихватил закона божьего в гимназии, и в чёткой инженерной голове его сохранились тексты катехизиса.)

Снизу же, из-под заседателя, послышался, отчётливый стук ложечки, размешивающей сахар в стакане.

— Валентуля! — грозно крикнул Нержин. — Сколько раз вам говорено — не стучать ложечкой!

— В подсудимые его! — взвопил Булатов, и несколько услужливых рук тотчас вытянули Прянчикова из полумрака нижней койки на середину комнаты.

— Довольно! — с ожесточением вырывался Прянчиков. — Мне надоели прокуроры! Мне надоели ваши суды! Какое право имеет один человек судить другого? Ха-ха! Смешно! Я презираю вас, парниша! — крикнул он председателю суда. — Я ... вас!

За то время, что Нержин сколачивал суд, Рубин уже всё придумал. Его тёмно-карие глаза светились блеском находки. Широким жестом он пощадил Прянчикова:

— Отпустите этого птенца! Валентуля с его любовью к мировой справедливости вполне может быть казённым адвокатом. Дайте ему стул!

В каждой шутке бывает неуловимое мгновение, когда она либо становится пошлой и обидной, либо вдруг сплавляется со вдохновением. Рубин, обернувший себе через плечо одеяло под вид мантии, взлез в носках на тумбочку и обратился к председателю:

— Действительный государственный советник юстиции! Подсудимый от явки в суд уклонился, будем судить заочно. Прошу начинать!

В толпе у дверей стоял и рыжеусый дворник Спиридон. Его лицо, обвислое в щеках, было изранено многими морщинами суровости, но из той же сетки странным образом была вот-вот готова выбиться и весёлость. Исподлобья смотрел он на суд.

За спиной Спиридона с долгим утончённым восковым лицом стоял профессор Челнов в шерстяной шапочке.

Нержин объявил скрипуче:

— Внимание, товарищи! Заседание военного трибунала шарашки Марфино объявляю открытым. Слушается дело...?

— Ольговича Игоря Святославича... — подсказал прокурор.

Подхватывая замысел, Нержин монотонно-гнусаво как бы прочёл:

— Слушается дело Ольговича Игоря Святославича, князя Новгород-Северского и Путивльского, год рождения... приблизительно...

Чёрт возьми, секретарь, почему приблизительно?.. Внимание! Обвинительное заключение, ввиду отсутствия у суда письменного текста, зачтёт прокурор.

55

Рубин заговорил с такой лёгкостью и складом, будто глаза его действительно скользили по бумаге (его самого судили и пересуживали четыре раза, и судебные формулы запечатлелись в его памяти):

«Обвинительное заключение по следственному делу номер пять миллионов дробь три миллиона шестьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят четыре по обвинению **ОЛЬГОВИЧА ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА**.

Органами государственной безопасности привлечён в качестве обвиняемого по настоящему делу Ольгович И. С. Расследованием установлено, что Ольгович, являясь полководцем доблестной русской армии, в звании князя, в должности командира дружины, оказался подлым изменником Родины. Изменническая деятельность его проявилась в том, что он сам добровольно сдался в плен заклятому врагу нашего народа ныне изобличённому хану Кончаку, — и кроме того сдал в плен сына своего Владимира Игоревича, а также брата и племянника, и всю дружину в полном составе со всем оружием и подотчётным материальным имуществом.

Изменническая деятельность его проявилась также в том, что он, с самого начала поддавшись на удочку провокационного солнечного затмения, подстроенного реакционным духовенством, не возглавил массовую политико-разъяснительную работу в своей дружине, отправляющейся «шеломами испить воды из Дону», — не говоря уже об антисанитарном состоянии реки Дон в те годы, до введения двойного хлорирования. Вместо всего этого обвиняемый ограничился, уже в виду половцев, совершенно безответственным призывом к войску:

«Братья, сего есмы искали, а потягнем!»
(следственное дело, том 1, лист 36).

Губительное для нашей Родины значение поражения объединённой новгород-северской-курской-путивльской-рыльской дружины лучше всего охарактеризовано словами великого князя киевского Святослава:

«Дал ми Бог притомити поганыя,
но не воздержавши уности.»
(следственное дело, том 1, лист 88).

Ошибкой наивного Святослава (вследствие его классовой слепоты) является, однако, то, что плохую организацию всего похода и дробление русских военных усилий он приписывает лишь «уности», то есть, юности обвиняемого, не понимая, что речь здесь идёт о далеко рассчитанной измене.

Самому преступнику удалось ускользнуть от следствия и суда, но свидетель *Бородин* Александр Порфирьевич, а также свидетель, пожелавший остаться неизвестным, в дальнейшем именуемый как *Автор Слова*, неопровержимыми показаниями изобличают гнусную роль князя И. С. *Ольговича* не только в момент проведения самой битвы, принятой в невыгодных для русского командования условиях метеорологических:

«Веют ветры, уж наносят стрелы,
На полки их Игоревы сыплют...»,

и тактических:

«Ото всех сторон враги подходят,
обступают наших отовсюду»,

(там же, том 1, листы 123, 124,
показания Автора Слова),

но и ещё более гнусное поведение его и его княжеского отпрыска в плену. Бытовые условия, в которых они оба содержались в так называемом плену, показывают, что они находились в величайшей милости у хана Кончака, что объективно являлось вознаграждением им от половецкого командования за предательскую сдачу дружины.

Так, например, показаниями свидетеля Бородина установлено, что в плену у князя Игоря была своя лошадь и даже не одна:

«Хочешь, возьми ко́ня любого!»

(там же, том 1, лист 233).

Хан Кончак при этом говорил князю Игорю:

«Всё пленником себя ты тут считаешь.
А разве ты живёшь как пленник,
а не гость мой?»

(там же, том 1, лист 281)

и ниже:

«Сознайся, разве пленники та́к живут?»

(там же, том 1, лист 300).

Половецкий хан вскрывает всю циничность своих отношений с князем-изменником:

«За отвагу твою, да за удаль твою
Ты мне, князь, полюбился.»

(следственное дело, том 2, лист 5).

Более тщательным следствием было вскрыто, что эти циничные отношения существовали и задолго д о сражения на реке Каяле:

«Ты люб мне был всегда»

(там же, лист 14,
показания свидетеля Бородина),

и даже:

«Не врагом бы твоим, а союзником верным,
А другом надёжным, а братом твоим
Мне хотелось бы быть...»

(там же).

Всё это объективизирует обвиняемого как активного пособника хана Кончака, как давнишнего половецкого агента и шпиона.

На основании изложенного обвиняется *Ольгович* Игорь Святославич, 1151 года рождения, уроженец города Киева, русский, беспартийный, ранее не судимый, гражданин СССР, по специальности полководец, служивший командиром дружины в звании князя, награждённый орденами Варяга 1-й степени, Красного Солнышка и медалью Золотого Щита, в том, что

он совершил гнусную измену Родине, соединённую с диверсией, шпионажем и многолетним преступным сотрудничеством с половецким ханством,

то есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58-1-б, 58-6, 58-9 и 58-11 УК РСФСР.

В предъявленных обвинениях *Ольгович* виновным себя признал, изобличается показаниями свидетелей, поэмой и оперой.

Руководствуясь статьёй 208-й УПК РСФСР, настоящее дело направлено прокурору для предания обвиняемого суду».

Рубин перевёл дух и торжествующе оглядел зэков. Увлечённый потоком фантазии, он уже не мог остановиться. Смех, перекатывавшийся по койкам и у дверей, подстёгивал его. Он уже сказал более и острее того, что хотел бы при нескольких присутствующих здесь стукачах или при людях, злобно настроенных к власти.

Спиридон под жёсткой седорыжей щёткой волос, растущих у него безо всякой причёски и догляда в сторону лба, ушей и затылка, не

засмеялся ни разу. Он хмуро взирал на суд. Пятидесятилетний русский человек, он впервые слышал об этом князе старых времён, попавшем в плен — но в знакомой обстановке суда и непререкаемой самоуверенности прокурора он переживал ещё раз всё, что произошло с ним самим и угадывал всю несправедливость доводов прокурора и всю кручинушку этого горемычного князя.

— Ввиду отсутствия обвиняемого и ненадобности допроса свидетелей, — всё так же мерно-гнусаво расправлялся Нержин, — переходим к прениям сторон. Слово имеет опять же прокурор.

И покосился на Земелю.

«Конечно, конечно», — подкивнул на всё согласный заседатель.

— Товарищи судьи! — мрачно воскликнул Рубин. — Мне мало, что остаётся добавить к той цепи страшных обвинений, к тому грязному клубку преступлений, который распутался перед вашими глазами. Во-первых, мне хотелось бы решительно отвести распространённое гнилое мнение, что раненый имеет моральное право сдаться в плен. Это в корне не наш взгляд, товарищи! А тем более князь Игорь. Вот говорят, что он был ранен на поле боя. Но кто нам может это доказать теперь, через семьсот шестьдесят пять лет? Сохранилась ли справка о его ранении, подписанная дивизионным военврачом? Во всяком случае, в следственном деле такой справки не подшито, товарищи судьи!..

Амантай Булатов снял очки — и без их задорного мужественного блеска глаза его оказались совсем печальными.

Он, и Прянчиков, и Потапов, и ещё многие из столпившихся здесь арестантов были посажены за такую же «измену родине» — за *добровольную* сдачу в плен.

— Далее, — гремел прокурор, — мне хотелось бы особо оттенить отвратительное поведение обвиняемого в половецком стане. Князь Игорь думает вовсе не о Родине, а о жене:

«Ты одна, голубка-лада,
Ты одна...»

Аналитически это совершенно понятно нам, ибо Ярославна у него — жена молоденькая, вторая, на такую бабу нельзя особенно полагаться, но ведь фактически князь Игорь предстаёт перед нами как шкурник! А *для кого* плясались половецкие пляски? — спрашиваю я вас. Опять же для него! А его гнусный отпрыск тут же вступает в половую связь с Кончаковной, хотя браки с иностранками нашим подданным категорически запрещены соответствующими компетентными органами! И это в момент наивысшего напряжения советско-половецких отношений, когда...

— Позвольте! — выступил от своей койки кудлатый Каган. —

Откуда прокурору известно, что на Руси уже тогда была советская власть?

— Комендант! Выведите этого подкупленного агента! — постучал Нержин. Но Булатов не успел шевельнуться, как Рубин с лёгкостью принял нападение.

— Извольте, я отвечу! Диалектический анализ текстов убеждает нас в этом. Читайте у Автора Слова:

«Веют стяги к р а с н ы е в Путивле».

Кажется, ясно? Благородный князь Владимир Галицкий, начальник Путивльского райвоенкомата, собирает народное ополчение, Скулу и Ерошку, на защиту родного города, — а князь Игорь тем временем рассматривает голые ноги половчанок? Оговорюсь, что все мы весьма сочувствуем этому его занятию, но ведь Кончак же предлагает ему на выбор «любую из красавиц» — так почему ж он, гад, её не берёт? Кто из присутствующих поверит, чтобы человек мог сам отказаться от бабы, а? Вот тут-то и кроется предел цинизма, до конца разоблачающий обвиняемого — это так называемый побег из плена и его «добровольное» возвращение на Родину! Да кто же поверит, что человек, которому предлагали «коня любого и злата» — вдруг добровольно возвращается на родину, а это всё бросает, а? Как это может быть?..

Именно этот, именно этот вопрос задавался на следствии вернувшимся пленникам, и Спиридону задавался этот вопрос: зачем же бы ты вернулся на родину, если б тебя не завербовали?!..

— Тут может быть одно и только одно толкование: князь Игорь был завербован половецкой разведкой и заброшен для разложения киевского государства! Товарищи судьи! Во мне, как и в вас, кипит благородное негодование. Я гуманно требую — повесить его, сукиного сына! А поскольку смертная казнь отменена — вжарить ему двадцать пять лет и пять по рогам! Кроме того, в частном определении суда: оперу «Князь Игорь» как совершенно аморальную, как популяризирующую среди нашей молодёжи изменнические настроения — со сцены снять! Свидетеля по данному процессу Бородина А.П. привлечь к уголовной ответственности, выбрав меру пресечения — арест. И ещё привлечь к ответственности аристократов: 1) Римского, 2) Корсакова, которые если бы не дописывали этой злополучной оперы, она бы не увидела сцены. Я кончил! — Рубин грузно соскочил с тумбочки. Речь уже тяготила его.

Никто не смеялся.

Прянчиков, не ожидая приглашения, поднялся со стула и в глубокой тишине сказал растерянно, тихо:

— *Тан пи*, господа! *Тан пи*! У нас пещерный век или двадцатый? Что значит — измена? Век ядерного распада! полупроводников! элек-

тронного мозга!.. Кто имеет право судить другого человека, господа? Кто имеет право лишать его свободы?

— Простите, это уже — защита? — вежливо выступил профессор Челнов, и все обратились в его сторону. — Я хотел бы прежде всего в порядке прокурорского надзора добавить несколько фактов, упущенных моим достойным коллегой, и...

— Конечно, конечно, Владимир Эрастович! — поддержал Нержин. — Мы всегда за обвинение, мы всегда — против защиты и готовы идти на любую ломку судебного порядка. Просим!

Сдержанная улыбка изгибала губы профессора Челнова. Он говорил совсем тихо — и потому только было его хорошо слышно, что его слушали почтительно. Выблекшие глаза его смотрели как-то мимо присутствующих, будто перед ним перелистывались летописи. Шишачок на его шерстяном колпачке ещё заострял лицо и придавал ему настороженность.

— Я хочу указать, — сказал профессор математики, — что князь Игорь был бы разоблачён ещё до назначения полководцем при первом же заполнении нашей спецанкеты. Его мать была половчанка, дочь половецкого князя. Сам по крови наполовину половец, князь Игорь долгие годы и союзничал с половцами. «Союзником верным и другом надёжным» для Кончака он у ж е б ы л до похода! В 1180 году, разбитый мономаховичами, он бежал от них в общей лодке с ханом Кончаком! Позже Святослав и Рюрик Ростиславич звали Игоря в большие общерусские походы против половцев — но Игорь уклонился под предлогом гололедицы — «бяшеть серен велик». Может быть потому, что уже тогда Свобода Кончаковна была просватана за Владимира Игоревича? В рассматриваемом 1185 году, наконец, — кто помог Игорю бежать из плена? Половец же! Половец Овлур, которого Игорь затем «учинил вельможею». А Кончаковна привезла потом Игорю внука... За укрытие этих фактов я предлагал бы привлечь к ответственности ещё и Автора Слова, затем музыкального критика Стасова, проглядевшего изменнические тенденции в опере Бородина, ну и, наконец, графа Мусина-Пушкина, ибо не мог же он быть непричастен к сожжению единственной рукописи Слова? Явно, что кто-то, кому это выгодно, *заметал следы.*

И Челнов отступил, показывая, что он кончил.

Всё та же слабая улыбка была на его губах.

Молчали.

— Но кто же будет защищать подсудимого? Ведь человек нуждается в защите! — возмутился Иссак Каган.

— Нечего его, гада, защищать! — крикнул Двоетёсов. — Один Бэ — и к стенке!

Сологдин хмурился. Очень смешно было, что говорил Рубин, а занятия Челнова он тем более уважал, но князь Игорь был представитель как бы рыцарского, то есть самого славного периода русской

истории, — и потому не следовало его даже. косвенно использовать для насмешек. У Сологдина образовался неприятный осадок.

— Нет, нет, как хотите, а я выступаю на защиту! — сказал осмелевший Исаак, обводя хитрым взглядом аудиторию. — Товарищи судьи! Как благородный казённый адвокат я вполне присоединяюсь ко всем доводам государственного обвинителя. — Он тянул и немного шамкал. — Моя совесть подсказывает мне, что князя Игоря не только надо повесить, но и четвертовать. Верно, в нашем гуманном законодательстве вот уже третий год нет смертной казни, и мы вынуждены заменять её. Однако мне непонятно, почему прокурор так подозрительно мягкосердечен? (Так надо проверить и прокурора!) Почему по лестнице наказаний он спускается сразу на две ступеньки — и доходит до двадцати пяти лет каторжных работ? Ведь в нашем уголовном кодексе есть наказание, лишь немногим мягче смертной казни, наказание, гораздо более страшное, чем двадцать пять лет каторжных работ.

Исаак медлил, чтоб вызвать тем большее впечатление.

— Какое же, Исаак? — кричали ему нетерпеливо. Тем медленнее, с тем более наивным видом он ответил:

— Статья 20-я, пункт «а».

Сколько сидело их здесь, с богатым тюремным опытом, никто никогда не слышал такой статьи. Докопался дотошный!

— Что ж она гласит? — выкрикивали со всех сторон непристойные предположения. — Вырезать ...?

— Почти, почти, — невозмутимо подтверждал Исаак. — Именно, духовно кастрировать. Статью 20-я, пункт «а» — объявить врагом трудящихся и изгнать из пределов СССР! Пусть там, на Западе, хоть подохнет! Я кончил.

И скромно, держа голову набок, маленький, кудлатый, отошёл к своей кровати.

Взрыв хохота потряс комнату.

— Как? Как? — заревел, захлебнулся Хоробров, а клиент его подскочил от рывка машинки. — Изгнать? И есть такой пункт?

— Проси утяжелить! Проси утяжелить наказание! — кричали ему.

Мужик Спиридон улыбался лукаво.

Все разом говорили и разбредались.

Рубин опять лежал на животе, стараясь вникнуть в монголо-финский словарь. Он проклинал свою дурацкую манеру выскакивать, он стыдился сыгранной им роли.

Он хотел, чтоб его ирония коснулась только несправедливых судов, люди же не знали, где остановиться, и насмехались над самым дорогим — над социализмом.

А Абрамсон, всё так же прижавшись плечом и щекою ко взбитой подушке, глотал и глотал «Монте-Кристо». Он лежал спиной к происходящему в комнате. Никакая комедия суда уже не могла занять его. Он только слегка обернул голову, когда говорил Челнов, потому что подробности оказались для него новы.

За двадцать лет ссылок, пересылок, следственных тюрем, изоляторов, лагерей и шарашек Абрамсон, когда-то нехрипнущий, легко будоражимый оратор, стал бесчувственен, стал чужд страданиям своим и окружающих.

Разыгранный сейчас в комнате судебный процесс был посвящён судьбе *потока* сорок пятого — сорок шестого годов. Абрамсон теоретически мог признать трагичность судьбы пленников, но всё же это был только поток, один из многих и не самых замечательных. Пленники любопытны были тем, что повидали многие заморские страны («живые лжесвидетели», как шутил Потапов), но всё же поток их был сер, это были беспомощные жертвы войны, а не люди, которые бы добровольно избрали политическую борьбу путём своей жизни.

Всякий поток зэков в НКВД, как и всякое поколение людей на Земле, имеет свою историю, своих героев.

И трудно одному поколению понять другое.

Абрамсону казалось, что эти люди не шли ни в какое сравнение с теми — с теми исполинами, кто, как он сам, в конце двадцатых годов добровольно избирали енисейскую ссылку вместо того, чтоб отречься от своих слов, сказанных на партсобрании, и остаться в благополучии — такой выбор давался каждому из них. Те люди не могли снести искажения и опозорения революции и готовы были отдать себя для очищения её. Но это «племя младое незнакомое» через тридцать лет после Октября сходило в камеру и с мужицким матом запросто повторяло то самое, за что ЧОНовцы стреляли, жгли и топили в гражданскую войну.

И потому Абрамсон, ни к кому лично из пленников не враждебный и ни с кем отдельно из них не спорящий, в общем не принимал этой породы.

Да и вообще Абрамсон (как он сам себя уверял) давно переболел всякими арестантскими спорами, исповедями и рассказами о виденных событиях. Любопытство к тому, что говорят в другом углу камеры, если испытывал он в молодости, то потерял давно. Жить производством он тоже давно отгорел. Жить жизнью семьи он не мог, потому что был иногородний, свиданий ему никогда не давали, а подцензурные письма, приходившие на шарашку, были ещё писавшими их невольно обеднены и высушены от соков живого бытия. Не задерживал он своего внимания и на газетах: смысл всякой газеты

становился ему ясен, едва он пробегал её заголовки. Музыкальные передачи он мог слушать в день не более часа, а передач, состоящих из слов, его нервы вовсе не выносили, как и лживых книг. И хотя внутри себя, где-то там, за семью перегородками, он сохранил не только живой, но самый болезненный интерес к мировым судьбам и к судьбе того учения, которому заклал свою жизнь, — наружно он воспитал себя в полном пренебрежении окружающим. Так вовремя не дострелянный, вовремя не доморенный, вовремя не дотравленный троцкист Абрамсон любил теперь из книг не те, которые жгли правдой, а те, которые забавляли и помогали коротать его нескончаемые тюремные сроки.

... Да, в енисейской тайге в двадцать девятом году они не читали «Монте-Кристо»... На Ангару, в далёкое глухое село Дощаны, куда вёл через тайгу трёхсотвёрстный санный путь, они из мест, ещё на сотню вёрст глуше, собирались под видом встречи Нового года на конференцию ссыльных с обсуждением международного и внутреннего положения страны. Морозы стояли за пятьдесят. Железная «буржуйка» из угла никак не могла обогреть чересчур просторной сибирской избы с разрушенной русской печью (за то изба и была отдана ссыльным). Стены избы промерзали насквозь. Среди ночной тишины время от времени брёвна сруба издавали гулкий треск — как ружейный выстрел.

Докладом о политике партии в деревне конференцию открыл Сатаневич. Он снял шапку, освободив колыщащийся чёрный чуб, но так и остался в полушубке с вечно торчащей из кармана книжечкой английских идиом («врага надо знать»). Сатаневич вообще играл под лидера. Расстреляли его потом кажется на Воркуте во время забастовки.

В том докладе Сатаневич признавал, что в обуздании консервативного класса крестьянства посредством драконовских сталинских методов — есть рациональное зерно: без такого обуздания эта реакционная стихия хлынет на город и затопит революцию. (Сегодня можно признать, что и несмотря на обуздание, крестьянство всё равно хлынуло на город, затопило его мещанством, затопило даже сам партийный аппарат, подорванный чистками, — и так погубило революцию.)

Но увы, чем страстнее обсуждались доклады, тем больше расстраивалось единство утлой кучки ссыльных: выявлялось мнений не два и не три, а столько, сколько людей. Под утро, уставши, официальную часть конференции свернули, не придя к резолюции.

Потом ели и пили из казённой посуды, для убранства обложенной еловыми ветками по грубым выдолбинам и рваным волокнам стола. Оттаявшие ветки пахли снегом и смолой, кололи руки. Пили самогон. Поднимая тосты, клялись, что из присутствующих никто никогда не подпишет капитулянтского отречения.

Политический бури в Советском Союзе они ожидали с месяца на месяц!

Потом пели славные революционные песни: «Варшавянку», «Над миром наше знамя реет», «Чёрного барона».

Ещё спорили о чём попало, по мелочам.

Роза, работница с харьковской табачной фабрики, сидела на перине (с Украины привезла её в Сибирь и очень этим гордилась), курила папиросу за папиросой и презрительно встряхивала стрижеными кудрями: «Терпеть не могу интеллигенции! Она отвратительна мне во всех своих «тонкостях» и «сложностях». Человеческая психология гораздо проще, чем её хотели изобразить дореволюционные писатели. Наша задача — освободить человечество от духовной перегрузки!»

И как-то дошли до женских украшений. Один из ссыльных — Патрушев, бывший крымский прокурор, к которому как раз незадолго приехала невеста из России, вызывающе воскликнул: «Зачем вы обедняете будущее общество? Почему бы мне не мечтать о том времени, когда каждая девушка сможет носить жемчуга? когда каждый мужчина сможет украсить диадемой голову своей избранницы?»

Какой поднялся шум! С какой яростью захлестали цитатами из Маркса и Плеханова, из Кампанеллы и Фейербаха.

Будущее общество!.. О нём говорили так легко!..

Взошло солнце Нового Девятьсот Тридцатого года, и все вышли полюбоваться. Было ядрёное морозное утро со столбами розового дыма прямо вверх, в розовое небо. По белой просторной Ангаре с обсаженной ёлками проруби бабы гнали скот на водопой. Мужиков и лошадей не было — их угнали на лесозаготовки.

И прошло два десятилетия... Отцвела и опала злободневность тогдашних тостов. Расстреляли и тех, кто был твёрд до конца. Расстреляли и тех, кто капитулировал. И только в одинокой голове Абрамсона, уцелевшей под оранжерейным колпаком шарашек, выросло никому не видимым древом понимание и память тех лет...

Так глаза Абрамсона смотрели в книгу и не читали.

И тут на край его койки присел Нержин.

Нержин и Абрамсон познакомились года три назад в бутырской камере — той же, где сидел и Потапов. Абрамсон кончал тогда свою первую тюремную десятку, поражал однокамерников ледяным арестантским авторитетом, укоренелым скепсисом в тюремных делах, сам же, скрыто, жил безумной надеждой на близкий возврат к семье.

Разъехались. Абрамсона вскоре-таки по недосмотру освободили — но ровно на столько времени, чтобы семья стронулась с места и переехала в Стерлитамак, где милиция согласилась прописать Абрамсона. И как только семья переехала, — его посадили, учинили ему единственный допрос: действительно ли это он был в ссылке с 29-го по 34-й год, а с тех пор сидел в тюрьме. И установив, что да, он

уже полностью отсидел и отбыл и даже намного пересидел всё приговорённое, — Особое Совещание присудило ему за это ещё десять лет. Руководство же шарашек по большой всесоюзной арестантской картотеке узнало о посадке своего старого работника и охотно *выдернуло* его вновь на шарашки. Абрамсон был привезён в Марфино и здесь, как и повсюду в арестантском мире, сразу встретил старых знакомых, в том числе Нержина и Потапова. И когда, встретясь, они стояли и курили на лестнице, Абрамсону казалось, что он не возвращался на год на волю, что он не видел своей семьи, не наградил жену за это время ещё дочерью, что это был сон, безжалостный к арестантскому сердцу, единственная же устойчивая в мире реальность — тюрьма.

Теперь Нержин подсел, чтобы пригласить Абрамсона к именинному столу — решено было праздновать день рождения. Абрамсон запоздало поздравил Нержина и осведомился, косясь из-под очков, — кто будет. От сознания, что придётся натягивать комбинезон, разрушая так чудесно, последовательно, в одном белье проведённое воскресенье, что нужно покидать забавную книгу и идти на какие-то именины, Абрамсон не испытывал ни малейшего удовольствия. Главное, он не надеялся, что приятно проведёт там время, а почти был уверен, что вспыхнет политический спор, и будет он как всегда бесплоден, необогащающ, но в него нельзя будет не ввязаться, а ввязываться тоже нельзя, потому что свои глубоко-хранимые, столько раз оскорблённые мысли так же невозможно открыть «молодым» арестантам, как показать им свою жену обнажённой.

Нержин перечислил, кто будет. Рубин один был на шарашке по-настоящему близок Абрамсону, хотя ещё предстояло отчитать его за сегодняшний не достойный истинного коммуниста фарс. Напротив, Сологдина и Прянчикова Абрамсон не любил. Но как ни странно, Рубин и Сологдин считались друзьями — из-за того ли, что вместе лежали на бутырских нарах. Администрация тюрьмы тоже не очень их различала и под ноябрьские праздники вместе гребла на «праздничную изоляцию» в Лефортово.

Делать было нечего, Абрамсон согласился. Ему было объявлено, что пиршество начнётся между кроватями Потапова и Прянчикова через полчаса, как только Андреич кончит приготовление крема.

Между разговором Нержин обнаружил, что читает Абрамсон, и сказал:

— Мне в тюрьме тоже пришлось как-то перечесть «Монте-Кристо», не до конца. Я обратил внимание, что хотя Дюма старается создать ощущение жути, он рисует в замке Иф совершенно патриархальную тюрьму. Не говоря уже о нарушении таких милых подробностей, как ежедневный вынос параши из камеры, о чём Дюма по вольняшечьему недомыслию умалчивает, — разберите, почему Дантес смог убежать? Потому что у них годами не бывало в каме-

рах шмонов, тогда как их полагается производить каждонедельно, и вот результат: подкоп не был обнаружен. Затем у них не меняли приставленных вертухаев — их же следует, как мы знаем из опыта Лубянки, менять каждые два часа, дабы один надзиратель искал упущений у другого. А в замке Иф по суткам в камеру не входят и не заглядывают. Даже глазков у них в камерах не было — так Иф был не тюрьма, а просто морской курорт! В камере считалось возможным оставить металлическую кастрюлю — и Дантес долбал ею пол. Наконец, умершего доверчиво зашивали в мешок, не прожегши его тело в морге калёным железом и не проколов на вахте штыком. Дюма следовало бы сгущать не мрачность, а элементарную методичность.

Нержин никогда не читал книг просто для развлечения. Он искал в книгах союзников или врагов, по каждой книге выносил чётко-разработанный приговор и любил навязывать его другим.

Абрамсон знал за ним эту тяжёлую привычку. Он выслушал его, не поднимая головы с подушки, покойно глядя через квадратные очки.

— Так я приду, — ответил он и, улёгшись поудобнее, продолжал чтение.

57

Нержин пошёл помогать Потапову готовить крем. За голодные годы немецкого плена и советских тюрем Потапов установил, что жевательный процесс является в нашей жизни не только не презренным, не постыдным, но одним из самых усладительных, в которых нам и открывается сущность бытия.

...Люблю я час
Определять обе-дом, ча-ем
И у-жи-ном...

— цитировал этот недюжинный в России высоковольтник, отдавший всю жизнь трансформаторам в тысячи ква, ква и ква.

А так как Потапов был из тех инженеров, у которых руки не отстают от головы, то он быстро стал изрядным поваром: в Kriegsgefangenenlage он выпекал оранжевый торт из одной картофельной шелухи, а на шарашках сосредоточился и усовершился по сладостям.

Сейчас он хлопотал над двумя составленными тумбочками в полутёмном проходе между своей кроватью и кроватью Прянчикова — приятный полумрак создавался от того, что верхние матрасы загораживали свет ламп. Из-за полукруглости комнаты (кровати стояли по

радиусам) проход был в начале узок, а к окну расширялся. Огромный, в четыре с половиной кирпича толщиной, подоконник тоже весь использовался Потаповым: там были расставлены консервные банки, пластмассовые коробочки и миски. Потапов священнодействовал, сбивая из сгущённого молока, сгущённого какао и двух яиц (часть даров принёс и всучил Рубин, постоянно получавший из дому передачи и всегда делившийся ими) — нечто, чему не было названия на человеческом языке. Он забурчал на загулявшего Нержина и велел ему изобрести недостающие рюмки (одна была — колпачок от термоса, две — лабораторные химические стаканчики, а две Потапов склеил из промасленной бумаги). Ещё на два бокала Нержин предложил повернуть бритвенные стаканчики и взялся честно отмыть их горячей водой.

В полукруглой комнате установился безмятежный воскресный отдых. Одни присели поболтать на кровати к своим лежащим товарищам, другие читали и по соседству перебрасывались замечаниями, иные лежали бездейственно, положив руки под затылок и установив немигающий взгляд в белый потолок.

Всё смешивалось в одну общую разноголосицу.

Вакуумщик Земеля нежился: на верхней койке он лежал разобранный до кальсон (наверху было жарковато), гладил мохнатую грудь и, улыбаясь своей неизменной беззлобной улыбкой, повествовал мордвину Мишке через два воздушных пролёта:

— Если хочешь знать — всё началось с полкопейки.

— Почему с полкопейки?

— Раньше, году в двадцать шестом, в двадцать восьмом, — ты маленький был, — над каждой кассой висела табличка: «Требуйте сдачу полкопейки!» И монета такая была — полкопейки. Кассирши её без слова отдавали. Вообще на дворе был НЭП, всё равно, что мирное время.

— Войны не было?

— Да не войны, вот чушка! Это до советской власти было, значит, — *мирное время*. Да... В учреждениях при НЭПе шесть часов работали, не как сейчас. И ничего, справлялись. А задержат тебя на пятнадцать минут — уже сверхурочные выписывают. И вот, что́, ты думаешь, сперва исчезло? Полкопейки! С неё и началось. Потом — медь исчезла. Потом, в тридцатом году, — серебро, не стало мелких совсем. Не дают сдачу, хоть тресни. С тех пор никак и не наладится. Мелочи нет — стали на рубли считать. Нищий-то уж не копейки Христа ради просит, а требует — «граждане, дайте рубль!». В учреждении как зарплату получать, так сколько там тебе в ведомости копеек указано — даже не спрашивай, смеются: мелочник! А сами — дураки! Полкопейки — это уважение к человеку, а шестьдесят копеек с рубля не сдают — это значит, накакать тебе на голову. За полкопейки не постояли — вот полжизни и потеряли.

В другой стороне, тоже наверху, один арестант отвлёкся от книжки и сказал соседу:

— А дурное было царское правительство! Слышь, — Сашенька, революционерка, восемь суток голодала, чтобы начальник тюрьмы перед ней извинился — и он, остолоп, извинился. А ну пойди потребуй, чтоб начальник Красной Пресни извинился!

— У нас бы её, дуру, через кишку на третий день накормили, да ещё второй срок бы намотали за провокацию. Где это ты вычитал?

— У Горького.

Лежавший неподалёку Двоетёсов встрепенулся:

— Кто тут Горького читает? — грозным басом спросил он.

— Я.

— На кой?

— А чего читать-то?

— Да пойди лучше в клозет, посиди с душой! Вот грамотеи, гуманисты развелись, драть вашу вперегрёб.

Внизу под ними шёл извечный камерный спор: *когда лучше садиться*. Постановка вопроса уже фатально предполагала, что тюрьмы не избежать никому. (В тюрьмах вообще склонны преувеличивать число заключённых, и когда на самом деле сидело всего лишь двенадцать — пятнадцать миллионов человек, зэки были уверены, что их — двадцать и даже тридцать миллионов. Зэки были уверены, что на воле почти не осталось мужчин, кроме власти и МВД.) «Когда лучше садиться» — имелось в виду: в молодости или в преклонные годы? Одни (обычно — молодые) жизнерадостно доказывают в таких случаях, что лучше сесть в молодые годы: здесь успеваешь понять, что значит жить, что в жизни дорого, а что — дерьмо, и уж лет с тридцати пяти, отбухав десятку, человек строит жизнь на разумных основаниях. Человек же, дескать, садящийся к старости, только рвёт на себе волосы, что жил не так, что прожитая жизнь — цепь ошибок, а исправить их уже нельзя. Другие (обычно — пожилые) в таких случаях не менее жизнерадостно доказывают напротив, что садящийся к старости переходит как бы на тихую пенсию или в монастырь, что в лучшие свои годы он брал от жизни всё (в воспоминаниях зэков это «всё» суживается до обладания женским телом, хорошими костюмами, сытной едой и вином), а в лагере со старика много шкур не сдерут. Молодого же, дескать, здесь измочалят и искалечат так, что потом он «и на бабу не захочет».

Так спорили сегодня в полукруглой комнате, и так всегда спорят арестанты, кто — утешая себя, кто — растравляя, но истина никак не вышелушивается из их аргументов и живых примеров. В воскресенье вечером получалось, что садиться всегда хорошо, а когда вставали в понедельник утром — ясно было, что садиться — всегда плохо.

А ведь и это тоже неверно...

Спор «когда лучше садиться» принадлежал, однако, к тем, которые не раздражают спорщиков, а умиряют их, осеняют философской грустью. Этот спор никогда и нигде не приводил ко взрывам.

Томас Гоббс как-то сказал, что за истину «сумма углов треугольника равна ста восьмидесяти градусам» лилась бы кровь, если бы та истина задевала чьи-либо интересы.

Но Гоббс не знал арестантского характера.

На крайней койке у дверей шёл как раз тот спор, который мог привести к мордобою или кровопролитию, хотя он не задевал ничьих интересов: к электрику пришёл токарь, чтобы скоротать вечерок с приятелем, речь у них зашла сперва почему-то о Сестрорецке, а потом — о печах, которыми отапливаются сестрорецкие дома. Токарь жил в Сестрорецке одну зиму и хорошо помнил, какие там печи. Электрик сам никогда там не был, но шурин его был печником, первоклассным печником, и выкладывал печи именно в Сестрорецке, и он рассказывал как раз всё обратное тому, что помнил токарь. Спор их, начавшийся с простого пререкания, уже дошёл до дрожи голоса, до личных оскорблений, он уже громкостью затоплял все разговоры в комнате — спорщики переживали обидное бессилие доказать несомненность своей правоты, они тщетно пытались искать третейского суда у окружающих — и вдруг вспомнили, что дворник Спиридон хорошо разбирается в печах и во всяком случае скажет другому из них, что таких несусветных печей не то, что в Сестрорецке, а и вообще нигде никогда не бывает. И они быстрым шагом, к удовольствию всей комнаты, ушли к дворнику.

Но в горячности они забыли закрыть за собой дверь — и из коридора ворвался в комнату другой, не менее надрывный, спор — когда правильно встречать вторую половину XX столетия — 1 января 1950 года или 1 января 1951 года? Спор уже, видно, начался давно и упёрся в вопрос: 25 декабря какого именно года родился Христос.

Дверь прихлопнули. Перестала распухать от шума голова, в комнате стало тихо и слышно, как Хоробров рассказывал наверх лысому конструктору:

— Когда *наши* будут начинать первый полёт на Луну, то перед стартом, около ракеты будет, конечно, митинг. Экипаж ракеты возьмёт на себя обязательство: экономить горючее, перекрыть в полёте максимальную космическую скорость, не останавливать межпланетного корабля для ремонта в пути, а на Луне совершить посадку только на «хорошо» и на «отлично». Из трёх членов экипажа один будет политрук. В пути он будет непрерывно вести среди пилота и штурмана массово-разъяснительную работу о пользе космических рейсов и требовать заметок в стенгазету.

Это услышал Прянчиков, который с полотенцем и мылом пробегал по комнате. Он балетным движением подскочил к Хороброву и, таинственно хмурясь, сказал:

— Илья Терентьич! Я могу вас успокоить. Будет не так.

— А как?

Прянчиков, как в детективном фильме, приложил палец к губам:

— Первыми на Луну полетят — американцы!

Залился колокольчатым детским смехом.

И убежал.

Гравёр сидел на кровати у Сологдина. Они вели затягивающий разговор о женщинах. Гравёр был сорока лет, но при ещё молодом лице почти совсем седой. Это очень красило его.

Сегодня гравёр находился на взлёте. Правда, утром он сделал ошибку: съел свою новеллу, скатанную в комок, хотя, оказалось, мог пронести её через шмон и мог передать жене. Но зато на свидании он узнал, что за эти месяцы жена показала его прошлые новеллы некоторым доверенным людям и все они — в восторге. Конечно, похвалы знакомых и родных могли быть преувеличенными и отчасти несправедливыми, но заклятье! — где ж было добыть справедливые? Худо ли, хорошо ли, но гравёр сохранял для вечности правду — крики души о том, что сделал Сталин с миллионами русских *пленников*. И сейчас он был горд, рад, наполнен этим и твёрдо решил продолжать с новеллами дальше! Да и само сегодняшнее свидание прошло у него удачно: преданная ему жена ждала его, хлопотала об его освобождении, и скоро должны были выявиться успешные результаты хлопот.

И, ища выход своему торжеству, он вёл длинный рассказ этому не глупому, но совершенно среднему человеку Сологдину, у которого ни впереди, ни позади ничего не было столь яркого, как у него.

Сологдин лежал на спине врастяжку с опрокинутой пустой книжонкой на груди и отпускал рассказчику немного сверкания своего взгляда. С белокурой бородкой, ясными глазами, высоким лбом, прямыми чертами древне-русского витязя, Сологдин был неестественно, до неприличия хорош собой.

Сегодня он был на взлёте. В себе он слышал пение как бы вселенской победы — своей победы над целым миром, своего всесилия. Освобождение его было теперь вопросом одного года. Кружительная карьера могла ожидать его вслед за освобождением. Вдобавок, тело его сегодня не томилось по женщине, как всегда, а было успокоено, вызорено от мути.

И, ища выход своему торжеству, он, забавы ради, лениво скользил по извивам чьей-то чужой безразличной для него истории, рассказываемой этим вовсе не глупым, но совершенно средним человеком, у которого ничего подобного не могло случиться, как у Сологдина.

Он часто слушал людей так: будто покровительствуя и лишь из вежливости стараясь не подать в том виду.

Сперва гравёр рассказывал о двух своих жёнах в России, потом

стал вспоминать жизнь в Германии и прелестных немочек, с которыми он был там близок. Он провёл новое для Сологдина сравнение между женщинами русскими и немецкими. Он говорил, что, пожив с теми и другими, предпочитает немочек: что русские женщины слишком самостоятельны, независимы, слишком пристальны в любви — своими недремлющими глазами они всё время изучают возлюбленного, узнают его слабые стороны, то видят в нём недостаточное благородство, то недостаточное мужество, — русскую возлюбленную всё время ощущаешь как равную тебе, и это неудобно; наоборот, немка в руках любимого гнётся как тростиночка, её возлюбленный для неё — бог, он — первый и лучший на земле, вся она отдаётся на его милость, она не смеет мечтать ни о чём, кроме как угодить ему, — и от этого с немками гравёр чувствовал себя более мужчиной, более властелином.

Рубин имел неосторожность выйти в коридор покурить. Но, как каждый прохожий цепляет горох в поле, так все задирали его в шарашке. Отплевавшись от бесполезного спора в коридоре, он пересекал комнату, спеша к своим книгам, но кто-то с нижней койки ухватил его за брюки и спросил:

— Лев Григорьич! А правда, что в Китае письма доносчиков доходят без марок? Это — прогрессивно?

Рубин вырвался, пошёл дальше. Но инженер-энергетик, свесившись с верхней койки, поймал Рубина за воротник комбинезона и стал напористо втолковывать ему окончание их прежнего спора:

— Лев Григорьич! Надо так перестроить совесть человечества, чтобы люди гордились только трудом собственных рук и стыдились быть надсмотрщиками, «руководителями», партийными главарями. Надо добиться, чтобы звание министра скрывалось как профессия ассенизатора: работа министра тоже необходима, но постыдна. Пусть если девушка выйдет за государственного чиновника, это станет укором всей семье! — вот при таком социализме я согласился бы жить!

Рубин освободил воротник, прорвался к своей постели и лёг на живот, снова к словарям.

58

Семь человек расселись за именинным столом, состоявшим из трёх составленных вместе тумбочек неодинаковой высоты и застеленных куском ярко-зелёной трофейной бумаги, тоже фирмы «Лоренц». Сологдин и Рубин сели на кровать к Потапову, Абрамсон и Кондрашёв — к Прянчикову, а именинник уселся у торца стола, на широком подоконнике. Наверху над ними уже дремал Землеля, остальные соседи были не рядом. Купе между двухэтажными кроватями было как бы отъединено от комнаты.

В середине стола в пластмассовой миске разложен был надин хворост — не виданное на шарашке изделие. Для семерых мужских ртов его казалось до смешного мало. Потом было печенье просто и печенье с намазанным на него кремом и потому называвшееся пирожным. Ещё была сливочная тянучка, полученная кипячением нераспечатанной банки сгущённого молока. А за спиной Нержина в тёмной литровой банке таилось то привлекательное нечто, для чего предназначались бокалы. Это была толика спиртного, вымененная у зэков химической лаборатории на кусок «классного» гетинакса. Спирт был разбавлен водой в пропорции один к четырём, а потом закрашен сгущённым какао. Это была коричневая малоалкогольная жидкость, которая, однако, с нетерпением ожидалась.

— А что, господа? — картинно откинувшись и даже в полутьме купе блестя глазами, призвал Сологдин. — Давайте вспомним, кто из нас и когда сидел последний раз за пиршественным столом.

— Я — вчера, с немцами, — буркнул Рубин, не любя пафоса.

Что Сологдин называл иногда общество *господами*, Рубин понимал как результат его ушибленности двенадцатью годами тюрьмы. Нельзя ж было подумать, что человек на тридцать третьем году революции может произносить это слово серьёзно. От той же ушибленности и понятия Сологдина были извращённые во многом. Рубин старался это всегда помнить и не вспыхивать, хотя слушать приходилось вещи диковатые.

(А для Абрамсона, кстати, так же дико было и то, что Рубин пировал с немцами. У всякого интернационализма есть же разумный предел!)

— Не-ет, — настаивал Сологдин. — Я имею в виду настоящий стол, господа! — Он радовался всякому поводу употребить это гордое обращение. Он полагал, что гораздо большие земельные пространства предоставлены «товарищам», а на узком клочке тюремной земли проглотят «господ» и те, кому это не нравится. — Его признаки — тяжёлая бледноцветная скатерть, вино в графинах из хрусталя, ну, и нарядные женщины, конечно!

Ему хотелось посмаковать и отодвинуть начало пира, но Потапов ревнивым проверяющим взглядом хозяйки дома окинул стол и гостей и в своей ворчливой манере перебил:

— Вы же понимаете, хлопцы, пока

Гроза полуночных дозоров

не накрыл нас с этим зельем, надо переходить к официальной части.

И дал знак Нержину разливать.

Всё же, пока вино разливалось, молчали, и каждый невольно что-то вспомнил.

— Давно, — вздохнул Нержин.

— Вообще не при-по-ми-на-ю! — отряхнулся Потапов. До войны в круговоротном бешенстве работы он если и вспоминал смутно чью-то один раз женитьбу, — не мог точно сказать, была ли эта женитьба его собственная или то было в гостях.

— Нет, почему же? — оживился Прянчиков.— *Авэк плезир*! Я вам сейчас расскажу. В сорок пятом году в Париже я...

— Подождите, Валентуля, — придержал Потапов.— Итак... ?

— За виновника нашего сборища! — громче, чем нужно, произнёс Кондрашёв-Иванов и выпрямился, хотя сидел без того прямо.— Да будет...

Но гости ещё не потянулись к бокалам, как Нержин привстал — у него было чуть простора у окна — и предупредил их тихо:

— Друзья мои! Простите, я нарушу традицию! Я...

Он перевёл дыхание, потому что заволновался. Семь теплот, проступившие в семи парах глаз, что-то спаяли внутри него.

—...Будем счастливы! Не всё так черно в нашей жизни! Вот именно этого вида счастья — мужского вольного лицейского стола, обмена свободными мыслями без боязни, без укрыва — этого счастья ведь не было у нас на воле?

— Да, собственно, самой-то воли частенько не было, — усмехнулся Абрамсон. Если не считать детства, он-таки провёл на воле меньшую часть жизни.

— Друзья! — увлёкся Нержин. — Мне тридцать один год. Уже меня жизнь и баловала и низвергала. И по закону синусоидальности будут у меня, может быть, и ещё всплески пустого успеха, ложного величия. Но клянусь вам, я никогда не забуду того истинного величия человека, которое узнал в тюрьме! Я горжусь, что мой сегодняшний скромный юбилей собрал такое отобранное общество. Не будем тяготиться возвышенным тоном. Поднимем тост за дружбу, расцветающую в тюремных склепах!

Бумажные стаканчики беззвучно чокались со стеклянными и пластмассовыми. Потапов виновато усмехнулся, поправил простенькие свои очки и, выделяя слоги, сказал:

— Ви-тий-ством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Ни-ки-ты,
У осторожного И-льи.

Коричневое вино пили медленно, стараясь доведаться до аромата.

— А градус — есть! — одобрил Рубин. — Браво, Андреич!

— Градус есть, — подтвердил и Сологдин. Он был сегодня в настроении всё хвалить.

Нержин засмеялся:

— Редчайший случай, когда Лев и Митя сходятся во мнениях! Не упомню другого.

— Нет, почему, Глебчик? А помнишь, как-то на Новый год мы со Львом сошлись, что жене простить измену нельзя, а мужу можно?

Абрамсон устало усмехнулся:

— Увы, кто ж из мужчин на этом не сойдётся?

— А вот этот экземпляр, — Рубин показал на Нержина, — утверждал тогда, что можно простить и женщине, что разницы здесь нет.

— Вы говорили так? — быстро спросил Кондрашёв.

— Ой, пижон! — звонко рассмеялся Прянчиков.— Как же можно сравнивать?

— Само устройство тела и способ соединения доказывают, что разница здесь огромная! — воскликнул Сологдин.

— Нет, тут глубже, — опротестовал Рубин. — Тут великий замысел природы. Мужчина довольно равнодушен к качеству женщин, но необъяснимо стремится к количеству. Благодаря этому мало остаётся совсем обойденных женщин.

— И в этом — благодетельность дон-жуанизма! — приветственно, элегантно поднял руку Сологдин.

— А женщины стремятся к качеству, если хотите! — потряс длинным пальцем Кондрашёв.— Их измена есть поиск качества! — и так улучшается потомство!

— Не вините меня, друзья, — оправдывался Нержин, — ведь когда я рос, над нашими головами трепыхались кумачи с золотыми надписями Р а в е н с т в о ! С тех пор, конечно...

— Вот ещё это равенство! — буркнул Сологдин.

— А чем вам не угодило равенство? — напрягся Абрамсон.

— Да потому что нет его во всей живой природе! Ничто и никто не рождается равными, придумали эти дураки... *всезнайки* — (Надо было догадаться: энциклопедисты.) — Они ж о наследственности понятия не имели! Люди рождаются с духовным — неравенством, волевым — неравенством, способностей — неравенством...

— Имущественным — неравенством, сословным — неравенством, — в тон ему толкал Абрамсон.

— А где вы видели имущественное равенство? А где вы его создали? — уже раскалялся Сологдин. — Никогда его и не будет! Оно достижимо только для нищих и для святых!

— С тех пор, конечно, — настаивал Нержин, преграждая огонь спора, — жизнь достаточно била дурня по голове, но тогда казалось: если равны нации, равны люди, то ведь и женщина с мужчиной — во всём?

— Вас никто и не винит! — метнул словами и глазами Кондрашёв. — Не спешите сдаваться!

— Этот бред тебе можно простить только за твой юный возраст, — присудил Сологдин. (Он был на шесть лет старше.)

— Теоретически Глебка прав, — стеснённо сказал Рубин.— Я тоже готов сломать сто тысяч копий за равенство мужчины и женщины. Но обнять свою жену после того, как её обнимал другой? — бр-р! биологически не могу!

— Да господа, просто смешно обсуждать! — выкрикнул Прянчиков, но ему, как всегда, не дали договорить.

— Лев Григорьич, есть простой выход, — твёрдо возразил Потапов.— Не обнимайте вы сами никого, кроме вашей жены!

— Ну, знаете...— беспомощно развёл Рубин руками, топя широкую улыбку в пиратской бороде.

Шумно открылась дверь, кто-то вошёл. Потапов и Абрамсон оглянулись. Нет, это был не надзиратель.

— А Карфаген должен быть уничтожен? — кивнул Абрамсон на литровую банку.

— И чем быстрей, тем лучше. Кому охота сидеть в карцере? Викентьич, разливайте!

Нержин разлил остаток, скрупулёзно соблюдая равенство объёмов.

— Ну, на этот раз вы разрешите выпить за именинника? — спросил Абрамсон.

— Нет, братцы. Право именинника я использую только, чтобы нарушить традицию. Я... видел сегодня жену. И увидел в ней... всех наших жён, измученных, запуганных, затравленных. Мы терпим потому, что нам деться некуда, — а они? Выпьем — за них, приковавших себя к...

— Да! Какой святой подвиг! — воскликнул Кондрашёв.

Выпили.

И немного помолчали.

— А снег-то! — заметил Потапов.

Все оглянулись. За спиною Нержина, за отуманенными стёклами, не было видно самого снега, но мелькало много чёрных хлопьев — теней от снежинок, отбрасываемых на тюрьму фонарями и прожекторами зоны.

Где-то за завесой этого щедрого снегопада была сейчас и Надя Нержина.

— Даже снег нам суждено видеть не белым, а чёрным! — воскликнул Кондрашёв.

— За дружбу выпили. За любовь выпили. Бессмертно и хорошо, — похвалил Рубин.

— В любви-то я никогда не сомневался. Но, сказать по правде, до фронта и до тюрьмы не верил я в дружбу, особенно такую, когда, знаете... «жизнь свою за други своя». Как-то в обычной жизни — семья есть, а дружбе нет места, а?

— Это распространённое мнение, — отозвался Абрамсон.— Вот часто заказывают по радио песню «Среди долины ровныя». А вслушайтесь в её текст! — гнусное скуление, жалоба мелкой души:

Все други, все приятели
До чёрного лишь дня.

— Возмутительно!! — отпрянул художник.— Как можно один день прожить с такими мыслями? Повеситься надо!

— Верно было бы сказать наоборот: только с чёрного дня и начинаются други.

— Кто ж это написал?

— Мерзляков.

— И фамильица-то! Лёвка, кто такой Мерзляков?

— Поэт. Лет на двадцать старше Пушкина.

— Его биографию ты, конечно, знаешь?

— Профессор московского университета. Перевёл «Освобождённый Иерусалим».

— Скажи, чего Лёвка не знает? Только высшей математики.

— И низшей тоже.

— Но обязательно говорит: «вынесем за скобки», «эти недостатки в квадрате», полагая, что минус в квадрате...

— Господа! Я должен вам привести пример, что Мерзляков прав! — захлёбываясь и торопясь, как ребёнок за столом у взрослых, вступил Прянчиков. Он ни в чём не был ниже своих собеседников, соображал мгновенно, был остроумен и привлекал открытостью. Но не было в нём мужской выдержки, внешнего достоинства, от этого он выглядел на пятнадцать лет моложе, и с ним обращались как с подростком.— Ведь это же проверено: нас предаёт именно тот, кто с нами ест из одного котелка! У меня был близкий друг, с которым мы вместе бежали из гитлеровского концлагеря, вместе скрывались от ищеек... Потом я вошёл в семью крупного бизнесмена, а его познакомили с одной французской графиней...

— Да-а-а? — поразился Сологдин. Графские и княжеские титулы сохраняли для него неотразимое очарование.

— Ничего удивительного! Русские пленники женились и на маркизах!

— Да-а-а?

— А когда генерал-полковник Голиков начал свою мошенническую репатриацию, и я, конечно, не только сам не поехал, но и отговаривал всех наших идиотов, — вдруг встречаю этого моего лучшего друга. И представьте: именно он и предал меня! отдал в руки гебистов!

— Какое злодейство! — воскликнул художник.

— А дело было так.

Почти все уже слышали эту историю Прянчикова. Но Сологдин стал расспрашивать, как это пленники женились на графинях.

Рубину было ясно, что весёлый симпатичный Валентуля, с которым на шарашке вполне можно было дружить, был в Европе в сорок пятом году фигурой объективно реакционной, и то, что он называл предательством со стороны друга (то есть, что друг помог Прянчикову против силы вернуться на родину), было не предательством, а патриотическим долгом.

История потянула за собой историю. Потапов вспомнил книжечку, которую вручали каждому репатрианту: «Родина простила — Родина зовёт». В ней прямо было напечатано, что есть распоряжение президиума Верховного Совета не подвергать судебным преследованиям даже тех репатриантов, кто служил в немецкой полиции. Книжечки эти, изящно изданные, со многими иллюстрациями, с туманными намёками на какие-то перестройки в колхозной системе и в общественном строе Союза, отбирались потом во время обыска на границе, а самих репатриантов сажали в воронки и отправляли в контрразведку. Потапов своими глазами читал такую книжечку, и хотя сам он вернулся независимо от всякой книжечки, его особенно надсаждало это мелкое гадкое жульничество огромного государства.

Абрамсон дремал за неподвижными очками. Так он и знал, что будут эти пустые разговоры. Но ведь как-то надо было всю эту ораву загрести назад.

Рубин и Нержин в контрразведках и тюрьмах первого послевоенного года так выварились в потоке пленников, текших из Европы, будто и сами четыре года протаскались в плену, и теперь они мало интересовались репатриантскими рассказами. Тем дружнее на своём конце стола они натолкнули Кондрашёва на разговор об искусстве. Вообще-то Рубин считал Кондрашёва художником малозначительным, человеком не очень серьёзным, утверждения его — слишком внеэкономическими и внеисторическими, но в разговорах с ним, сам того не замечая, черпал живой водицы.

Искусство для Кондрашёва не было род занятий или раздел знаний. Искусство было для него — единственный способ жить. Всё, что было вокруг него — пейзаж, предмет, человеческий характер или окраска, — всё звучало в одной из двадцати четырёх тональностей, и без колебаний Кондрашёв называл эту тональность (Рубину был присвоен «до минор»). Всё, что струилось вокруг него — человеческий голос, минутное настроение, роман или та же тональность — имели цвет, и без колебаний Кондрашёв называл этот цвет (ф а - диез-мажор была синяя с золотом).

Одного состояния никогда не знал Кондрашёв — равнодушия. Зато известны были крайние пристрастия и противострастия его, самые непримиримые суждения. Он был поклонник Рембрандта и ниспровергатель Рафаэля. Почитатель Валентина Серова и лютый враг пе-

редвижников. Ничего не умел он воспроизводить наполовину, а только безгранично восхищаться или безгранично негодовать. Он слышать не хотел о Чехове, от Чайковского отталкивался, сотрясаясь («он душит меня! он отнимает надежду и жизнь!»), — но с хоралами Баха, но с бетховенскими концертами он так сроден был, будто сам их и занёс первый на ноты.

Сейчас Кондрашёва втянули в разговор о том, надо ли в картинах следовать природе или нет.

— Например, вы хотите изобразить окно, открытое летним утром в сад, — отвечал Кондрашёв. Голос его был молод, в волнении переливался и, если закрыть глаза, можно было подумать, что спорит юноша. — Если, честно следуя природе, вы изобразите всё так, как видите, — разве это будет в с ё? А пение птиц? А свежесть утра? А эта невидимая, но обливающая вас чистота? Ведь вы-то, рисуя, воспринимаете их, они входят в ваше ощущение летнего утра — как же их сохранить в картине? как их не выбросить для зрителя? Очевидно, надо их восполнить! — композицией, цветом, ничего другого в вашем распоряжении нет.

— Значит, не просто копировать?

— Конечно, нет! Да вообще, — начинал увлекаться Кондрашёв, — всякий пейзаж (и всякий портрет) начинаешь с того, что любуешься натурой и думаешь: ах, как хорошо! ах, как здорово! ах, если бы удалось сделать так, как оно есть! Но углубляешься в работу и вдруг замечаешь: позвольте! позвольте! Да ведь там, в натуре, просто нелепость какая-то, чушь, полное несообразие! — вот в этом месте, и ещё вот в этом! А должно быть вот как! вот как!! И так пишешь! — задорно и победно Кондрашёв смотрел на собеседников.

— Но, батенька, «должно быть» — это опаснейший путь! — запротестовал Рубин. — Вы станете делать из живых людей ангелов и дьяволов, что вы, кстати, и делаете. Всё-таки, если пишешь портрет Андрей Андреича Потапова, то это должен быть Потапов.

— А что значит — показать таким, какой он есть? — бунтовал художник. — Внешне — да, он должен быть похож, то есть пропорции лица, разрез глаз, цвет волос. Но не опрометчиво ли считать, что вообще можно знать и видеть действительность именно такою, какова она есть? А особенно — действительность духовную? Кто это — знает и видит??.. И если, глядя на портретируемого, я разгляжу в нём душевные возможности выше тех, которые он до сих пор проявил в жизни — почему мне не осмелиться изобразить их? Помочь человеку найти себя — и возвыситься?!

— Да вы — стопроцентный соцреалист, слушайте! — хлопнул в ладоши Нержин. — Фома просто не знает, с кем он имеет дело!

— Почему я должен преуменьшать его душу?! — грозно блеснул в полутьме Кондрашёв никогда не сдвигающимися с носа очками. — Да я вам больше скажу: не только портретирование, но всякое об-

щение людей, может быть, всего-то и важней этой целью: то, что увидит и назовёт один в другом — в этом другом вызывается к жизни!! А?

— Одним словом, — отмахнулся Рубин, — понятия объективности для вас и здесь, как нигде, не существует.

— Да!! Я — необъективен и горжусь этим! — гремел Кондрашёв-Иванов.

— Что-о?? Позвольте, как это? — ошеломился Рубин.

— Так! Так! Горжусь необъективностью! — словно наносил удары Кондрашёв, и только верхняя койка над ним не давала ему размаха. — А вы, Лев Григорьич, а вы? Вы тоже необъективны, но считаете себя объективным, а это гораздо хуже! Моё преимущество перед вами в том, что я необъективен — и знаю это! И ставлю себе в заслугу! И в этом моё «я»!

— Я — не объективен? — поражался Рубин. — Даже я? Кто же тогда объективен?

— Да никто!! — ликовал художник. — Никто!! Никогда никто не был и никогда никто не будет! Даже всякий акт познания имеет эмоциональную предокраску — разве не так? Истина, которая должна быть последним итогом долгих исследований, — разве эта сумеречная истина не носится перед нами ещё д о всяких исследований? Мы берём в руки книгу, автор кажется нам почему-то несимпатичен, — и мы ещё до первой страницы предвидим, что наверное она нам не понравится — и, конечно, она нам не нравится! Вот вы занялись сравнением ста мировых языков, вы только-только обложились словарями, вам ещё на сорок лет работы — но вы уже теперь уверены, что докажете происхождение всех слов от слова «рука». Это — объективность?

Нержин громко расхохотался над Рубиным, очень довольный. Рубин рассмеялся тоже — как было сердиться на этого чистейшего человека!

Кондрашёв не касался политики, но Нержин поспешил её коснуться:

— Ещё один шаг, Ипполит Михалыч! Умоляю вас — ещё один шаг! А — Маркс? Я уверен, что он ещё не начинал никаких экономических анализов, ещё не собрал никаких статистических таблиц, а у ж е з н а л, что при капитализме рабочий класс есть абсолютно нищающий, и самая лучшая часть человечества и, значит, ему принадлежит будущее. Руку на сердце, Лёвка, скажешь — не так?

— Дитя моё, — вздохнул Рубин. — Если б нельзя было заранее предвидеть результат...

— Ипполит Михалыч! И на этом они строят свой *прогресс*! Как я ненавижу это бессмысленное слово «прогресс»!

— А вот в искусстве — никакого «прогресса» нет! И быть не может!

— В самом деле! В самом деле, вот здорово! — обрадовался

Нержин. — Был в семнадцатом веке Рембрандт — и сегодня Рембрандт, пойди перепрыгни! А техника семнадцатого века? Она нам сейчас дикарская. Или какие были технические новинки в семидесятых годах прошлого века? Для нас это детская забава. Но в те же годы написана «Анна Каренина». И что ты мне можешь предложить выше?

— Позвольте, позвольте, магистр, — уцепился Рубин. Так по пущей-то мере в инженерии вы нам прогресс оставляете? Не бессмысленный?

— Паразит! — рассмеялся Глеб. — Это подножка называется.

— Ваш аргумент, Глеб Викентьич, — вмешался Абрамсон, — можно вывернуть и иначе. Это означает, что учёные и инженеры все эти века делали большие дела — и вот продвинулись. А снобы искусства, видимо, паясничали. А прихлебатели...

— Продавались! — воскликнул Сологдин почему-то с радостью. И такие полюсы, как они с Абрамсоном, поддавались объединению одной мыслью!

— Браво, браво! — кричал и Прянчиков. — Парниши! Пижоны! Я ж это самое вам вчера говорил в Акустической! — (Он говорил вчера о преимуществах джаза, но сейчас ему показалось, что Абрамсон выражает именно его мысли.)

— Я, кажется, вас помирю! — лукаво усмехнулся Потапов. — За это столетие был один исторически достоверный случай, когда некий инженер-электрик и некий математик, больно ощущая прорыв в отечественной беллетристике, сочинили вдвоём художественную новеллу. Увы, она осталась незаписанной — у них не было карандаша.

— Андреич! — вскричал Нержин. — И вы могли бы её воссоздать?

— Да понатужась, с вашей помощью. Ведь это был в моей жизни единственный опус. Можно бы и запомнить.

— Занятно, занятно, господа! — оживился и удобнее уселся Сологдин. Очень он любил в тюрьме вот такие придумки.

— Но вы ж понимаете, как учит нас Лев Григорьич, никакое художественное произведение нельзя понять, не зная истории его создания и *социального заказа*.

— Вы делаете успехи, Андреич.

— А вы, добрые господа, доедайте пирожное, для кого готовили! История же создания такова: летом тысяча девятьсот сорок шестого года в переполненной до безобразия камере санатория Бу-тюр (такую надпись администрация выбила на мисках, и означала она: БУтырская ТЮРьма), мы лежали с Викентьичем рядышком сперва под нарами, потом на нарах, задыхались от недостатка воздуха, постанывали от голодухи — и не имели иных занятий, кроме бесед и наблюдений за нравами. И кто-то из нас первый спросил: — А что, если бы... ?

— Это вы, Андреич, первый сказали: а что, если бы... ? Основной образ, вошедший в название, во всяком случае принадлежал вам.

— А что, если бы... ? — сказали мы с Глебом Викентьевичем, — а что вдруг да если бы в нашу камеру...

— Да не томите! Как же вы назвали?

— Ну что ж,

Не мысля гордый свет забавить,

попробуем припомнить вдвоём этот старинный рассказ, а? — глуховато-надтреснутый голос Потапова звучал в манере завзятого чтеца запылённых фолиантов. — Название это было: «Улыбка Будды».

59

УЛЫБКА БУДДЫ

Действие нашего замечательного повествования относится к тому многославному пышущему жаром лету 194... года, когда арестанты в количестве, значительно превышающем легендарные *сорок бочек*, изнывали в набедренных повязках от неподвижной духоты за тускло-рыбьими намордниками всемирно-известной Бутырской тюрьмы.

Что сказать об этом полезном налаженном учреждении? Родословную свою оно вело от екатерининских казарм. В жестокий век императрицы не пожалели кирпича на его крепостные стены и сводчатые арки.

Почтенный замок был построен,
Как замки строиться должны.

После смерти просвещённой корреспондентки Вольтера эти гулкие помещения, где раздавался грубый топот карабинерских сапог, на долгие годы пришли в запустение. Но по мере того, как на отчизну нашу надвигался всеми желаемый прогресс, царственные потомки упомянутой властной дамы почли за благо испомещать там равно: еретиков, колебавших православный престол, и мракобесов, сопротивлявшихся прогрессу.

Мастерок каменщика и тёрка штукатура помогли разделить эти анфилады на сотни просторных и уютных камер, а непревзойдённое искусство отечественных кузнецов выковало несгибаемые решётки на окна и трубчатые дуги кроватей, опускаемых на ночь и поднимаемых днём. Лучшие умельцы из числа наших талантливых крепостных внесли свой драгоценный вклад в бессмертную славу Бутыр-

ского замка: ткачи ткали холщёвые мешки на дуги коек; водопроводчики прокладывали мудрую систему стока нечистот; жестянщики клепали вместительные четырёх- и шестивёдерные *параши* с ручками и даже крышками; плотники прорезали в дверях *кормушки*; стекольщики вставляли *глазки*; слесари навешивали замки; а особые мастера стекло-арматурщики в сверхновое время наркома Ежова залили мутно-стекольный раствор по проволочной арматуре и воздвигли уникальные в своём роде *намордники*, закрывшие от зловредных арестантов последний видимый ими уголок тюремного двора, здание острожной церкви, тоже пригодившейся под тюрьму, и клочок синего неба.

Соображения удобства — иметь надзирателей большей частью без законченного высшего образования, подвигнули опекунов Бутырского санатория к тому, чтобы в стены камер вмуровывать ровно по двадцать пять коечных дуг, создавая основы простого арифметического расчёта: четыре камеры — сто голов, один коридор — двести.

И так долгие десятилетия процветало это целительное заведение, не вызывая ни нареканий общественности, ни жалоб арестантов. (Что не было нареканий и жалоб, мы судим по редкости их на страницах «Биржевых ведомостей» и полному отсутствию в «Известиях рабочих и крестьянских депутатов».)

Но время работало не в пользу генерал-майора, начальника Бутырской тюрьмы. Уже в первые дни Великой Отечественной войны пришлось нарушить узаконенную норму двадцать пять голов в камере, помещая туда и излишних жителей, которым не доставалось койки. Когда избыток принял грозные размеры, койки были раз и навсегда опущены, парусиновые мешки с них сняты, поверх застланы деревянные щиты, и торжествующий генерал-майор со товарищи вталкивал в камеру по пятьдесят человек, а после всемирно-исторической победы над гитлеризмом и по семьдесят пять, что опять-таки не затрудняло надзирателей, знавших, что в коридоре теперь шестьсот голов, за что им выплачивалась премиальная надбавка.

В такую густоту уже не имело смысла давать книг, шахмат и домино, ибо их всё равно не хватало. Со временем уменьшалась врагам народа хлебная пайка, рыбу заменили мясом амфибий и перепончатокрылых, а капусту и крапиву — кормовым силосом. И страшная Пугачёвская башня, где императрица держала на цепи народного героя, теперь получила мирное назначение башни силосной.

А люди текли, приходили всё новые, бледнела и искажалась изустная арестантская традиция, люди не помнили и не знали, что их предшественники нежились на парусиновых мешках и читали запрещённые книги (только из тюремных библиотек их и забыли изъять). Вносился в камеру в дымящемся бачке бульон из ихтиозавра или силосная окрошка — арестанты забирались с ногами на щиты, из-за

тесноты поджимали колени к груди и, опершись ещё передними лапами около задних, в этих собачьих телоположениях с оскаленными зубами зорко, как дворняжки, следили за справедливостью разливки хлёбова по мискам. Миски разыгрывали, отвернувшись, — «от параши к окну» и «от окна к радиатору», после чего жители нар и поднарных конур, едва не опрокидывая хвостами и лапами мисок друг другу, в семьдесят пять пастей жвакали живительною баландою — и только один этот звук нарушал философское молчание камеры.

И все были довольны. И в профсоюзной газете «Труд» и в «Вестнике московской патриархии» — жалоб не было.

Среди прочих камер была и ничем не примечательная 72-я камера. Она была уже обречена, но мирно дремавшие под её нарами и матюгавшиеся на её нарах арестанты ничего не знали об ожидавших их ужасах. Накануне рокового дня, как обычно, долго укладывались на цементном полу близ параши, лежали в набедренных повязках на щитах, обмахивались от застойной жары (камера не проветривалась от зимы до зимы), били мух и рассказывали друг другу о том, как хорошо было во время войны в Норвегии, в Исландии, в Гренландии. По внутреннему ощущению времени, выработавшемуся долгим упражнением, зэки знали, что оставалось не более пяти минут до того момента, когда дежурный вертухай промычит им в кормушку: «Ну, ложись, отбой был!»

Но вдруг сердца арестантов вздрогнули от отпираемых замков! Распахнулась дверь — и в двери показался стройный пружинящий капитан в белых перчатках, чрез-вы-чайно взволнованный. За ним гудела свита лейтенантов и сержантов. В гробовом молчании зэков вывели *с вещами* в коридор. (Шёпотом зэки тут же родили промеж собой *парашу*, что их ведут на расстрел.) В коридоре отсчитали из них пять раз по десять человек и втолкнули в соседние камеры как раз вовремя, так что они успели там захватить себе кусочек спального плаца. Эти счастливцы избежали страшной участи двадцати пяти остальных. Последнее, что видели оставшиеся у своей дорогой 72-й камеры, — была какая-то адская машина с пульверизатором, въезжавшая в их дверь. Потом их повернули через правое плечо и под звяканье надзирательских ключей о пряжки поясов и щёлканье пальцами (то были принятые в Бутырках надзирательские сигналы «веду зэка!») повели через многие внутренние стальные двери и спускаясь по многим лестницам, — в холл, который не был ни подвалом расстрелов, ни пыточным подземельем, а широко был известен в народе зэков как предбанник знаменитых бутырских бань. Предбанник имел коварно-безобидный повседневный вид: стены, скамьи и пол, выложенные шоколадной, красной и зелёной метлахской плиткой, и с грохотом выкатываемые по рельсам вагонетки из прожарок с адскими крючками для навешивания на них вшивых арестантских одежд. Легко ударяя друг друга по

скулам и по зубам (ибо третья арестантская заповедь гласит: «Дают — хватай!»), зэки разобрали раскалённые крючки, повесили на них свои многострадальные одеяния, полинявшие, порыжевшие, а местами и прогоревшие от ежедекадных прожарок, — и разгорячённые служанки ада — две старые женщины, презирая постылую им наготу арестантов, с грохотом укатили вагонетки в тартар и захлопнули за собой железные двери.

Двадцать пять арестантов остались запертыми со всех сторон в предбаннике. Они держали в руках только носовые платки или заменяющие их куски разорванных сорочек. Те из них, чья худоба всё же сохранила ещё тонкий слой дублёного мяса в той непритязательной части тела, посредством которой природа наградила нас счастливым даром *сидеть* — те счастливчики сидели на тёплых каменных скамьях, выложенных изумрудными и малиново-коричневыми изразцами. (Бутырские бани по роскоши оформления далеко оставляют позади себя Сандуновские, и, говорят, некоторые любознательные иностранцы специально предавали себя в руки ЧеКа, чтобы только помыться в этих банях.)

Другие же арестанты, исхудавшие до того, что не могли уже сидеть иначе, как на мягком, — ходили из конца в конец предбанника, не закрывая своей срамоты и жаркими спорами пытаясь проникнуть за завесу происходящего.

Давно уж их воображенье
Алкало пи-щи роковой.

Однако, их столько часов продержали в предбаннике, что споры утихли, тела покрылись пупырышками, а желудки, привыкшие с десяти часов вечера ко сну, тоскливо взывали о наполнении. Среди арестантов победила партия пессимистов, утверждавших, что через решётки в стенах и в полу уже втекает отравленный газ, и сейчас все они умрут. Некоторым уже стало дурно от явного запаха газа.

Но загремела дверь — и всё переменилось! Не вошли, как всегда, два надзирателя в грязных халатах с засоренными машинками для стрижки овец и не швырнули пары тупейших в мире ножниц для того, чтобы переламывать ими ногти, — нет! — четыре парикмахерских подмастерья ввезли на колёсиках четыре зеркальные стойки с одеколоном, фиксатуаром, лаком для ногтей и даже театральными париками. И четыре очень почтенных дородных мастера, из них два армянина, вошли следом. А в парикмахерской, тут же, за дверью, арестантам не только не стригли лобков, изо всех сил нажимая стригущими плоскостями на нежные места, — но пудрили лобки розовой пудрой. Легчайшим полётом бритв касались измождённых арестантских ланит и щекотали в ухо шёпотом: «Не беспокоит?» Их голов не только не стригли наголо, но даже предлагали парики. Их под-

бородков не только не скальпировали, но оставляли по желанию клиентов начатки будущих бород и бакенбардов. А парикмахерские подмастерья, распростёртые ниц, тем временем обрезали им ногти на ногах. Наконец, в дверях бани им не влили в ладони по двадцать грамм растекающегося вонючего мыла, а стоял сержант и под расписку выдавал каждому губку, дщерь коралловых островов, и полновесный кусок туалетного мыла «Фея сирени».

После этого, как всегда, их заперли в бане и дали мыться всласть. Но арестантам было не до мытья. Их споры были горячей бутырского кипятка. Теперь среди них победила партия оптимистов, утверждавших, что Сталин и Берия бежали в Китай, Молотов и Каганович перешли в католичество, в России временное социал-демократическое правительство, и уже идут выборы в Учредительное Собрание.

Тут с каноническим грохотом была открыта всем вам известная выходная дверь бани — и в фиолетовом вестибюле их ждали самые невероятные события: каждому выдавалось мохнатое полотенце и... по полной миске овсяной каши, что соответствует шестидневной порции лагерного работяги! Арестанты бросили полотенца на пол и с изумительной быстротой без ложек и других приспособлений проглотили кашу. Даже присутствовавший при этом старый тюремный майор удивился и велел принести ещё по миске каши. Съели и ещё по миске. Что было после — никто из вас никогда не угадает. Принесли не мороженую, не гнилую, не чёрную — да просто, можно сказать, съедобную картошку.

— Это исключено! — запротестовали слушатели. — Это уже неправдоподобно!

— Но это было именно так! Правда, она была из сорта свинячьей, мелкая и в мундирах, и, может быть, насытившиеся зэки не стали бы её есть, — но дьявольское коварство состояло в том, что принесли её не поделенной на порции, а в одном общем ведре. С ожесточённым воем, нанося тяжёлые ушибы друг другу и карабкаясь по голым спинам, зэки бросились к ведру — и через минуту, уже пустое, оно с бренчанием прокатилось по каменному полу. В это время принесли ещё соли, но соль была уже ни к чему.

Тем временем голые тела обсохли. Старый майор велел зэкам поднять с пола мохнатые полотенца и обратился с речью.

— Дорогие братья! — сказал он. — Все вы — честные советские граждане, изолированные от общества лишь временно, кто на десять, кто на двадцать пять лет за свои небольшие проступки. До сих пор, несмотря на высокую гуманность марксистско-ленинского учения, несмотря на ясно выраженную волю партии и правительства, несмотря на неоднократные указания лично товарища Сталина, руководством Бутырской тюрьмы были допущены серьёзные ошибки и искривления. Теперь они исправляются. (Распустят по домам! — нагло решили арестанты.) Впредь мы будем содержать вас в курортных услови-

ях. (Остаёмся сидеть! — поникли они.) Дополнительно ко всему, что вам разрешалось и раньше, вам разрешается:

а) молиться своим богам;

б) лежать на койках хоть днём, хоть ночью;

в) беспрепятственно выходить из камеры в уборную;

г) писать мемуары.

Дополнительно к тому, что вам запрещалось, вам запрещается:

а) сморкаться в казённые простыни и занавески;

б) просить по второй тарелке еды;

в) при входе в камеру высоких посетителей противоречить начальству тюрьмы или жаловаться на него;

г) брать без спросу со стола папиросы «Казбек». Всякий, кто нарушит одно из этих правил, будет подвергнут пятнадцати суткам холодного карцера-строгача и сослан в дальние лагеря без права переписки. Понятно?

И едва лишь майор окончил речь — не гремящие вагонетки выкатили из прожарки бельё и драные телогрейки арестантов, нет! — ад, поглотивший лохмотья, не возвращал их! — но вошли четыре молоденькие кастелянши, потупясь, краснея, милыми улыбками подбодряя арестантов, что не всё ещё для них потеряно, как для мужчин, — и стали раздавать голубое шёлковое бельё. Затем зэкам выдали штапельные рубашки, галстуки скромных расцветок, ярко-жёлтые американские ботинки, полученные по ленд-лизу, и костюмы из поддельного коверкота.

Немые от ужаса и восторга, арестанты в строю парами были проведены вновь в свою 72-ю камеру. Но, Боже, как она преобразилась!

Ещё в коридоре ноги их ступили на ворсистую ковровую дорожку, заманчиво ведущую в уборную. А при входе в камеру их овенули струи свежего воздуха, и бессмертное солнце сверкнуло прямо в их глаза (за хлопотами прошла ночь, и воссияло уже утро). Оказалось, что за ночь решётки покрашены в голубой цвет, намордники с окон сняты, а на бывшей бутырской церкви, стоящей внутри двора, укреплено поворотное отражательное зеркальце, и специально приставленный к нему надзиратель регулирует его так, чтоб отражённый солнечный поток всё время бы падал в окна 72-й камеры. Стены камеры, ещё вечером оливково-тёмные, теперь были обрызганы светлой масляной краской, по которой живописцы во многих местах вывели голубей и ленточки с надписью: «Мы — за мир!» и «Миру — мир!»

Деревянных щитов с клопами не было и помину. На рамы кроватей были натянуты холщёвые подвески, в них лежали перины, пуховые подушки, а из-за кокетливо-отвёрнутого края одеяла сверкали белизной пододеяльник и простыня. У каждой из двадцати пяти коек стояли тумбочки, по стенам тянулись полки с книгами Маркса,

Энгельса, блаженного Августина и Фомы Аквинского, посреди камеры стоял стол под накрахмаленной скатертью, на нём — ваза с цветами, пепельница и нераспечатанная пачка «Казбека». (Всю роскошь этой волшебной ночи удалось оформить через бухгалтерию и только сорт папирос «Казбек» нельзя было подогнать ни под одну расходную статью. Начальник тюрьмы решил шикнýть «Казбеком» на свои деньги, оттого и кара за него была назначена такая строгая.)

Но более всего преобразился тот угол, где прежде стояла параша. Стена была отмыта добела и выкрашена, вверху теплилась большая лампада перед иконой Богоматери с младенцем, сверкал ризами чудотворец Николай Мирликийский, возвышалась на этажерке белая статуя католической мадонны, а в неглубокой нише, оставленной ещё строителями, лежали Библия, Коран, Талмуд и стояла маленькая тёмная статуэтка Будды — по грудь. Глаза Будды были немного сощурены, углы губ отведены назад, и в потемневшей бронзе чудилось, что Будда улыбается.

Сытые кашей и картошкой и потрясённые невместимым обилием впечатлений, зэки разделись и сразу заснули. Лёгкий Эол колебал на окнах кружевные занавеси, не допускавшие мух. Надзиратель стоял в приотворенных дверях и следил, чтобы никто не спёр «Казбека».

Так они мирно нежились до полудня, когда вбежал чрез-вы-чайно разгорячённый капитан в белых перчатках и объявил подъём. Зэки проворно оделись и заправили койки. Поспешно в камеру ещё втолкнули круглый столик под белым чехлом, на нём разложили «Огонёк», «СССР на стройке» и журнал «Америка», вкатили на колёсиках два старинных кресла, тоже под чехлами — и наступила зловещая невыносимая тишина. Капитан ходил между кроватями на цыпочках и красивой белой палочкой бил по пальцам тех, кто протягивал руку за журналом «Америка».

В томительной тишине арестанты слушали. Как нам хорошо известно по собственному опыту, слух — это важнейшее чувство арестанта. Зрение арестанта обычно ограничено стенами и намордником, обоняние насыщено недостойными ароматами, осязанию нет новых предметов. Зато слух развивается необыкновенно. Каждый звук даже в дальнем углу коридора тотчас же опознаётся, истолковывает происходящие в тюрьме события и отмеряет время: разносят ли кипяток, водят ли на прогулку или принесли кому-то передачу.

Слух и донёс начало разгадки: со стороны 75-й камеры загремела стальная переборка, и в коридор вошло много людей. Слышался их сдержанный говор, шаги, заглушаемые коврами, потом выделились голоса женщин, шорох юбок, и у самой двери 72-й камеры начальник Бутырской тюрьмы приветливо сказал:

— А теперь госпоже Рузвельт, вероятно, будет интересно посе-

тить какую-нибудь камеру. Ну, какую же? Ну, первую попавшуюся. Например, вот 72-ю. Откройте, сержант.

И в камеру вошла госпожа Рузвельт в сопровождении секретаря, переводчика, двух почтенных матрон из среды квакеров, начальника тюрьмы и нескольких лиц в гражданской одежде и в форме МВД. Капитан же в белых перчатках отошёл в сторону. Вдова президента, женщина тоже передовая и проницательная, много сделавшая для защиты прав человека, госпожа Рузвельт задалась целью посетить доблестного союзника Америки и увидеть своими глазами, как распределяется помощь ЮНРРА (Америки достигли зловредные слухи, будто продукты ЮНРРА не доходят до простого народа), а также — не ущемляется ли в Советском Союзе свобода совести. Ей уже показали тех простых советских граждан (переодетых партработников и чинов МГБ), которые в своих грубых рабочих спецовках благодарили Соединённые Штаты за бескорыстную помощь. Теперь госпожа Рузвельт настояла, чтоб её провели в тюрьму. Желание её исполнилось. Она уселась в одно из кресел, свита устроилась вокруг, и начался разговор через переводчика.

Солнечные лучи от поворотного зеркала всё так же били в камеру. И дыхание Эола шевелило занавески.

Госпоже Рузвельт очень понравилось, что в камере, выбранной наудачу и застигнутой врасплох, была такая удивительная белизна, полное отсутствие мух, и, несмотря на будний день, в святом углу теплилась лампада.

Заключённые поначалу робели и не двигались, но когда переводчик перевёл вопрос высокой гостьи, неужели, щадя чистоту воздуха, никто из заключённых даже не курит, — один из них с развязным видом встал, распечатал коробку «Казбека», закурил сам и протянул папиросу товарищу.

Лицо генерал-майора потемнело.

— Мы *боремся* с курением, — выразительно сказал он, — ибо табак — это яд.

Ещё один заключённый пересел к столу и стал просматривать журнал «Америка», почему-то очень торопливо.

— За что же наказаны эти люди? Например, вот этот господин, который читает журнал? — спросила высокая гостья.

(«Этот господин» получил десять лет за неосторожное знакомство с американским туристом.)

Генерал-майор ответил:

— Этот человек — активный гитлеровец, он служил в Гестапо, лично сжёг русскую деревню и, простите, изнасиловал трёх русских крестьянок. Число убитых им младенцев не поддаётся учёту.

— Он приговорён к повешению? — воскликнула госпожа Рузвельт.

— Нет, мы надеемся, что он исправится. Он приговорён к десяти годам честного труда.

Лицо арестанта выражало страдание, но он не вмешивался, а продолжал с судорожной поспешностью читать журнал.

В этот момент в камеру ненароком зашёл русский православный священник с большим перламутровым крестом на груди — очевидно, с очередным обходом, и очень был смущён, застав в камере начальство и иностранных гостей.

Он хотел было уже уйти, но скромность его понравилась госпоже Рузвельт, и она попросила его выполнять свой долг. Священник тут же всучил одному из растерявшихся арестантов карманное Евангелие, сам сел на кровать ещё к одному и сказал окаменевшему от удивления:

— Итак, сын мой, в прошлый раз вы просили рассказать вам о страданиях Господа нашего Иисуса Христа.

Госпожа Рузвельт попросила генерал-майора тут же при ней задать заключённым вопрос — нет ли у кого-нибудь из них жалоб на имя Организации Объединенных Наций?

Генерал-майор угрожающе спросил:

— Внимание, заключённые! А кому было сказано про «Казбек»? Строгача́ захотели?

И арестанты, до сих пор зачарованно молчавшие, теперь в несколько голосов возмущённо загалдели:

— Гражданин начальник, так курева нет!

— Уши пухнут!

— Махорка-то в тех брюках осталась!

— Мы ж-то не знали!

Знаменитая дама видела неподдельное возмущение заключённых, слышала их искренние выкрики и с тем большим интересом выслушала перевод:

— Они единодушно протестуют против тяжёлого положения негров в Америке и просят рассмотреть этот вопрос в ООН.

Так в приятной взаимной беседе прошло минут около пятнадцати. В этот момент дежурный по коридору доложил начальнику тюрьмы, что принесли обед. Гостья попросила, не стесняясь, раздавать обед при ней. Распахнулась дверь, и хорошенькие молоденькие официантки (кажется, те самые переодетые кастелянши), внеся в судках обыкновенную куриную лапшу, стали разливать её по тарелкам. Во мгновение словно порыв первобытного инстинкта преобразил благообразных арестантов: они вспрыгнули в ботинках на свои постели, поджали колени к груди, оперлись ещё руками около ног и в этих собачьих телоположениях с оскаленными зубами зорко наблюдали за справедливостью разливки лапши. Дамы-патронессы были шокированы, но переводчик объяснил им, что таков русский национальный обычай.

Невозможно было уговорить арестантов сесть за стол и есть мельхиоровыми ложками. Они уже вытащили откуда-то свои облез-

лые деревянные, и едва лишь священник благословил трапезу, а официантки разнесли тарелки по постелям, предупредив, что на столе — блюдо для сбрасывания костей, — единовременно раздался страшный втягивающий звук, затем дружный хруст куриных костей — и всё, наложенное в тарелки, навсегда исчезло. Блюдо для сбрасывания костей не понадобилось.

— Может быть, они голодны? — высказала нелепое предположение встревоженная гостья. — Может быть, они хотят ещё?

— Д о б а в к и никто не хочет? — хрипло спросил генерал.

Но никто не хотел добавки, зная мудрое лагерное выражение «прокурор добавит».

Однако, тефтели с рисом зэки проглотили с той же неописуемой быстротой.

Компота же в тот день не полагалось, так как день был будний.

Убедившись в ложности инсинуаций, распускаемых злопыхателями в западном мире, миссис Рузвельт со всею свитой вышла в коридор и там сказала:

— Но как грубы их манеры и как низко развитие этих несчастных! Можно надеяться, однако, что за десять лет они приучатся здесь к культуре. У вас великолепная тюрьма!

Священник выскочил из камеры между свитой, торопясь, пока не захлопнули дверь.

Когда гости из коридора ушли, в камеру вбежал капитан в белых перчатках:

— Вста-ать! — закричал он.— Становись по два! Выходи в коридор!

И заметив, что слова его не всеми правильно поняты, он ещё подошвою сапога дополнительно разъяснял отстающим.

Только тут обнаружилось, что один хитроумный зэк буквально понял разрешение писать мемуары и, пока все спали, с утра уже накатал две главы: «Как меня пытали» и «Мои лефортовские встречи».

Мемуары были тут же отобраны, и на ретивого писателя заведено новое следственное дело — о подлой клевете на органы госбезопасности.

И снова с пощёлкиванием и позвякиванием «веду зэка» их отвели сквозь множество стальных дверей в предбанник, всё так же переливавшийся своею вечной малахитово-рубинной красотою. Там с них снято было всё, вплоть до шёлкового голубого белья, и произведён был особо-тщательный обыск, во время которого у одного зэка под щекой нашли вырванную из Евангелия нагорную проповедь. За это он тут же был бит сперва в правую, а потом в левую щеку. Ещё отобрали у них коралловые губки и «Фею сирени», в чём опять-таки заставили каждого расписаться.

Вошли два надзирателя в грязных халатах и тупыми засоренными

машинками стали выстригать арестантам лобки, потом теми же машинками — щёки и темени. Наконец, в каждую ладонь влили по 20 граммов жидкого вонючего заменителя мыла и заперли всех в бане. Делать было нечего, арестанты ещё раз помылись.

Потом с каноническим грохотом отворилась выходная дверь, и они вышли в фиолетовый вестибюль. Две старые женщины, служанки ада, с громом выкатили из прожарок вагонетки, где на раскалённых крючках висели знакомые нашим героям лохмотья.

Понуро вернулись они в 72-ю камеру, где снова на клопиных щитах лежали пятьдесят их товарищей, сгорая от любопытства узнать о происшедшем. Окна вновь были забиты намордниками, голубки́ закрашены тёмно-оливковой краской, а в углу стояла четырёхведерная параша.

И только в нише, забытый, загадочно улыбался маленький бронзовый Будда...

60

В то время, как рассказывалась эта новелла, Щагов, наблестив не новые, но ещё приличные хромовые сапоги, натянув подглаженное бывшее своё парадное обмундирование с привинченными начищенными орденами, с пришитыми нашивками ранений (увы, мода на военную форму катастрофически устаревала в Москве, и скоро предстояло Щагову вступить в нелёгкое состязание по костюмам и ботинкам) — поехал в другой конец города на Калужскую заставу, куда был зван через своего фронтового знакомца Эрика Саунькина-Голованова на торжественный вечер в семью прокурора Макарыгина.

Вечер был сегодня для молодёжи и вообще для семьи по тому поводу, что прокурор получил орден Трудового Красного Знамени. Собственно, молодёжь попадала туда довольно отдалённая, но папаша отпускал деньжат. Должна была там быть и та девушка, которую Щагов назвал Наде своей невестой, но с которой ещё окончательно не было решено и надо было дожимать. Из-за того Щагов и звонил Эрику, чтобы тот устроил ему приглашение на этот вечер.

Теперь с приготовленными несколькими первыми фразами он поднимался по той самой лестнице, где Кларе всё виделась моющая женщина, и в ту квартиру, где четыре года назад, елозя на коленях в рваных ватных брюках, настилал паркет тот самый человек, у которого он только что едва не отнял жену.

Дома́ тоже имеют свою судьбу...

Помимо того, что надо было держать и приблизить свою намеченную невесту, главной надеждой и желанием Щагова в этот ве-

чер было — вкусно, разнообразно и досыта поесть. Он знал, что будет приготовлено всё лучшее и расставлено в непоглотимых количествах, но по заклятью званых пиршеств гости зададутся не тем, чтобы с полным вниманием и наслаждением есть, а — забавлять друг друга, мешать, выказывая пище мнимое пренебрежение. Щагову надо было суметь, занимая свою соседку и сохраняя равномерно-любезное выражение, успевая шутить и отвечать на шутки — тем временем утолять и утолять свой желудок, иссыхающий в студенческой столовой.

Там, на вечере, он не предполагал увидеть ни одного подлинного фронтовика, своего брата по минным проходам, своего брата по гадкой мелкой усталой трусце перепаханным полем — трусце, оглушительно именуемой атакою. От своих товарищей — рассеянных, канувших и убитых на конопельных задах деревни, под стеной сарая, на штурмовых плотиках, — он шёл один сюда, в тёплый благополучный мир — не для того, чтобы спросить: «сволочи! а где вы были?», но — примкнуть самому, но — наесться.

Да не устаревает ли он с этим делением людей: солдат — не солдат? Ведь вот уже стесняются люди носить и фронтовые ордена, которые так стоили и горели когда-то. Не будешь каждого трясти: «А где ты был?» Кто воевал, кто прятался — это теперь смешивается, уравнивается. Есть закон времени, закон забытья. Мёртвым — слава, живым — жизнь.

Щагов надавил кнопку звонка. Открыла ему Клара, как он догадался.

В тесном маленьком коридорчике уже висело в меру мужских и дамских пальто. Уже сюда достигал весь тёплый дух сборища: весёлый гул голосов, и радиола, и позвякивание посуды и смешанные радостные запахи кухни.

Клара ещё не успела пригласить гостя раздеться, как зазвонил висевший тут же телефон. Клара сняла трубку, стала говорить, а левой рукой усиленно показывала Щагову, чтобы он раздевался.

— Инк?.. Здравствуй... Как? Ты ещё не выехал?.. Сейчас же!.. Инк, ну папа обидится... Да у тебя и голос вялый... Ну что ж делать, а ты через «не могу»!.. Тогда подожди, я Нару позову... Нара! — крикнула она в комнату. — Твой благоверный звонит, иди! Раздевайтесь! — (Щагов уже снял шинель.) — Снимайте галоши! — (Он пришёл без них.) — ...Слушай, он ехать не хочет.

Вея духами не нашего небосклона, в коридор вошла сестра Клары — Дотнара, жена дипломата, как предварял Щагова Голованов. Не красотой поражала она, но той вальяжностью, тем плытием по воздуху, который создал славу русского женского типа. Притом не была она толста или дородна, а просто — не пигалица, которая жмётся, вертится и подбирается, неуверенная в себе. Эта женщина ступала так, что равно ей принадлежали прежний и новый кусок

пола под ногами, прежний и новый объём пространства, занятый её фигурой.

Она взяла трубку и стала ласково говорить с мужем. Щагову она отчасти мешала теперь пройти, но он не спешил миновать это ароматное препятствие, он рассматривал. От отсутствия грубых ложных накладных плеч, какие были у всех женщин теперь, Дотнара казалась особенно женственной: её плечи спадали в руки той линией, которую дала природа и лучше которой придумать нельзя. Ещё что-то странное было в её наряде: платье без рукавов, но зато полунакидка, отороченная мехом, — с рукавами, туготой обливающими у кистей, а выше разрезанными.

И никому из них, толпившихся на ковре в уютном коридорчике, не могло и в голову прийти, что в этой безобидной чёрной полированной трубке, в этом ничтожном разговоре о приезде на вечеринку, таилась та таинственная погибель, которая подстерегает нас даже в костях мёртвого коня.

С тех пор, как сегодня днём Рубин заказал записать ещё телефонных разговоров каждого из подозреваемых, — трубка телефона в квартире Володина сейчас была впервые снята им самим — и в центральном узле связи министерства госбезопасности зашуршала лента магнитофона с записью голоса Иннокентия Володина.

Осторожность, правда, подсказывала Иннокентию не звонить эти дни по телефону, но жена уехала из дому без него и оставила записку, что обязательно надо быть вечером у тестя.

Он позвонил, чтобы не поехать.

Вчера — да разве вчера? как давно-давно-давно... — после звонка в посольство в нём стало накручиваться, накручиваться. Он и не ждал, что так разволнуется, он не предполагал, что так боится за себя. Ночью его охватил страх верного ареста — и он не знал, как дождаться утра, чтобы было куда уехать из дому. Целый день он прожил в смятении, не понимал и не слышал тех людей, с которыми разговаривал. Досада на свой порыв и гадкий расслабляющий страх слоились в нём — а к вечеру выродились в безразличие: будь, что будет.

Иннокентию было бы, наверно, легче, если бы этот бесконечный день был не воскресным, а будним. Он бы тогда на службе мог догадываться по разным признакам, продвигается или отменена его отправка в Нью-Йорк, в главную квартиру ООН. Но о чём можно судить в воскресенье — покой или угроза таится в праздничной неподвижности дня?

Все эти минувшие сутки ему так представлялось, что его звонок был безрассудство, самоубийство — к тому же и не принесшее никому пользы. Да судя по этому растяпе атташе — и вообще недостойны были т е, чтобы их защищать.

Ничто не показывало, что Иннокентий разгадан, но внутреннее предчувствие, недоведомо вложенное в нас, щемило Володина, в нём росло предощущение беды — от него-то никуда и не хотелось ехать веселиться.

Он уговаривал теперь в этом жену, растягивал слова, как всегда делает человек, говоря о неприятном, жена настаивала, — и отчётливые «форманты» его «индивидуального речевого лада» ложились на узкую коричневую магнитную плёнку, чтобы к утру быть превращёнными в звуковиды и мокрою лентой распростереться перед Рубиным.

Дотти не говорила в категорическом тоне, усвоенном последние месяцы, а, тронутая ли усталым голосом мужа, очень мягко просила, чтоб он приехал на часик.

Иннокентий уступил, что приедет.

Однако, положа трубку, он не сразу отнял руку от неё, а замер, ещё как бы пальцами себя на ней отпечатывая, замер, чего-то не досказав.

Ему стало жаль не ту жену, с которой он жил и не жил сейчас и которую через несколько дней собирался покинуть навсегда, — а ту десятиклассницу белокурую, с кудрями по плечи, которую он водил в «Метрополь» танцевать между столиками, ту девочку, с кем они когда-то вместе начали узнавать, что такое жизнь. Между ними накалялась тогда раззарчивая страсть, не признающая никаких доводов, не желающая слышать об отсрочке свадьбы на год. Инстинктом, руководящим нами среди обманчивых наружностей и лгущих нарядов, они верно угадали друг друга и не хотели упустить. Этому браку сопротивлялась мать Иннокентия, тогда уже больная тяжело (но какая мать не сопротивляется женитьбе сына?), сопротивлялся и прокурор (но какой отец с лёгким сердцем отдаст восемнадцатилетнюю прелестную дочурку?). Однако всем пришлось уступить! Молодые люди поженились и были счастливы до такой полноты, что это вошло в поговорку среди их общих знакомых.

Их брачная жизнь началась при наилучших предзнаменованиях. Они принадлежали к тому кругу общества, где не знают, что значит ходить пешком или ездить в метро, где ещё до войны беспересадочному спальному вагону предпочитали самолёт, где даже об обстановке квартиры нет заботы: в каждом новом месте — под Москвой ли, в Тегеране, на сирийском побережьи или в Швейцарии, молодых ждала обставленная дача, вилла, квартира. Взгляды на жизнь у молодожёнов совпали. Взгляд их был, что от желания до исполнения не должно быть запретов, преград. «Мы — естественные человеки, — говорила Дотнара. — Мы не притворяемся и не скрываемся: чего хотим — к тому и руку тянем!» Взгляд их был: «нам жизнь даётся только раз!» Поэтому от жизни надо было взять всё, что она могла дать, кроме пожалуй рождения ребёнка, потому

что ребёнок — это идол, высасывающий соки твоего существа и не воздающий за них своею жертвой или хотя бы благодарностью.

С подобными взглядами они очень хорошо соответствовали обстановке, в которой жили, и обстановка соответствовала им. Они старались отпробовать каждый новый диковинный фрукт. Узнать вкус каждого коллекционного коньяка и отличие вин Роны от вин Корсики и ещё от всех иных вин, давимых на виноградниках Земли. Одеться в каждое платье. Оттанцевать каждый танец. Искупаться на каждом курорте. Побывать на двух актах каждого необычного спектакля. Пролистать каждую нашумевшую книжку.

И шесть лучших лет мужского и женского возраста они давали друг другу всё, чего хотел другой из них. Эти шесть лет почти все были — те самые годы, когда человечество рыдало в разлуках, умирало на фронтах и под обвалами городов, когда обезумевшие взрослые крали у детей корки хлеба. И горе мира никак не овеяло лиц Иннокентия и Дотнары.

Ведь жизнь даётся нам только раз!..

Однако, на шестом году их брачной жизни, когда приземлились бомбардировщики и умолкли пушки, когда дрогнула к росту забитая чёрной гарью зелень, и всюду люди вспомнили, что жизнь даётся нам только раз, — в эти месяцы Иннокентий над всеми материальными плодами земли, которые можно обонять, осязать, пить, есть и мять — ощутил безвкусное отвратное пресыщение.

Он испугался этого чувства, он перебарывал его в себе, как болезнь, ждал, что пройдёт — но оно не проходило. Главное — он не мог разобраться в этом чувстве — в чём оно? Как будто всё было доступно ему, а чего-то не было совсем. В двадцать восемь лет, ничем не больной, Иннокентий ощутил во всей своей и окружающей жизни какую-то тупую безвыходность.

И весёлые приятели его, с которыми он так прочно был дружен, стали разнравливаться ему, один показался не умным, другой грубым, третий — слишком занятым собой.

Но не от друзей только, а от белокурой Дотти, как давно на европейский манер он называл Дотнару, — от жены своей, с которой привык ощущать себя слитно, он теперь отделил себя и отличил.

Эта женщина, когда-то вонзившаяся в него, никогда его не пресыщавшая, чьи губы не могли ему надоесть даже в самом иссиленном расположении, — других таких губ он никогда не знал, не встречал, и потому Дотти была единственная среди всех красивых и умных, — эта женщина вдруг обнаружилась перед ним отсутствием тонкости и невыносимостью суждений.

Особенно о литературе, о живописи, о театре замечания её все теперь оказывались невпопад, драли ухо своей грубостью, непониманием — а произносились при этом так уверенно. Только мол-

чать с ней оставалось по прежнему хорошо, а говорить — всё трудней.

Их устоявшаяся шикарная жизнь стала стеснять Иннокентия, но Дотти и слышать не хотела что-нибудь изменять. Больше того, если раньше она проходила сквозь вещи и без жалости покидала одни для других, лучших, — то теперь в ней возникла ненасыть удержать в своём постоянном обладании все вещи на всех квартирах. Два года в Париже Дотти использовала для того, чтобы отправлять в Москву большие картонки с отрезами, туфлями, платьями, шляпами. Иннокентию было это неприятно, он говорил ей — но чем явнее расходились их намерения, тем категоричнее она была убеждена в своей правоте. Появилась ли в ней теперь? — или была, да он не замечал? — манера неприятно жевать, даже чавкать, особенно, когда она ела фрукты.

Но не в друзьях, конечно, было дело и не в жене, а в самом Иннокентии. Ему не хватало чего-то, а чего — он не знал.

Давно за Иннокентием утвердилось звание эпикурейца — так называли его, и он принимал это охотно, хотя сам толком не знал, что это такое. И вот однажды в Москве, дома, по безделью, пришла ему в голову такая насмешливая мысль — почитать, а что, собственно, проповедовал *учитель*? И он стал искать в шкафах, оставшихся от умершей матери, книгу об Эпикуре, которая, помнилось ему с детства, там была.

Самую эту работу — разборку старых шкафов, Иннокентий начал с отвратительным ощущением скованности в движениях, лени к тому, что надо было наклоняться, перекладывать тяжести, дышать пылью. Он не привык даже и к такому труду и очень утомился. Но всё же совладал с собой — и обновляющим ветерком потянуло на него из глубины этих старых шкафов с их особенным устоявшимся запахом. Нашёл он между прочим и книгу об Эпикуре и позже как-то прочёл её, но не в ней онаружил для себя главное, а в письмах и жизни своей покойной матери, которой он никогда не понимал, да и привязан был только в детстве. Даже смерть её он перенёс почти равнодушно.

С детскими ранними годами, с посеребренными горнами, взброшенными к лепному потолку, со «Взвейтесь кострами, синие ночи!» слилось у Иннокентия первое представление об отце. Самого отца Иннокентий не помнил, тот погиб в двадцать первом году в Тамбовской губернии при подавлении мятежа, но все вокруг не уставали говорить сыну об отце — о знаменитом герое, прославленном в гражданскую войну матросском военачальнике. Ото всех и везде слыша эти похвалы, Иннокентий и сам привык очень гордиться отцом, его борьбой за простой народ против богатеев, погрязших в роскоши. Зато к вечно озабоченной, о чём-то грустящей, всегда обложенной книжками и грелками матери он относился почти свысока и, как это

обычно для сыновей, не задумывался о том, что у матери не только был он, его детство и его надобности, но и ещё какая-то своя жизнь; что вот она страдает от болезней; что вот она скончалась в сорок семь лет.

Родителям его почти не пришлось жить вместе. Но мальчишке и об этом не было повода задуматься, не приходило в голову расспросить мать.

А теперь это всё разворачивалось перед ним из писем и дневников матери. Их женитьба была не женитьба, а что-то вихреподобное, как всё в те годы. Грубо и коротко их столкнули внезапные обстоятельства, и обстоятельства же мало давали им видеться, и обстоятельства же развели. А мать из этих дневников оказалась не просто дополнением к отцу, как привык сын, но — отдельным миром. И узнавал теперь Иннокентий, что мать всю жизнь любила другого человека, так и не сумев никогда с ним соединиться. Что может быть только из-за карьеры сына она до смерти носила чужое ей имя.

Перевязанные разноцветными тесёмками из нежных тканей, в шкафах хранились связки писем от подруг матери, от друзей, знакомых, артистов, художников и поэтов, чьи имена были теперь вовсе забыты или вспоминались ругательно. В старинных тетрадях с синими сафьяновыми обложками шли по-русски и по-французски дневниковые записи странным маминым почерком — как будто раненая птичка металась по листу бумаги и неверно процарапывала свой причудливый след коготком. По многу страниц занимали воспоминания о литературных вечерах, о драматических спектаклях. Брало за сердце описание, как мать восторженной девушкой в толпе таких же плачущих от радости почитателей встречала белой июньской ночью на петербургском вокзале труппу Художественного театра. Бескорыстное искусство ликовало с этих страниц. Сейчас не знал Иннокентий такой театральной труппы, да нельзя себе было и представить, чтобы, встречая её, кто-то не спал бы ночь, кроме тех, кого погонит Отдел Культуры, выписав через бухгалтерию букеты. И уж конечно никому не придёт в голову плакать при встрече.

А дневники вели его дальше и дальше. Были такие странички: «Этические записи».

«Жалость — первое движение доброй души», — говорилось там.

Иннокентий морщил лоб. Жалость? Это чувство постыдное и унизительное для того, кто жалеет, и для того, кого жалеют, — так вынес он из школы, из жизни.

«Никогда не считай себя правым больше, чем других. Уважай чужие, даже враждебные тебе мнения».

Довольно старомодно было и это. Если я обладаю правильным мировоззрением, то разве можно уважать тех, кто спорит со мной?

Сыну казалось, что он не читает, а ясно слышит, как мать говорит, её ломкий голос:

«Что дороже всего в мире? Оказывается: сознавать, что ты не участвуешь в несправедливостях. Они сильней тебя, они были и будут, но пусть — не через тебя».

Шесть лет назад Иннокентий если б и открыл дневники, — даже не заметил бы этих строк. А сейчас он читал их медленно и удивлялся. Ничего в них не было как будто такого уж сокровенного, и, даже прямо неверное было — а он удивлялся. Старомодны были и самые слова, которыми выражалась мама и её подруги. Они всерьёз писали с больших букв: Истина, Добро и Красота; Добро и Зло; этический императив. В языке, которым пользовался Иннокентий и окружающие его, слова были конкретней и понятней: идейность, гуманность, преданность, целеустремлённость.

Но хотя Иннокентий был безусловно идеен, и гуманен, и предан, и целеустремлён (целеустремлённость больше всего ценили в себе и воспитывали все его сверстники), а, сидя на низкой скамеечке у этих шкафов, он почувствовал, как подступает что-то из нехватавшего ему.

И фотоальбомы были тут, с чёткой ясностью старинных фотографий. И несколько отдельных пачек составляли театральные программки Петербурга и Москвы. И ежедневная театральная газета «Зритель». И «Вестник кинематографии» — как? это уже всё было в то время? И стопы, стопы разнообразных журналов, от одних названий пестрило в глазах: «Аполлон», «Золотое Руно», «Гиперборей», «Пегас», «Мир искусства». Репродукции неведомых картин, скульптур (и духа их не было в Третьяковке!), театральных декораций. Стихи неведомых поэтов. Бесчисленные книжечки журнальных приложений — с десятками имён европейских писателей, никогда не слыханных Иннокентием. Да что писатели! — здесь были целые издательства, никому не известные, как провалившиеся в тартарары: «Гриф», «Шиповник», «Скорпион», «Мусагет», «Альциона», «Сирин», «Сполохи», «Логос».

Несколько суток просидел он так на скамеечке у распахнутых шкафов, дыша, дыша и отравляясь этим воздухом, этим маминым мирком, в который когда-то отец его, опоясанный гранатами, в чёрном дождевике, вошёл по ордеру ЧК на обыск.

В пестроте течений, в столкновении идей, в свободе фантазии и тревоге предчувствий глянула на Иннокентия с этих желтеющих страниц Россия Десятых годов, последнего предреволюционного десятилетия, которое Иннокентия в школе и в институте приучили считать самым позорным, самым бездарным во всей истории России — таким безнадёжным, что не протяни большевики руку помощи — и Россия сама собой сгнила бы и развалилась.

Да оно и было слишком говорливо, это десятилетие, отчасти

слишком самоуверенно, отчасти слишком немощно. Но какое разбрасывание стеблей! но какое расколосье мыслей!

Иннокентий понял, что был обкраден до сих пор.

А Дотнара пришла звать мужа на какой-то прикремлёвский вечер. Иннокентий посмотрел на неё бессмысленно, потом собрал лоб, вообразил себе это напыщенное сборище, где все будут друг с другом совершенно согласны, где все проворно встанут на ноги для первого тоста за товарища Сталина, а потом будут много есть и пить уже без товарища Сталина, а потом играть в карты глупо, глупо.

Из невнятной дали он вернулся к жене глазами — и попросил её ехать одну. Дотнаре дико показалось, что живой жизни званого вечера можно предпочесть ковыряние в старых альбомах. Связанные со смутными, но никогда не умирающими воспоминаниями детства, все эти находки в шкафах много говорили душе Иннокентия и ничего — его жене.

Мать добилась своего: встав из гроба, она отняла сына у невестки.

Стронувшись раз, Иннокентий уже не мог остановиться. Если его обманули в одном — то, может, и ещё в чём-нибудь? и ещё?

За последние годы разленившийся, отохотившийся учиться (лёгкость во французском, который вёз его карьеру, он приобрёл ещё в младенчестве от матери), Иннокентий теперь набросился на чтение. Все пресыщенные и притупленные страсти заменились в нём одною: читать! читать!

Но оказалось, что и читать — это тоже умение, это не просто бегать глазами по строчкам. Иннокентий открыл, что он — дикарь, выросший в пещерах обществоведения, в шкурах классовой борьбы. Всем своим образованием он приучен был одним книгам верить, не проверяя, другие отвергать, не читая. Он с юности был ограждён от книг неправильных, и читал только заведомо правильные, оттого укоренилась в нём привычка: верить каждому слову, вполне отдаваться на волю автора. Теперь же, читая авторов противоречащих, он долго не мог восстать, не мог не поддаваться сперва одному автору, потом другому, потом третьему. Трудней всего было научиться — отложивши книгу, размыслить самому.

...Почему даже выпала из советских календарей как незначительная подробность Семнадцатого года эта революция, её и революцией стесняются называть — Февральская? Лишь потому, что не работала гильотина? Свалился царь, свалился шестисотлетний режим от единого толчка — и никто не бросился поднимать корону, и все пели, смеялись, поздравляли друг друга — и этому дню нет места в календаре, где тщательно размечены дни рождения жирных свиней Жданова и Щербакова?

Напротив, вознесён в величайшую революцию человечества — Октябрь, ещё в двадцатые годы во всёх наших книгах называемый *переворотом*. Однако, в октябре Семнадцатого, в чём были обвине-

ны Каменев и Зиновьев? В том, что они предали буржуазии *тайну революции*! Но разве извержение вулкана остановишь, увидевши в кратере? разве перегородишь ураган, получив сводку погоды? Можно выдать *тайну*? только узкого заговора! Именно стихийности всенародной вспышки не было в Октябре, а собрались заговорщики по сигналу...

Тут вскоре назначили Иннокентия в Париж. Ко всем оттенкам мировых мнений и ко всей эмигрантской русской литературе у него здесь был доступ (только всё же оглядываясь около книжных киосков). Он мог читать, читать и читать! — если б не надобно было прежде того служить.

Свою службу, свою работу, которую он до сих пор считал наилучшим, наиудачным жизненным жребием, — он впервые ощутил как нечто гадкое.

Служить советским дипломатом — это значило не только каждый день декламировать убогие вещи, над которыми смеялись люди со здравым мозгом, это значило ещё иметь те две грудные стенки и два лба, о которых он сказал Кларе. Главная-то работа была вторая, тайная: встречи с зашифрованными личностями, сбор сведений, передача инструкций и выплата денег.

В весёлой молодости, до своего кризиса, Иннокентий не находил эту заднюю деятельность предосудительной, а даже — забавной, легко её выполнял. Теперь она стала ему — против души, постылой.

Раньше истина Иннокентия была, что жизнь даётся нам только раз.

Теперь созревшим новым чувством он ощутил в себе и в мире новый закон: что и совесть тоже даётся нам один только раз.

И как жизни отданной не вернуть, так и испорченной совести.

Но не было, не было вокруг Иннокентия, кому он мог бы всё издуманное рассказать, ни даже жене. Как не поняла и не разделила она его вернувшейся нежности к умершей матери, так не понимала дальше, зачем можно интересоваться событиями, которые, пройдя однажды, уже не вернутся больше. А что он стал презирать свою службу — это в ужас бы её привело, ведь именно на этой службе была основана вся их сверкающая успешливая жизнь.

Отчуждённость с женою дошла в прошлом году до того угла, когда открывать себя становилось уже опасно.

Но и в Союзе, в отпуске, тоже не было близких у Иннокентия. Тронутый наивным рассказом Клары о поломойке на лестнице, он порывом понадеялся, что, может быть, хоть с нею будет хорошо говорить. Однако, с первых же фраз и шагов той прогулки, Иннокентий увидел, что — невозможно, непродёрные заросли, слишком многое расплетать, разрывать. И даже к тому, что вполне естественно, что сблизило бы их — сестре жены пожаловаться на жену — он почему-то не расположился.

Вот почему. Тут ещё обнаружился странный закон: бесплодно пытаться развивать отношения с женщиной, если она тебе не нравится телесно — почему-то замыкаются уста, охватывает бессилие всё просказать, проговорить, не находятся самые открытые откровенные слова.

А к дяде он в тот раз так и не поехал, не собрался, да и что? — одна потеря времени. Будут пустые надоедливые расспросы о загранице, аханье.

Прошёл ещё год — в Париже и в Риме. В Рим он устроился ехать без жены, она была в Москве. Зато вернувшись, узнал, что уже делил её с одним офицером генштаба. С упрямой убеждённостью она и не отрекалась, а всю вину перекладывала на Иннокентия: зачем он оставлял её одну?

Но не ощутил он боли потери, скорей — облегчение. С тех пор четыре месяца он служил в министерстве, всё время в Москве, но жили они как чужие. Однако о разводе не могло быть речи — развод губителен для дипломата. Иннокентия же предполагалось переводить в сотрудники ООН, в Нью-Йорк.

Новое назначение нравилось ему — и пугало. Иннокентий полюбил идею ООН — не устав, а какой она могла бы быть при всеобщем компромиссе и доброжелательной критике. Он вполне был и за мировое правительство. Да что другое могло спасти планету?.. Но так шли в ООН шведы или бирманцы или эфиопы. А его толкал в спину железный кулак — не для того. Его и туда толкали с тайным заданием, задней мыслью, второй памятью, ядовитой внутренней инструкцией.

В эти московские месяцы нашлось время и поехать к дяде в Тверь.

61

Не случайно не было квартиры на адресе, чему удивлялся Иннокентий, — искать не пришлось. Это оказался в мощёном переулке без деревьев и палисадников одноэтажный кривенький деревянный дом среди других подобных. Чтó не так ветхо, чтó здесь открывается — калитка при воротах или скособоченная, с узорными филёнками, дверь дома — не сразу мог Иннокентий понять, стучал туда и сюда. Но не открывали и не отзывались. Потряс калитку — заколочено, толкнул дверь — не подалась. И никто не выходил.

Убогий вид дома ещё раз убеждал его, что зря он приехал.

Он обернулся, ища, кого бы спросить в переулке — но весь квартал в полуденном солнце в обе стороны был пустынен. Впрочем, изза угла с двумя полными вёдрами вышел старик. Он нёс напряжённо, однажды приспоткнулся, но не остановился. Одно плечо у него было приподнято.

Вслед за своей тенью, наискосок, как раз он сюда и шёл и тоже глянул на посетителя, но тут же под ноги. Иннокентий шагнул от чемодана, ещё шагнул:

— Дядя Авенир?

Не столько нагнувшись спиною, сколько присев ногами, дядя аккуратно, без проплеска, поставил вёдра. Распрямился. Снял блин желто-грязной кепчёнки со стриженой седой головы, тем же кулаком вытер пот. Хотел — сказать, не сказал, развёл руки, и вот уже Иннокентий, склонясь (дядя на полголовы ниже), уколол свою гладкую щеку о дядины запущенные бородку и усы, а ладонью попал как раз на угловато-выпершую лопатку, из-за которой и плечо было кривое.

Обе руки на отстоянии дядя положил снизу вверх на плечи Иннокентию и рассматривал.

Он собирался торжественно.

А сказал:

— Ты... что-то худенек...

— Да и ты...

Он не только худ, он был, конечно, со многими немочами и недомогами, но сколько видно было за солнцем, глаза дядины не покрылись старческим туском и отрешённостью. Он усмехнулся, больше правой стороною губ:

— Я-то!.. У меня банкетов не бывает... А ты — почему?

Иннокентий порадовался, что по совету Клары купил колбас и копчёной рыбы, чего в Твери не должно быть ни за что. Вздохнул:

— Беспокойства, дядя...

Дядя разглядывал глазами живыми, хранящими силу:

— Смотря — от чего. А то так — и ничего.

— И далеко воду носишь?

— Квартал, квартал, ещё половинка. Да небольшие.

Иннокентий нагнулся донести вёдра, оказались тяжёлые, будто донья из чугуна.

— Хе-е-е... — шёл дядя сзади, — из тебя работничек! Непривычка...

Обогнал, отпер дверь. В коридорце, подхватывая за дужки, помог вёдрам на лавку. А щегольский синий чемодан опустился на косой пол из шатких несогнанных половиц. Тут же заложена была дверь засовом, как будто дядя ждал, что ворвутся.

Были в коридорце низкий потолок, скудное окошко к воротам, две чуланных двери да две человеческих. Иннокентию стало тоскливо. Он никогда так не попадал. Он досадовал, что приехал, и подыскивал, как бы соврать, чтобы здесь не ночевать, к вечеру уехать.

И дальше, в комнаты и между комнатами, все двери были косые,

одни обложены войлоком, другие двустворчатые, со старинной фигурной строжкой. В дверях во всех надо было кланяться, да и мимо потолочных ламп голову обводить. В трёх небольших комнатках, все на улицу, воздух был нелёгкий, потому что вторые рамы окон навечно вставлены с ватой, стаканчиками и цветной бумагой, а открывались лишь форточки, но и в них шевелилась нарезанная газетная лапша: постоянное движение этих частых свисающих полосок пугало мух.

В такой перекошенной придавленной старой постройке с малым светом и малым воздухом, где из мебели ни предмет не стоял ровно, в такой унылой бедности Иннокентий никогда не бывал, только в книгах читал. Не все стены были даже белены, иные окрашены темноватой краской по дереву, а «коврами» были старые пожелтевшие пропыленные газеты, во много слоёв зачем-то навешенные повсюду: ими закрывались стёкла шкафов и ниша буфета, верхи окон, запечья. Иннокентий попал как в западню. Сегодня же уехать!

А дядя, нисколько не стыдясь, но даже чуть ли не с гордостью водил его и показывал угодья: домашнюю выгребную уборную, летнюю и зимнюю, ручной умывальник, и как улавливается дождевая вода. Уж тем более не пропадали тут очистки овощей.

Ещё какая придёт жена! И что за бельё у них на постелях, можно заранее вообразить!

А с другой стороны это был родной мамин брат, он знал жизнь мамы с детства, это был вообще единственный кровный родственник Иннокентия — и сорваться сейчас же, значит не доузнать, не додумать даже о себе.

Да самого-то дяди простота и правобокая усмешка располагали Иннокентия. С первых же слов что-то почувствовалось в нём больше, чем было в двух коротких письмах.

В годы всеобщего недоверия и проданности кровное родство даёт уже ту первую надёжность, что этот человек не подослан, не приставлен, что путь его к тебе — естественный. Со светлыми разумниками не скажешь того, что с кровным родственником, хоть и тёмным.

Дядя был не то, что худ, но — сух, только то и оставалось на его костях, без чего никак нельзя. Однако такие-то и живут долго.

— Тебе точно сколько ж лет, дядя?

(Иннокентий и неточно не знал.)

Дядя посмотрел пристально и ответил загадочно:

— Я — ровесничек.

И всё смотрел, не отрываясь.

— Кому?

— Са-мо-му.

И смотрел.

Иннокентий со свободою улыбнулся, это-то было для него прой-

денное: даже в годы восторгов кряду всем, *Сам* оскорблял его вкус дурным тоном, дурными речами, наглядной тупостью.

И не встретив почтительного недоумения или благородного запрета, дядя посветлел, хмыкнул шутливо:

— Согласись, нескромно мне первому умирать. Хочу на второе место потесниться.

Засмеялись. Так первая искра открыто пробежала между ними. Дальше уже было легче.

Одет дядя был ужасно: рубаха под пиджаком непоказуемая; у пиджака облохмачены, обшиты и снова обтёрты воротник, лацканы, обшлага; на брюках больше латок, чем главного материала, и цвета различались — просто серый, клетчатый и в полоску; ботинки столько раз чинены, наставлены и нашиты, что стали топталами колодника. Впрочем, дядя объяснил, что этот костюм — его рабочий, и дальше водяной колонки и хлебного магазина он так не выходит. Впрочем, и переодеться он не спешил.

Не задерживаясь в комнатах, дядя повёл Иннокентия смотреть двор. Стояло очень тепло, безоблачно, безветренно.

Двор был метров тридцать на десять, но зато весь целиком дядин. Плохонькие сарайчики да заборцы со щелями отделяли его от соседей, но — отделяли. В этом дворе было место и мощёной площадке, мощёной дорожке, резервуару дождевой, корытному месту, и дровяному, и летней печке, было место и саду. Дядя вёл и знакомил с каждым стволом и корнем, кого Иннокентий по одним листьям, уже без цветов и плодов, не узнал бы. Тут был куст китайской розы, куст жасмина, куст сирени, затем клумба с настурциями, маками и астрами. Были два раскидистых пышных куста чёрной смородины, и дядя жаловался, что в этом году они обильно цвели, а почти не уродили — из-за того, что в пору опыления ударили холода. Была одна вишня и одна яблоня, с ветвями, подпёртыми от тяжести колышками. Дикие травинки были всюду вырваны, а каким полагалось — те росли. Тут много было ползано на коленях и работано пальцами, чего Иннокентий и оценить не мог. Всё же он понял:

— А тяжело тебе, дядя! Это сколько ж нагибаться, копать, таскать?

— Этого я не боюсь, Иннокентий. Воду таскать, дрова колоть, в земле копаться, если в меру — нормальная человеческая жизнь. Скорей удушишься в этих пятиэтажных клетках в одной квартире с передовым классом.

— С кем это?

— С пролетариатом. — Ещё раз проверяюще примерился старик. — Кто домино как гвозди бьёт, радио не выключает от гимна до гимна. Пять часов пятьдесят минут остаётся спать. Бутылки бьют прохожим под ноги, мусор высыпают вон посреди улицы. Почему они — передовой класс, ты задумывался?

— Да-а-а, — покачал Иннокентий. — Почему передовой — этого и я никогда не понимал.

— Самый дикий! — сердился дядя. — Крестьяне с землёй, с природой общаются, оттуда нравственное берут. Интеллигенты — с высшей работой мысли. А эти — всю жизнь в мёртвых стенах мёртвыми станками мёртвые вещи делают — откуда им что придёт?

Шли дальше, приседали, разглядывали.

— Это — не тяжело. Здесь все работы мне — по совести. Помои выливаю — по совести. Пол скребу — по совести. Золу выгребать, печку топить — ничего дурного нет. Вот на службах — на службах так не поживёшь. Там надо гнуться, подличать. Я отовсюду отступал. Не говорю учителем — библиотекарем, и то не мог.

— А что так трудно библиотекарем?

— Пойди попробуй. Хорошие книги надо ругать, дурные хвалить. Незрелые мозги обманывать. А какую ты назовёшь работу по совести?

Иннокентий просто не знал никаких вообще работ. Его единственная — была против.

А дом этот — Раисы Тимофеевны, давно уже. И работает — только Раиса Тимофеевна, она медсестра. У неё взрослые дети, они отделились. Она дядю подобрала, когда ему было очень худо — и душевно, и телесно, и в нищете. Она его выходила, и он ей всегда благодарен. Она работает на двух ставках. Нисколько дяде не обидно готовить, мыть посуду и все женские домашние работы. Это — не тяжело.

За кустами, у самого забора, как полагается настоящему саду, была врыта укромная скамья, дядя с племянником сели.

Это не тяжело, вёл и вёл своё дядя, с упрямством яснорассудочной старости. Это — естественно, жить не на асфальте, а на клочке земли, доступном лопате, пусть весь клочок — три лопаты на две. Он уже десять лет так живёт, и рад, и лучшего жребия ему не надо. Какие б заборы ни хилые, ни щелястые — а это крепость, оборона. Снаружи входит только вредное — или радио, или повестка о налоге, или распоряжение о повинностях. Каждый чужой стук в дверь — всегда неприятность, с приятным ещё не приходили.

Это не тяжело. Есть тяжелее гораздо.

Что же?

В своём перелатанном, в кепчёнке-блине, дядя с выдержкой и с последним ещё недовереньем косился на Иннокентия. Ни за два часа, ни за два года нельзя было доступиться до того с чужим. Но этот мальчик уже кое-что понимал, и свой был, и — вытяни, вытяни, мальчик!

— Тяжелей всего, — завершил дядя с нагоревшим, накалённым чувством, — вывешивать флаг по праздникам. Домовладельцы должны вывешивать флаг. — (Дальше всё будет открыто или всё за-

крыто!) — Принудительная верность правительству, которое ты, может быть... не уважаешь.

Вот тут и имей глаза! — безумец или мудрец заикается перед тобой в затёрханном истощённом обличьи. Когда он откормлен, в академической мантии и говорить не торопится — тогда все согласятся, что мудрец.

Иннокентий не откинулся, не пустился возражать. Но всё же дядя вильнул за проверенную широкую спину:

— Ты — Герцена сколько-нибудь читал? По-настоящему?

— Да что-то... вообще... да.

— Герцен спрашивает, — набросился дядя, наклонился со своим косым плечом (ещё в молодости позвоночник искривил над книгами), — *где границы патриотизма*? Почему любовь к родине надо распространять и на всякое её правительство? Пособлять ему и дальше губить народ?

Просто и сильно. Иннокентий переспросил, повторил:

— Почему любовь к родине надо распро... ?

Но это уже было у другого забора, там дядя оглядывался на щели, соседи могут подслушать.

Хорошо они стали с дядей говорить, Иннокентий уже и в комнатах не задыхался, и не собирался уезжать. Странно, шли часы — и незаметно, и всё интересно. Дядя даже бегал живо — в кухню и назад, в кухню и назад. Вспоминали и маму, и старые карточки смотрели, и дядя дарил. Но он был намного старше мамы, и общей юности не было у них.

Пришла с работы Раиса Тимофеевна, крутая женщина лет пятидесяти, неприветливо поздоровалась. Иннокентию передалось замешательство дяди, и он тоже ощутил странную робость, что она сейчас всё развалит им. За стол под тёмной клеёнкой сели не то обедать, не то ужинать. Непонятно, что б они тут ели, если б Иннокентий не привёз полчемодана с собой и ещё не отрядил бы дядю за водкой. Своих подрезали они помидоров только. Да картошку.

Но щедрость родственника и редкостная еда вызвали радость в глазах Раисы Тимофеевны и избавили Иннокентия от ощущения вины — своих неприездов раньше, своего приезда теперь. Выпили по рюмочке, по другой. Раиса Тимофеевна стала высказывать обиду, как неправильно живёт её непутёвый: не только не может ужиться нигде в учреждении из-за своего плохого характера, но ладно бы, хоть бы дома спокойно сидел! Нет, его тянет последние двугривенные нести покупать какие-то газеты, а то «Новое время», а оно дорогое — и газеты ведь не для удовольствия, а бесится над ними, потом ночами сидит, строчит ответы на статьи, но и в редакции их не посылает, а через несколько дней даже и сжигает, потому что и хранить их немыслимо. Этим пустописательством у него полдня занято. Ещё ходит слушать заезжих лекторов по международному положению — и каж-

дый раз страх, что домой не вернётся, что подымется и задаст вопрос. Но нет, не задаёт, ворочается цел.

Дядя почти не возражал молодой жене, посмеивался виновато. Но и надежды на исправление не подавала его правобокая усмешка. Да Раиса Тимофеевна будто и жалилась не всерьёз, отчаялась давно. И двугривенных последних не лишала.

Темноватый, с неукрашенными стенами, голый и скупой дом их стал уютней, когда закрыли ставни — успокоительное отделение от мира, потерянное нашим веком. Каждая ставня прижималась железной полосою, а от неё болт через прорезь просовывался в дом, и здесь его проушина заклинивалась костыльком. Не от воров это надобилось им, тут бы и через распахнутые окна нечем поживиться, но при запертых болтах размягчалась настороженность души. Да им бы нельзя иначе: тротуарная тропка шла у самых окон, и прохожие как в комнату входили всякий раз своим топотом, говором и руганью.

Раиса Тимофеевна рано ушла спать, а дядя в средней комнате, тихо двигаясь и тихо говоря (слышал он тоже безущербно), открыл племяннику ещё одну свою тайну: эти жёлтые газеты, во много слоёв навешенные будто от солнца или от пыли — это был способ некриминального хранения самых интересных старых сообщений. («А почему вы *именно эту* газету храните, гражданин?» — «А я её не храню, какая попалась!») Нельзя было ставить пометок, но дядя на память знал, чтó в каждой искать. И удобной стороной они были повешены, чтобы каждый раз не разнимать пачку.

Ставши на два стула рядом, дядя в очках, они над печкой прочли в газете 1940 года у Сталина: «Я знаю, как германский народ любит своего фюрера, поэтому я поднимаю тост за его здоровье!» А в газете 1924 года на окне Сталин защищал «верных ленинцев Каменева и Зиновьева» от обвинений в саботаже октябрьского переворота.

Иннокентий увлёкся, втянулся в эту охоту, и даже при слабой сороковаттной лампочке они бы долго ещё лазали и шелестели, разбирая выблеклые полустёртые строчки, но по укорному кашлю жены за стеной дядя смешался и сказал:

— Ещё завтра день будет, ты ж не уедешь? А сейчас тушить надо, нагорает много. И скажи, почему так дорого за электричество берут? Сколько ни строим электростанций — не дешевеет.

Погасили. Но спать не хотелось. И в третьей маленькой комнатке, где Иннокентию было постлано, а дядя сел к нему на постель, они шёпотом ещё часа два проговорили с захваченностью влюблённых, которым не нужно освещения для воркотни.

— Только обманом, только обманом! — настаивал дядя. В темноте его голос без дребезга ничем не выявлял старика. — Никакое правительство, ответственное за свои слова... «Мир народам, штык в землю!» — а через год уже «Губдезертир» ловил мужичков по лесам

да расстреливал напоказ! Царь так не делал... «Рабочий контроль над производством» — а где ты хоть месяц видел рабочий контроль? Сразу всё зажал государственный центр. Да если б в семнадцатом году сказали, что будут нормы выработки и каждый год увеличиваться — кто б тогда за ними пошёл? «Конец тайной дипломатии, тайных назначений» — и сразу гриф «секретно» и «совсекретно». Да в какой стране, когда знал народ о правительстве меньше, чем у нас?

В темноте особенно легко перепрыгивались десятилетия и предметы, и вот уже толковал дядя, что всю войну 41-го года во всех областных городах простояли крупные гарнизоны НКВД, не шевелимые на фронт. А царь всю гвардию перемолол, внутренних войск против революции не имел. А бестолковое Временное и вовсе никакими войсками не владело.

И — ещё об этой последней, советско-германской. Как ты её понимаешь?

Легко говорилось! Иннокентий как привычное свободно формулировал такое, до чего без диалога никогда не доходила надобность:

— Я так понимаю: трагическая война. Мы родину отстояли — и мы её потеряли. Она окончательно стала вотчиной Усача.

— Мы уложили, конечно, не семь миллионов! — торопился и дядя. — И для чего? Чтобы крепче затянуть на себе петлю. Самая несчастная война в русской истории...

И опять — о Втором съезде советов: он был от трёхсот совдепов из девятисот, он не был полномочен и никак не мог утверждать Совнарком.

— Да что ты говоришь?..

Уже по два раза «спокойной ночи» сказали, и дядя спрашивал, оставить ли дверь открытой, душновато, — но тут про атомную бомбу почему-то всплыло, и он вернулся, шептал яро:

— Ни за что сами не сделают!

— Могут и сделать, — чмокал Иннокентий. — Я даже слышал, что на днях будет испытание первой бомбы.

— Брехня! — уверенно говорил дядя. — Объявят, а — кто проверит?.. Такой промышленности у них нет, двадцать лет делать надо.

Уходил и ещё возвращался:

— Но если сделают — пропали мы, Инок. Никогда нам свободы не видать.

Иннокентий лежал навзничь, глотал глазами густую темноту.

— Да, это будет страшно... У них она не залежится... А без бомбы они на войну не смеют.

— Но и никакая война — не выход, — возвращался дядя. — Война — гибель. Война страшна не продвижением войск, не пожарами, не бомбёжками — война прежде всего страшна тем, что отдаёт всё мыслящее в законную власть тупоумия... Да впрочем, у нас и без войны так. Ну, спи.

Домашние дела не терпят небрежения: на завтра к своим очередным добавились обойденные сегодня. Утром, уходя на рынок, дядя снял две газетных пачки, и Иннокентий, уже зная, что вечером не почитаешь, спешил смотреть их при дневном свете. Высушенные пропыленные листы неприятно осязались, противный налёт оставался на подушечках пальцев. Сперва он их мыл, оттирал, потом перестал замечать налёт, как перестал замечать все недостатки дома, кривые полы, малый свет оконок и дядину обтрёпанность. Чем давнее год, тем дивнее было читать. Он уже знал, что и сегодня не уедет.

Поздно к вечеру опять пообедали втроём, дядя подбодрел, повеселел, вспоминал студенческие годы, философский факультет и весёлое шумное студенческое революционерство, когда не было места интереснее тюрьмы. А к партии он никогда не примкнул ни к какой, видя во всякой партийной программе насилие над волей человека и не признавая за партийными вождями пророческого превосходства над человечеством.

Вперебой его воспоминаниям Раиса Тимофеевна рассказывала про свою больницу, про всеобщую огрызливую ожесточённую жизнь.

Снова закрыли ставни и заложили болты. Теперь дядя открыл сундук в чулане и оттуда, при керосиновой лампе — сюда проводки не было, вынимал пронафталиненные тёплые вещи, и просто тряпьё. И, подняв лампу, показал племяннику своё сокровище на дне: крашеное гладкое дно устилала «Правда» второго дня октябрьского переворота. Шапка была: «Товарищи! Вы своею кровью обеспечили созыв в срок хозяина земли Русской — Учредительного Собрания!»

— Ведь голосования ещё не было тогда, понимаешь? Ещё не знали, как мало их выберут.

Снова долго, аккуратно укладывал сундук.

На Учредительном Собрании скрестились судьбы родственников Иннокентия: отец его Артём был средь главных сухопутных матросов, разогнавших поганую *учредилку*, а дядя Авенир — манифестант в поддержку заветного Учредительного.

Та манифестация, где шагал дядя, собиралась у Троицкого моста. Стоял мягкий пасмурный зимний день без ветра и снегопада, так что у многих раскрыты были груди из-под шуб. Очень много студентов, гимназистов, барышень. Почтовики, телеграфисты, чиновники. И просто отдельные разные люди, как дядя. Флаги — красные, флаги социалистов и революции, один-два кадетских бело-зелёных. А другая манифестация, от заводов Невской стороны — та вся социал-демократическая и тоже под красными флагами.

Этот рассказ опять пришёлся на позднее вечернее время, снова в темноте, чтобы не раздражать Раису Тимофеевну. Дом был закрыт и тревожно тёмен, как все дома России в глухое потерянное время раздоров и убийств, когда прислушивались к уличным грозным шагам и выглядывали в щёлки ставен, если была луна.

Но сейчас не было луны, и уличный фонарь неблизко, и ставенные доски сплочены — и такое месиво темноты внутри, что только через распахнутую дверь слабый боковой из коридора отсвет дворового незагороженного окна позволял отличить от ночи не контуры дядиной головы, а иногда лишь её движения. Не поддержанный блистаньем глаз, ни мукой лицевых складок, тем безвозрастней и убежденней внедрялся дядин голос:

— Мы шли невесело, молча, не пели песен. Мы понимали важность дня, но если хочешь даже и не понимали: что это будет единственный день единственного русского свободного парламента — на пятьсот лет назад, на сто лет вперёд. И кому ж этот парламент был нужен? — сколько нас изо всей России набралось? Тысяч пять... Стали по нас стрелять — из подворотен, с крыш, там уже и с тротуаров — и не в воздух стрелять, а прямо в открытые груди... С упавшим выходило двое-трое, остальные шли... От нас никто не отвечал, и револьвера ни у кого не было... До Таврического нас и не допустили, там густо было матросов и латышских стрелков. Латыши выправляли нашу судьбу, что́ с Латвией будет — они не догадывались... На Литейном красногвардейцы перегородили дорогу: «Расходитесь! На панель!» И стали пачками стрелять. Одно красное знамя красногвардейцы вырвали... ещё тебе о тех красногвардейцах бы рассказать... древко сломали, знамя топтали... Кто-то рассеялся, кто-то бежал назад. Так ещё в спину стреляли и убивали. Как легко этим красногвардейцам стрелялось — по мирным людям и в спину, ты подумай — ведь ещё никакой гражданской войны не было! А нравы — уж были готовы.

Дядя подышал громко.

— ...А теперь Девятое января — чёрно-красное в календаре. А о Пятом даже шептать нельзя.

Ещё подышал.

— И уже тогда этот подлый приём: демонстрацию нашу, мол, почему расстреливали? Потому что — калединская!.. Что в нас было калединского? Внутренний противник — это не всем понятно: ходит среди нас, говорит на нашем языке, требует какой-то свободы. Надо обязательно отделить его от нас, связать его с внешним врагом — и тогда легко, хорошо в него стрелять.

И молчание в темноте — особенно ясное, нерассеянное.

Скрипя старой сеткой, Иннокентий подтянулся выше, к спинке.

— А в самом Таврическом?

— Крещенская ночь? — Дядя дух перевёл. — Что́ в Таврическом? — *охлос*, толпа. Оглушу тебя трёхпалым свистом... Мат стоял громче и гуще ораторов. Прикладами грохали об пол, надо, не надо. Ведь — охрана! Кого — от чего?.. Матросики и солдатики, половина пьяных — в буфете блевали, на диванах спали, по фойе лузгали семячки... Нет, ты стань на место какого-нибудь депутата, интелли-

гента, и скажи — как с этими стервами быть? Ведь даже за плечо его потрогать нельзя, ведь даже мягко нельзя ему выговорить — это будет наглая контрреволюция! оскорбление святой охлократии! Да у них пулемётные ленты крест-накрест. Да у них на поясах гранаты и маузеры. В зале заседаний Учредительного они и среди публики сидят с винтовками и в проходах стоят с винтовками — и на ораторов наводят, целятся в виде упражнения. Там про какой-то демократический мир, про национализацию земли — а на него двадцать дул наведено, мушка совмещена с прорезью прицела, убьют — дорого не возьмут и извиняться не будут, выходи следующий!.. Вот это надо понять: оратору винтовкой в рот! — в этом их суть! Такими они Россию взяли, такими всегда были, такими и помрут! В чём другом, в этом — никогда не переменятся... А Свердлов рвёт звонок у старейшего депутата, отталкивает его, не даёт открыть. Из ложи правительства Ленин посмеивается, наслаждается, а нарком Карелин, левый эсер — так хохочет!! Ума ж не хватает, что дорого — начать, через полгода и ваших передушат... Ну, а дальше сам знаешь, в кино видел... Комиссар тупенко-дубенко-Дыбенко послал закрыть ненужное заседание. С пистолетами и в лентах поднимаются матросики к председателю...

— И мой отец?!

— И твой отец. Великий герой гражданской войны. И почти в те самые дни, когда мама... уступила ему... Они очень любили лакомиться нежными барышнями из хороших домов. В этом и видели они сласть революции.

Иннокентий весь горел — лбом, ушами, щеками, шеей. Его обливал огонь как будто собственного участия в подлости.

Дядя упёрся об его колено и — ближе, ближе — спросил:

— А ты никогда не ощущал правоту этой истины: грехи родителей падают на детей?.. И от них надо отмываться?

62

Первая жена прокурора, покойница, прошедшая с мужем гражданскую войну, хорошо стрелявшая из пулемёта и жившая последними постановлениями партячейки, не только не была способна довести дом Макарыгина до его сегодняшнего изобилия, но не умри она при рождении Клары — трудно даже себе представить, как она бы приладилась к сложным изгибам времени.

Напротив, Алевтина Никаноровна, нынешняя жена Макарыгина, восполнила прежнюю узость семьи, напоила соками прежнюю сухость. Алевтина Никаноровна не очень ясно представляла себе классовые схемы и мало в жизни просидела на кружках политучёб. Но зато она нерушимо знала, что не может процветать хорошая семья

без хорошей кухни, без добротного обильного столового и постельного белья. А с укреплением жизни как важный внешний знак благосостояния должны войти в дом серебро, хрусталь и ковры. Большим талантом Алевтины Никаноровны было умение приобретать это всё недорого, никогда не упустить выгодных продаж — на закрытых торгах, в закрытых распределителях судебно-следственных работников, в комиссионных магазинах и на толкучках свеже-присоединённых областей. Она специально ездила во Львов и в Ригу, когда ещё нужны были для того пропуска, и после войны, когда там старухи-латышки охотно и почти за бесценок продавали тяжёлые скатерти и сервизы. Она очень успела в хрустале, научилась разбираться в нём — в глушёном, иоризованном, в золотом, медном и селеновом рубине, в кадмиевой зелени, в кобальтовой сини. Не теперешний хрусталь Главпосуды собирала она — перекособоченный, прошедший конвейер равнодушных рук, но хрусталь старинный, с искорками своего мастера, с особенностью своего создателя, — в двадцатые — тридцатые годы его много конфисковали по судебным приговорам и продавали среди своих.

Так и сегодня отлично обставлен и обилен был стол, и с переменой блюд едва справлялись две прислуги-башкирки: одна своя, другая взятая на вечер от соседей. Обе башкирки были почти девочки, из одной и той же деревни и прошлым летом кончившие одну и ту же десятилетку в Чекмагуше. Напряжённые, разрумяненные от кухни лица девушек выражали серьёзность и старание. Они были довольны своею службой здесь и надеялись не к этой, но к следующей весне подзаработать и одеться так, чтобы выйти замуж в городе и не возвращаться в колхоз. Алевтина Никаноровна, статная, ещё не старая, следила за прислугой с одобрением.

Особой заботой хозяйки было ещё то, что в последний час изменился план вечера: он затевался для молодёжи, а среди старших — просто семейный, потому что для сослуживцев Макарыгин уже дал банкет два дня назад. Поэтому был приглашён старый друг прокурора ещё по гражданской войне серб Душан Радович, бывший профессор давно упразднённого Института Красной Профессуры, и ещё допущена была приехавшая в Москву за покупками простоватая подруга юности хозяйки, жена инструктора райкома в Зареченском районе. Но внезапно вернулся с Дальнего Востока (с громкого процесса японских военных, готовивших бактериологическую войну) генерал-майор Словута, тоже прокурор, и очень важный человек по службе — и обязательно надо было его пригласить. Однако перед Словутой стыдно было теперь за этих полулегальных гостей — за этого почти уже и не приятеля, за эту почти уже и не подругу, Словута мог подумать, что у Макарыгиных принимают рвань. Это отравляло и осложняло вечер Алевтине Никаноровне. Свою несчастную из-за придурковатого мужа подругу она посадила от Словуты подальше и за-

ставляла её тише говорить и не с такой видимой жадностью кушать; с другой стороны, хозяйке приятно было, как та пробовала каждое блюдо, спрашивала рецепты, всем кряду восхищалась, и сервировкой, и гостями.

Ради Словуты и стали так настойчиво звать Иннокентия и непременно в дипломатическом мундире, в золотом шитье, чтобы вместе с другим зятем, знаменитым писателем Николаем Галаховым, они составили бы выдающуюся компанию. Но к досаде тестя дипломат приехал с опозданием, когда уже и ужин кончился, когда молодёжь рассеялась танцевать.

А всё же Иннокентий уступил, надел этот проклятый мундир. Он ехал потерянный, ему равно невозможно было и дома оставаться, ему невыносимо было везде. Но когда он вошёл с кислой физиономией в эту квартиру, полную людей, оживлённого гула, смеха, красок — он ощутил, что именно здесь его арест никак не возможен! — и к нему быстро вернулось не только нормальное, но ощущение особенной лёгкости. Он охотно выпил налитое ему, и охотно принимал в тарелку с одного блюда и с другого — сутки он почти не мог глотать, зато сейчас радостно восстал в нём голод.

Его искреннее оживление освободило и тестя от досады и облегчило разговор на их почётном конце стола, где Макарыгин напряжённо маневрировал, чтобы Радович не выпалил какой-нибудь резкости, чтобы Словуте было всё время приятно и Галахову не скучно. Теперь, придерживая свой густой голос, он стал шутливо пенять Иннокентию, что тот не потешил его старости внучатами.

— Ведь они что с женой? — жаловался он. — Подобралась парочка, баран да ярочка, — живут для себя, жируют и никаких забот. Устроились! Прожигатели жизни! Вы его спросите, ведь он, сукин сын, эпикуреец. А? Иннокентий, признайся — Эпикура исповедуешь?

Невозможно было даже в шутку назвать члена всесоюзной коммунистической партии — младо-гегельянцем, нео-кантианцем, субъективистом, агностиком или, упаси боже, ревизионистом. Напротив, «эпикуреец» звучало так безобидно, что вовсе не мешало человеку быть правоверным марксистом.

Тут и Радович, любовно знавший всякую подробность из жизни основоположников, не приминул вставить:

— Что ж, Эпикур — хороший человек, материалист. Сам Карл Маркс писал об Эпикуре диссертацию.

На Радовиче был вытертый полувоенный френч, кожа лица — тёмный пергамент на колодке черепа. (Выходя же на улицу, он до последней поры надевал будённовский шлем, пока не стала задерживать милиция.)

Иннокентий горячел и задорно оглядывал этих ничего не ведающих людей. Какой был смелый шаг — вмешаться в борьбу титанов!

Любимцем богов он казался себе сейчас. И Макарыгин, и даже Словута, которые в другой момент могли вызвать у него презрение, сейчас были ему по-человечески милы, были участниками его безопасности.

— Эпикура? — с посверкивающими глазами принял он вызов. — Исповедаю, не отрекаюсь. Но я, вероятно, вас удивлю, если скажу, что «эпикуреец» принадлежит к числу слов, не понятых во всеобщем употреблении. Когда хотят сказать, что человек непомерно жаден к жизни, сластолюбив, похотлив и даже попросту свинья, говорят: «он — эпикуреец». Нет, подождите, я серьёзно! — не дал он возразить и возбуждённо покачивал пустой золотой фужер в тонких чутких пальцах. — А Эпикур как раз обратен нашему дружному представлению о нём. Он совсем не зовёт нас к оргиям. В числе трёх основных зол, мешающих человеческому счастью, Эпикур называет *ненасытные желания*! А? Он говорит: на самом деле человеку надо м а л о, и именно поэтому счастье его не зависит от судьбы! Он освобождает человека от страха перед ударами судьбы — и поэтому он великий оптимист, Эпикур!

— Да что ты! — удивился Галахов и вынул кожаную записную книжечку с белым костяным карандашиком. Несмотря на свою шумную славу, Галахов держался простецки, мог подмигнуть, хлопнуть по плечу. Белые сединки уже живописно светились над его чуть смугловатым, несколько располневшим лицом.

— Налей, налей ему! — сказал Словута Макарыгину, тыча в пустой фужер Иннокентия, — а то он нас заговорит.

Тесть налил, и Иннокентий снова выпил с наслаждением. Ему и самому в этот момент философия Эпикура показалась достойной исповедания.

Словута с нестарым отекшим лицом держался чуть свысока по отношению к Макарыгину (Словуте уже была подписана вторая генеральская звезда), но знакомством с Галаховым был крайне доволен и представлял, как сегодня же вечером, в том доме, куда ещё намеревался попасть, он запросто передаст, что час назад выпивал с *Колькой* Галаховым, и тот ему рассказывал... Но и Галахов тоже приехал недавно, тоже опоздал и как раз ничего не рассказывал, наверно придумывал новый роман? И Словута, убедясь, что ничего от знаменитости не почерпнёт, собрался уходить.

Макарыгин уговаривал Словуту побыть ещё и обломал на том, что надо поклониться «табачному алтарю» — коллекции, содержимой в кабинете. Сам Макарыгин курил болгарский трубочный, доставаемый по знакомству, да вечерами пробивал себя сигарами. Но гостей любил поражать, поочерёдно угащивая каждым сортом.

Дверь в кабинет была тут же, хозяин открыл её и приглашал Словуту и зятей. Однако зятья отговорились от стариковской компании. Теперь особенно опасаясь, что Душан там ляпнет лишнее, Макарыгин

в дверях кабинета, пропустив Словуту вперёд, погрозил Радовичу пальцем.

Свояки остались на пустом конце стола вдвоём. Они были в том счастливом возрасте (Галахов на несколько лет постарше), когда их ещё принято было считать молодыми, но никто уже не тянул танцевать — и они могли отдаться наслаждению мужского разговора меж недопитых бутылок под отдалённую музыку.

Галахов действительно на прошлой неделе задумал писать о заговоре империалистов и борьбе наших дипломатов за мир, причём писать в этот раз не роман, а пьесу — потому что так легче было обойти многие неизвестные ему детали обстановки и одежды. Сейчас ему было как нельзя кстати проинтервьюировать свояка, заодно ища в нём типические черты советского дипломата и вылавливая характерные подробности западной жизни, где должно было происходить всё действие пьесы, но где сам Галахов был лишь мельком, на одном из прогрессивных конгрессов. Галахов сознавал, что это не вполне хорошо — писать о жизни, которой не знаешь, но последние годы ему казалось, что заграничная жизнь, или седая история, или даже фантазия о лунных жителях легче поддадутся его перу, чем окружающая истинная жизнь, заминированная запретами на каждой тропинке.

Прислуга шумела сменяемой к чаю посудой. Хозяйка поглядывала и, с уходом Словуты, уже не сдерживала голос подруги, доказывавшей ей, что и в Зареченском районе лечиться вполне можно, доктора хорошие, а партактивские дети с грудного возраста отделяются от обыкновенных, для них бесперебойно молоко и без отказу пенициллиновые уколы.

Из соседней комнаты пела радиола, а из следующей — металлически бубнил телевизор.

— Привилегия писателей — допрашивать, — кивал Иннокентий, сохраняя все тот же удачливый блеск в глазах, с каким он защищал Эпикура. — Вроде следователей. Всё вопросы, вопросы о преступлениях.

— Мы ищем в человеке не преступления, а его достоинства, его светлые черты.

— Тогда ваша работа противоположна работе совести. Так ты, значит, хочешь писать книгу о дипломатах? Галахов улыбнулся.

— Хочешь — не хочешь — не решается, Инк, так просто, как в новогодних интервью. Но запастись заранее материалами... Не всякого дипломата расспросишь. Спасибо, что ты — родственник.

— И твой выбор доказывает твою проницательность. Посторонний дипломат, во-первых, наврёт тебе с три короба. Ведь у нас есть, что скрывать.

Они смотрели глаза в глаза.

— Я понимаю. Но... *этой* стороны вашей деятельности... отражать не придётся, так что она меня...

— Ага. Значит, тебя интересует главным образом — быт посольств, наш рабочий день, ну там, как проходят приёмы, вручение грамот...

— Нет, глубже! И — как преломляются в душе советского дипломата...

— А-а, как преломляются... Ну, уже всё! Я понял. И до конца вечера я тебе буду рассказывать. Только... объясни и ты мне сперва... Военную тему ты что же — бросил? исчерпал?

— Исчерпать её — невозможно,— покачал головой Галахов.

— Да, вообще с этой войной вам подвезло. Коллизии, трагедии — иначе откуда б вы их брали?

Иннокентий смотрел весело.

По лбу писателя прошла забота. Он вздохнул:

— Военная тема — врезана в сердце моё.

— Ну, ты же и создал в ней шедевры!

— И, пожалуй, она для меня — вечная. Я и до смерти буду к ней возвращаться.

— А может — не надо?

— Надо! Потому что война поднимает в душе человека...

— В душе? — я согласен! Но посмотри, во что вылилась ваша фронтовая и военная литература. Высшие идеи: как занимать боевые позиции, как вести огонь на уничтожение, «не забудем, не простим», приказ командира есть закон для подчинённых. Но это гораздо лучше изложено в военных уставах. Да, ещё вы показываете, как трудно беднягам полководцам водить рукой по карте.

Галахов омрачился. Полководцы были его излюбленные военные образы.

— Ты говоришь о моём последнем романе?

— Да нет, Николай! Но неужели художественная литература должна повторять боевые уставы? или газеты? или лозунги? Например, Маяковский считал за честь взять газетную выдержку эпиграфом к стиху. То есть, он считал за честь не подняться выше газеты! Но зачем тогда и литература? Ведь писатель — это наставник других людей, ведь так понималось всегда? Свояки нечасто встречались, знали друг друга мало. Галахов осторожно ответил:

— То, что ты говоришь, справедливо для буржуазного режима.

— Ну, конечно, конечно, — легко согласился Иннокентий. — У нас совсем другие законы... Но я не то хотел... — Он вертнул кистью руки. — Коля, ты поверь, — мне что-то симпатично в тебе... И поэтому я сейчас в особом настроении спросить тебя... по-свойски... Ты — задумывался?.. как ты сам понимаешь своё место в русской литературе? Вот тебя можно уже издать в шести томиках. Вот тебе тридцать семь лет, Пушкина в это время уже ухлопали. Тебе не грозит

такая опасность. Но всё равно, от этого вопроса ты не уйдёшь — кто ты? Какими идеями ты обогатил наш измученный век?.. Сверх, конечно, тех неоспоримых, которые тебе даёт социалистический реализм. Вообще, скажи мне, Коля, — уже не зубоскально, уже со страданием спрашивал Иннокентий, — тебе не бывает стыдно за наше поколение?

Переходящие складочки, как желвачки, прошли по лбу Галахова, по щеке.

— Ты... касаешься трудного места... — ответил он, глядя в скатерть. — Какой же из русских писателей не примерял к себе втайне пушкинского фрака?.. толстовской рубахи?.. — Два раза он повернул свой карандашик плашмя по скатерти и посмотрел на Иннокентия нескрывчивыми глазами. Ему тоже захотелось сейчас высказать, чего в литераторских компаниях невозможно было. — Когда я был пацаном, в начале пятилеток, мне казалось — я умру от счастья, если увижу свою фамилию, напечатанную над стихотворением. И, казалось, это уже и будет начало бессмертия... Но вот...

Огибая и отодвигая пустые стулья, к ним шла Дотнара.

— Ини! Коля! Вы меня не прогоните? У вас не очень умный разговор?

Она совсем была здесь некстати.

Она подходила — и вид её, самая неизбежность её в жизни Иннокентия — вдруг напомнили ему всю ужасную истину, что́ его ждёт, а этот званый вечер, и эти застольные перебросные шуточки — всё пустота. Сердце его сжалось. Горячей сухостью охватило горло.

А Дотти стояла и ждала ответа, поигрывая свободными концами блузы-реглан. Через узкий меховой воротничок перепадали всё те же её свободные светлые локоны, за девять лет не переиначенные модными подражаниями — своё хорошее она умела сохранять. Она рдела вся, но, может быть, от вишнёвой блузы? И ещё чуть подёргивалась её верхняя губа — это оленье подёргивание, так знакомое и так любимое им, — когда слушала похвалу или когда знала, что нравится. Но почему сейчас?..

Так долго она старалась подчёркивать свою независимость от него, особенность своих взглядов на жизнь. Что же переломилось в ней? — или предчувствие разлуки вошло в её сердце? — отчего такой покорной и ласковой она стала? И это оленье подёргивание губы...

Иннокентий не мог бы ей простить, да не задумывался прощать долгой полосы непонимания, отчуждённости, измены. Он сознавал, что и не могла она перемениться враз. Но эта её покорность прошлась теплом по его сжатой душе, и он за руку притянул жену сесть рядом — движение, которого всю осень между ними не было, невозможно было совсем.

И Дотти с чуткостью, гибкостью, послушностью сразу села рядом с мужем, прильнула к нему ровно настолько, чтоб это оставалось

приличным, но всем бы было видно, как она любит мужа и как ей с ним хорошо. У Иннокентия мелькнуло, правда, что для будущего Дотти было бы лучше не показывать этой несуществующей близости. Однако, он мягко поглаживал её руку в вишнёвом рукаве.

Белый костяной карандашик писателя лежал без дела.

Облокотясь о стол, Галахов смотрел мимо супругов в большое окно, освещённое огнями Калужской заставы. Говорить откровенно о себе при бабах было невозможно. Да и без баб вряд ли.

...Но вот... его стали печатать целыми поэмами; сотни театров страны, перенимая у столичных, ставили его пьесы; девушки списывали и учили его стихи; во время войны центральные газеты охотно предоставляли ему страницы, он испробовал силы и в очерке, и в новелле, и в критической статье; наконец, вышел его роман. Он стал лауреат сталинской премии, и ещё раз лауреат, и ещё раз лауреат. И что же? Странно: слава была, а бессмертия не было.

Он сам не заметил, когда, чем обременил и приземлил птицу своего бессмертия. Может быть, взмахи её только и были в тех немногих стихах, заучиваемых девушками. А его пьесы, его рассказы и его роман умерли у него на глазах ещё прежде, чем автор дожил до тридцати семи лет.

Но почему обязательно гнаться за бессмертием? Большинство товарищей Галахова ни за каким бессмертием не гналось, считая важней своё сегодняшнее положение, при жизни. Шут с ним, с бессмертием, говорили они, не важней ли влиять на течение жизни сейчас? И они влияли. Их книги служили народу, издавались многоо́льными тиражами, фондами комплектования рассылались по всем библиотекам, ещё проводились специальные месячники проталкивания. Конечно, очень многой правды нельзя было написать. Но они утешали себя, что когда-нибудь обстоятельства изменятся, они непременно вернутся ещё раз к этим событиям, переосветят их истинно, переиздадут, исправят старые книги. А сейчас следовало писать хоть ту четвёртую, восьмую, шестнадцатую, ту, чёрт её подери, тридцать вторую часть правды, которую разрешалось, хоть о поцелуях и о природе — хоть что-нибудь лучше, чем ничего.

Но угнетало Галахова, что всё трудней становилось писать каждую новую хорошую страницу. Он заставлял себя работать по расписанию, он боролся с зевотой, с ленивым мозгом, с отвлекающими мыслями, с прислушиванием, что пришёл, кажется, почтальон, пойти бы посмотреть газетки. Он следил, чтобы в кабинете было проветрено и восемнадцать градусов Цельсия, чтобы стол был чисто протёрт — иначе он никак не мог писать.

Начиная новую большую вещь, он вспыхивал, клялся себе и друзьям, что теперь никому не уступит, что теперь-то напишет настоящую книгу. С увлечением садился он за первые страницы. Но очень скоро замечал, что пишет не один — что перед ним всплыл

и всё ясней маячит в воздухе образ того, для кого он пишет, чьими глазами он невольно перечитывает каждый только что написанный абзац. И этот Тот был не Читатель, брат, друг и сверстник читатель, не критик вообще — а почему-то прославленный, главный критик Ермилов.

Так и воображал себе Галахов Ермилова с расширенным подбородком, лежащим на груди, как он прочтёт эту новую вещь и разразится против него огромной (уже бывало) статьёй на целую полосу «Литературки». Назовёт он статью: «Из какой подворотни веяния?» или «Ещё раз о некоторых модных тенденциях на нашем испытанном пути». Начнёт он её не прямо, начнёт с каких-нибудь самых святых слов Белинского или Некрасова, с которыми только злодей может не согласиться. И тут же осторожненько вывернет эти слова, перенесёт их совсем в другом смысле — и выяснится, что Белинский или Герцен горячо засвидетельствуют, что новая книга Галахова выявляет нам его как фигуру антиобщественную, антигуманную, с шаткой философской основой.

И так абзац за абзацем, стараясь угадать контраргументы Ермилова и приноровиться к ним, Галахов быстро ослабевал выписывать углы, и книга сама малодушно обкатывалась, ложилась податливыми кольцами. И, уже зайдя за половину, видел Галахов, что книгу ему подменили, опять она не получилась...

— А черты нашего дипломата? — всё же досказал Иннокентий, но голосом потерянным и с кислой кривой улыбкой, когда вот-вот растечётся лицо. — Ты и сам можешь их себе хорошо представить. Высокая идейность. Высокая принципиальность. Беззаветная преданность нашему делу. Личная глубокая привязанность к товарищу Сталину. Неукоснительное следование инструкциям из Москвы. У некоторых сильное, у других — слабоватое знание иностранных языков. Ну, и еще — большая привязанность к телесным удовольствиям. Потому что, как говорят, жизнь даётся нам — один только раз...

63

Радович был давнишний и коренной неудачник: уже в тридцатые годы лекции его отменялись, книги не печатались, и сверх всего ещё терзали его болезни: в грудной клетке он носил осколок колчаковского снаряда, пятнадцать лет у него тянулась язва двенадцатиперстной, да много лет он каждое утро делал себе мучительную процедуру промывания желудка через пищевод, без чего не мог есть и жить.

Но знающая меру в своих щедротах и в своих преследованиях, судьба этими самыми неудачами и спасла Радовича: заметное лицо

в коминтерновских кругах, он в самые критические годы уцелел из-за того, что не выползал из больниц. За болезнями же перехоронился он и в прошлом году, когда всех сербов, оставшихся в Союзе, или загоняли в антититовское движение или сажали в тюрьму.

Понимая подозрительность своего положения, Радович сдерживался чрезвычайным усилием, не давал себе говорить, не давал вводить себя в фанатическое состояние спора, а пытался жить бледной жизнью инвалида.

И сейчас он сдержался с помощью табачного столика. Такой столик — овальный, из чёрного дерева, стоял в кабинете особо с гильзами, машинкой для набивки гильз, набором трубок в штативе и перламутровой пепельницей. А около столика стоял табачный же шкафик из карельской берёзы с многочисленными выдвижными ящичками, в каждом из которых жил особый сорт папирос, сигарет, сигар, табаков трубочных и даже нюхательных.

Молча слушая теперь рассказ Словуты о подробностях подготовки бактериологической войны, об ужаснейших преступлениях японских офицеров против человечности, — Радович сладострастно разбирался и принюхивался к содержимому табачных ящиков, не решаясь, на чём остановиться. Курить ему было самоубийственно, курить ему категорически запрещалось всеми врачами, — но так как ему запрещалось ещё и пить, и есть (сегодня за ужином он тоже почти не ел) — то обоняние и вкус его были особенно изощрены к оттенкам табака. Жизнь без курения казалась ему бескрылой, он частенько крутивал газетные цыгарки из базарной махорки, которую предпочитал в своих стеснённых денежных обстоятельствах. В Стерлитамаке во время эвакуации он ходил к дедам на огороды, покупал лист, сам сушил и резал. В его холостом досуге работа над табаком способствовала размышлениям.

Собственно, если бы Радович и встрял в разговор — он не сказал бы ничего ужасного, ибо и сам он думал недалеко от того, что государственно необходимо было думать. Однако, непримиримая к малейшим отливам больше, чем к противоположным цветам, сталинская партия тотчас бы срубила ему голову именно за то малое, в чём он отличался.

Но благополучным образом он смолчал, и разговор перешёл от японцев к сравнительным качествам сигар, в которых Словута ничего не понимал и чуть не лишился дыхания от неосторожной затяжки. Затем к тому, что нагрузка у прокуроров с годами не только не уменьшается, но даже, при росте числа прокуроров, увеличивается.

— А что говорит статистика преступлений? — спросил бесстрасно по виду Радович, закованный в броню своей пергаментной кожи.

Статистика ничего не говорила: она была и нема, и невидима, и никто не знал, жива ли она ещё.

Но Словута сказал:

— Статистика говорит, что число преступлений у нас уменьшается.

Он не читал самой статистики, но читал, как в журнале выражались о ней.

И так же искренне добавил:

— А всё-таки ещё порядочно. Наследие старого режима. Испорчен народ очень. Испорчен буржуазной идеологией.

Три четверти шедших через суды выросли уже после семнадцатого года, но Словуте это не приходило в голову: он нигде этого не читал.

Макарыгин тряхнул головой — его ли в этом убеждают!

— Когда Владимир Ильич говорил нам, что *культурная* революция будет гораздо трудней Октябрьской — мы не могли себе представить! И вот теперь мы понимаем, как далеко он предвидел.

У Макарыгина был тупой окат головы и оттопыренные уши.

Курили, дружно наполняя кабинет дымом.

Половину небольшого полированного письменного столика Макарыгина занимал крупный чернильный прибор с изображением, чуть не в полметра высотой, Спасской башни с часами и звездой. В двух массивных чернильницах (как бы вышках кремлёвской стены) было сухо: Макарыгину давно уже не приходилось что-нибудь дома писать, ибо на всё хватало служебного времени, а письма он писал авторучкой. В книжных рижских шкафах за стёклами стояли кодексы, своды законов, комплекты журнала «Советское государство и право» за много лет, Большая советская энциклопедия старая (ошибочная, с врагами народа), Большая советская энциклопедия новая (всё равно с врагами народа) и Малая энциклопедия (тоже ошибочная и тоже с врагами народа).

Всего этого Макарыгин давно уже не открывал, так как, включая и ныне действующий, но уже безнадёжно отставший от жизни уголовный кодекс 1926 года, все это было успешно заменено пачкою самых главных, в большинстве своём секретных инструкций, известных каждая по своему номеру — 083 или 005 дробь 2742. Инструкции эти, сосредоточившие в себе всю мудрость судопроизводства, подшиты были в одной небольшой папке, хранимой у него на работе. А здесь, в кабинете, книги держались не для чтения, а для почтения. Литература же, которую Макарыгин единственно читал — на ночь, а также в поездах и санаториях, укрывалась в непрозрачном шкафу и была детективная.

Над столом прокурора висел большой портрет Сталина в форме генералиссимуса, а на этажерке стоял маленький бюст Ленина.

Утробистый, выпирающий из своего мундира и переливающийся шеей через стоячий воротник, Словута осмотрел кабинет и одобрил:

— Хорошо живёшь, Макарыгин!

— Да где хорошо... Думаю в *областные* переводиться.

— В областные? — прикинул Словута. Не мыслителя было у него лицо, сильное челюстью и жиром, но главное ухватывал он легко. — Да может и есть смысл.

Смысл они понимали оба, а Радовичу знать не надо: областному прокурору кроме зарплаты дают *пакеты*, а в Главной Военной до этого надо высоко дослужиться.

— А зять старший — лауреат трижды?

— Трижды, — с гордостью отозвался прокурор.

— А младший — советник не первого ранга?

— Ещё пока второго.

— Но боек, чёрт, до посла дослужит! А самую младшую за кого выдавать думаешь?

— Да упрямая девка, Словута, уж выдавал её — не выдаётся.

— Образованная? Инженера ищет? — Словута, когда смеялся, отпыхивался животом и всем корпусом. — На восемьсот рубликов? Уж ты её за чекиста, за чекиста выдавай, надёжное дело.

Ещё б Макарыгин этого не знал! Он и свою-то жизнь считал неудачливой из-за того, что не пробился в чекисты. Последний замызганный оперуполномоченный в тёмной дыре имеет больше силы и получает зарплату побольше столичных видных прокуроров. Всю прокуратуру считают балаболкой, кормить её не за что. Это рана была, тайная рана Макарыгина, что ему не удалось в чекисты...

— Ну, спасибо, Макарыгин, что не забыл, не держи меня больше, ждут. А ты, профессор, тоже бывай здоров, не болей.

— Всего хорошего, товарищ генерал.

Радович встал попрощаться, но Словута не протянул ему руки. Радович оскорблённым взглядом проводил круглую объёмную спину гостя, которого Макарыгин пошёл довести до машины. И, оставшись один с книгами, тотчас потянулся к ним. Проведя рукой вдоль полки, он после колебания вытянул один из томиков и уже нёс в кресло, да заметил на столе ещё книжечку в пестроватом чёрно-красном переплёте, прихватил и её.

Но книга эта обожгла его неживые пергаментные руки. Это была только что изданная (и сразу в миллионе экземпляров) новинка: «Тито — главарь предателей» какого-то Рено де-Жувенеля.

За последнюю дюжину лет попадали в руки Радовича тьмы и тьмы книг хамских, холопских, насквозь лживых, но, кажется, такой мерзотины он давно в руках не держал. Опытным взглядом старого книжника пробегая страницы новинки, он в две минуты выхватил себе — кому и зачем такая книга понадобилась, и что за гадина её автор, и сколько новой жёлчи поднимет она в душах людей против безвинной Югославии. И после фразы, оставшейся у него в глазах: «Нет нужды подробно останавливаться на мотивах, побудивших Ласло Райка сознаться: *раз он признался — значит,*

был виноват», — Радович с гадливостью положил книгу на прежнее место.

Конечно! Нет нужды подробно останавливаться на мотивах! Нет нужды подробно останавливаться, как следователи и палачи били Райка, морили голодом, бессонницей, а может быть, распростерши на полу, носком сапога отщемляли ему половые органы (в Стерлитамаке старый арестант Абрамсон, оказавшийся Радовичу с первых же слов тесно-близким, рассказывал ему о приёмчиках НКВД). Раз он признался — значит, был виноват!.. — summa summarum сталинского правосудия!

Но слишком больным местом была Югославия, чтобы сейчас задевать её в разговоре с Петром. И когда тот вернулся, невольным любовным взглядом косясь на новый орденок рядом с потускневшими прежними, Душан затаённо сидел в кресле и читал том энциклопедии.

— Не балуют прокуратуру орденами, — вздохнул Макарыгин, — к тридцатилетию выдавали, а так редко кому.

Ему очень хотелось поговорить об орденах и почему сейчас получил именно он, но Радович согнулся вдвое и читал.

Макарыгин вынул новую сигару и с размаху опустился на диван.

— Ну, спасибо, Душан, ничего не ляпнул. Я боялся.

— А что я мог ляпнуть? — удивился Радович.

— Что ляпнуть! — обрезал сигару прокурор. — Мало ли что! У тебя всё куда-то выпирает. — Закурил. — Вон он про японцев рассказывал — у тебя губы дрожали.

Радович распрямился:

— Потому что гнусная полицейская провокация, за десять тысяч километров пованивает!

— Да ты с ума сошёл, Душан! Ты — при мне не смей так! Как ты можешь о *нашей* партии...

— Я не о партии! — отгородился Радович. — Я — о Словутах. А почему именно сейчас, в сорок девятом году, мы обнаружили японскую подготовку сорок третьего года? Ведь они у нас четыре года уже в плену. А колорадского жука нам сбрасывают американцы с самолётов? Всё так и есть?

Оттопыренные уши Макарыгина покраснели:

— А почему нет? А если что немного не так — значит, государственная политика требует.

Пергаментный Радович нервно залистал свой том.

Макарыгин молча курил. Зря он его приглашал, только позорился перед Словутой. Все эти старые дружбы — чепуха, лишь в воспоминаниях хороши. Человек не может проявить даже простой гостевой вежливости, вникнуть, чему хозяин рад, чем озабочен.

Макарыгин курил. Пришли на ум неприятные ссоры с младшей дочерью. За последние месяцы если обедали втроём без гостей, то

не отдых, не семейный уют получался за столом, а собачья свалка. А на днях забивала гвоздь в туфле и при этом пела какие-то бессмысленные слова, но мотив показался отцу слишком знакомым. Он заметил, стараясь спокойнее:

— Для такой работы, Клара, можно другую песню выбрать. А «Слезами залит мир безбрежный» — с этой песней люди умирали, шли на каторгу.

Она же из упрямства, или чёрт знает из чего, ощетинилась:

— Подумаешь, благодетели! На каторгу шли! И теперь идут!

Прокурор даже осел от наглости и неоправданности сравнения. То есть до такой степени потерять всякое понимание исторической перспективы. Едва сдерживаясь, чтобы только не ударить дочь, он вырвал у неё туфлю из рук и хлопнул об пол:

— Да к а к ты можешь сравнивать! Партию рабочего класса и фашистское отребье?!..

Твердолобая, хоть кулаком её в лоб, не заплачет! Так и стояла, одной ногой в туфле, а другой в чулке на паркете:

— Брось ты, папа, декламировать! Какой ты рабочий класс? Ты два года когда-то был рабочим, а тридцать лет уже прокурором! Ты — рабочий, а в доме молотка нет! Бытие определяет сознание, сами нас научили.

— Да *общественное* бытие, дура! И сознание — *общественное*!

— Какое это — общественное? У одних хоромы, у других — сараи, у одних автомобили, у других — ботинки дырявые, так какое из них общественное?

Отцу не хватало воздуха от извечной невозможности доступно и кратко выразить глупым юным созданиям мудрость старшего поколения:

— Ты вот глупа!.. Ты... ничего не понимаешь и не учишься!..

— Ну, научи! Научи! На какие деньги ты живёшь? За что тебе тысячи платят, если ты ничего не создаёшь?

И вот тут не нашёлся прокурор; очень ясно — а сразу не скажешь. Только крикнул:

— А тебе в твоём институте тысячу восемьсот — за что?..

— Душан, Душан, — размягчённо вздохнул Макарыгин. — Что мне с дочерью делать?

Лицу Макарыгина большие отставленные уши были как крылья сфинксу. Странно выглядело на этом лице растерянное выражение.

— Как это могло случиться, Душан? Когда мы гнали Колчака — могли ли думать, что такая будет нам благодарность от детей?.. Ведь если приходится им с трибуны в чём-нибудь поклясться перед партией, они, сукины дети, эту клятву такой скороговоркой бормочут, будто им стыдно.

Он рассказал сцену с туфлей.

— Как я правильно должен был ей ответить, а?

Радович достал из кармана грязноватый кусок замши и протирал им стёкла очков. Когда-то всё это Макарыгин знал, но до чего же стал дремуч.

— Надо было ответить?.. Накопленный труд. Образование, специальность — накопленный труд, за них платят больше. — Надел очки. И посмотрел на прокурора решительно: — Но вообще, девчёнка права! Нас об этом предупреждали.

— Кто-о? — изумился прокурор.

— Надо уметь учиться и у врагов! — Душан поднял руку с сухим перстом. — «Слезами залит мир безбрежный»? А ты получаешь многие тысячи? А уборщица двести пятьдесят рублей?

Одна щека Макарыгина задёргалась отдельно. Зол стал Душан, из зависти, что у самого ничего нет.

— Ты — обезумел в своей пещере! Ты утратил связь с реальной жизнью! Ты так и пропадёшь! Что же мне — идти завтра просить, чтобы мне платили двести пятьдесят? А как я буду жить? Да меня выгонят как сумасшедшего! Ведь другие-то не откажутся!

Душан показал рукой на бюст Ленина:

— А как Ильич в гражданскую войну отказывался от сливочного масла? От белого хлеба? *Его* не считали сумасшедшим?

Слеза послышалась в голосе Душана.

Макарыгин защитился распяленной ладонью:

— Тш-ш-ш! И ты поверил? Ленин без сливочного масла не сидел, не беспокойся. Вообще в Кремле уже тогда была неплохая столовая.

Радович поднялся и отсиженною ногой хромнул к полочке, схватил рамку с фотографией молодой женщины в кожанке с маузером:

— А Лена со Шляпниковым не была заодно, не помнишь? А рабочая оппозиция что́ говорила, не помнишь?

— Поставь! — приказал побледневший Макарыгин. — Памяти её не шевели! Зубр! Зубр!

— Нет, я не зубр! Я хочу ленинской чистоты! — Радович снизил голос. — У нас ничего не пишут. В Югославии — рабочий контроль на производстве. Там...

Макарыгин неприязненно усмехнулся.

— Конечно, ты — серб, сербу трудно быть объективным. Я понимаю и прощаю. Но...

Но — дальше была грань. Радович погас, смолк, съёжился снова в маленького пергаментного человечка.

— Договаривай, договаривай, зубр! — враждебно требовал Макарыгин. — Значит, полуфашистский режим в Югославии — это и есть социализм? А у нас значит — перерождение? Старые словечки! Мы их давно слышали, только уж на том свете те, кто их про-

износил. Тебе осталось ещё сказать, что в схватке с капиталистическим миром мы обречены на гибель. Да?

— Нет! Нет! — убеждённый и озарённый лучами провидения, снова всплеснулся Радович. — Этому не бывать! Капиталистический мир разъедается несравненно худшими противоречиями! И, как гениально предсказывал Владимир Ильич, я твёрдо верю: мы скоро будем свидетелями вооружённого столкновения за рынки сбыта между Соединёнными Штатами и Англией!

64

А в большой комнате танцевали под радиолу, нового типа, как мебель. Пластинок у Макарыгиных был целый шкафчик: и записи Отца и Друга с его растягиваниями, мычанием и акцентом (как во всех благонастроенных домах они тут были, но, как все нормальные люди, Макарыгины их никогда не слушали); и песни «О самом родном и любимом», о самолётах, которые «первым делом», а «девушки потом» (но слушать их здесь было бы так же неприлично, как в дворянских гостиных всерьёз рассказывать о библейских чудесах). Заводились же на радиоле сегодня пластинки импортные, не поступающие в общую продажу, не исполняемые по радио, и были среди них даже эмигрантские с Лещенкой.

Мебель не давала простору сразу всем парам, и танцевали посменно. Среди молодёжи были кларины бывшие сокурсницы; и один сокурсник, который после института работал теперь на *заглушке* иностранных радиопередач; та девушка, родственница прокурора, из-за которой был тут Щагов; племянник прокурорши, лейтенант внутренней службы, которого за зелёный кант все звали пограничником (а была их рота расквартирована при Белорусском вокзале и поставляла наряды для проверки документов в поездах и на случай необходимых арестов в пути); и особенно выделялся государственный молодой человек уже с колодочкой ордена Ленина чуть небрежно, наискосок, без самого ордена, с приглаженными, уже редкими волосами.

Этому молодому человеку было года двадцать четыре, но он старался себя вести по крайней мере на тридцать, очень сдержанно шевелил руками и с достоинством подбирал нижнюю губу. Это был один из ценимых референтов в секретариате президиума Верховного Совета, основная работа его была — предварительная подготовка текстов речей депутатов Верховного Совета на будущих сессиях. Эту работу молодой человек находил очень скучной, но положение много обещало. Даже заполучить его на этот вечер было удачей Алевтины Никаноровны, женить же на Кларе — недостижимая мечта.

Для этого молодого человека единственно интересное на сегодняшнем вечере составляло присутствие Галахова и его жены. Во время танцев он уже третий раз приглашал Динэру, всю в импортном чёрном шёлке «лакэ», только алебастровые руки вырывались ниже локтя из этой лакированной блестящей как бы кожи. Испытывая лестность внимания такой знаменитой женщины, референт с повышенной значительностью ухаживал за ней, и также после танцев старался оставаться с нею.

А она увидела в углу дивана одинокого Сaунькина-Голованова, не умевшего ни танцевать, ни свободно держаться где-нибудь кроме своей редакции и решительно направилась к этой квадратной голове поверх квадратного туловища. Референт скользил за нею.

— Э-рик! — с весёлым вызовом подняла она алебастровую руку. — А почему я вас не видела на премьере «Девятьсот Девятнадцатого»?

— Был вчера, — оживился Голованов. И с охотой подвинулся к боковинке прямоугольного дивана, хоть и без того сидел на краю.

Села Динэра. Опустился референт.

Да уклониться от спора с Динэрой было и невозможно, ещё хорошо, если она возражать давала. Это о ней ходила эпиграмма по литературной Москве:

Мне потому приятно с вами помолчать,
Что вымолвить вы слова не дадите.

Динэра, не связанная никаким литературным постом и никакой партийной должностью, смело (но в рамках) нападала на драматургов, сценаристов и режиссёров, не щадя даже своего мужа. Смелость её суждений, сочетаясь со смелостью туалетов и смелостью всем известной биографии, очень к ней шла и приятно оживляла пресные суждения тех, чья мысль подчинена их литературной службе. Нападала она и на литературную критику вообще и на статьи Эрнста Голованова в частности, Голованов же с выдержкой не уставал разъяснять Динэре её анархические ошибки и мелкобуржуазные вывихи. Эту шутливую враждебность-близость с Динэрой он охотно длил ещё потому, что самого его литературная судьба зависела от Галахова.

— Вспомните, — с налётом мечтательности откинулась Динэра, но спинка озеркаленного дивана очень уж была пряма и неудобна, — у того же Вишневского в «Оптимистической» этот *хор* из двух моряков — «не слишком ли много крови в трагедии?» — «не больше, чем у Шекспира» — ведь это же остро, какая выдумка! И вот опять идёшь на пьесу Вишневского, и ждёшь! А тут что же? Конечно, реалистическая вещь, впечатляющий образ Вождя, но и, но и... всё?

— Как? — огорчился референт. — Вам мало? Я не помню, где

ещё такой трогательный образ Иосифа Виссарионовича. Многие плакали в зале.

— У меня у самой слёзы стояли! — осадила его Динэра. — Я не об этом. — И продолжала Голованову: — Но в пьесе почти нет имён! Участвуют: безличные три секретаря парторганизаций, семь командиров, четыре комиссара — протокол какой-то! И опять эти примелькавшиеся матросы-«братишки», кочующие от Белоцерковского к Лавренёву, от Лавренёва к Вишневскому, от Вишневского к Соболеву, — Динэра так и качала головой от фамилии к фамилии с зажмуренными глазами, — заранее знаешь, кто хороший, кто плохой и чем кончится...

— А почему это вам не нравится? — изумился Голованов. При деловом разговоре он очень оживлялся, в его лице появлялось нанюхивающее выражение, и он шёл по верному следу. — Зачем вам непременно внешняя ложная занимательность? А в жизни? Разве в жизни отцы наши сомневались, чем кончится гражданская война? Или мы разве сомневались, чем кончится Отечественная, даже когда враг был в московских пригородах?

— Или драматург разве сомневается, как будет принята его пьеса? Объясните, Эрик, почему никогда не проваливаются наши премьеры? Этого страха — провала премьеры, почему нет над драматургами? Честное слово, я когда-нибудь не сдержусь, заложу два пальца в рот, да как засвищу!!

Она мило показала, как это сделает, хотя ясно было, что свиста не получится.

— Объясняю! — не только не смущался Голованов, но всё увереннее идя по следу. — Пьесы у нас никогда не проваливаются и не могут провалиться, потому что между драматургом и публикой наличествует единство как в плане художественном, так и в плане общего мироощущения...

Это уже стало скучно. Референт поправил свой палево-голубой галстук один раз, другой раз — и поднялся от них. Одна из клариных сокурсниц, худощавенькая приятная девушка весь вечер откровенно не сводила с него глаз, и он решил теперь потанцевать с ней. Им достался тустеп. А после него одна из девочек-башкирок стала разносить мороженое. Референт отвёл девушку в углубление балконной двери, куда были задвинуты два кресла, усадил там, похвалил, как она танцует.

Она готовно улыбалась ему и порывалась к чему-то.

Государственный молодой человек не первый раз встречал женскую доступность, но ещё не успела она ему надоесть. Вот и этой девушке только надо назначить, когда и куда придти. Он оглядел её нервную шею, ещё не высокую грудь, и, пользуясь тем, что занавеси частью скрывали их от комнаты, благосклонно застиг её руку на колене.

Девушка взволнованно заговорила:

— Виталий Евгеньевич! Это такой счастливый случай — встретить вас здесь! Не сердитесь, что я осмеливаюсь нарушить ваш досуг. Но в приёмной Верховного Совета я никак не могла к вам попасть. — (Виталий снял свою руку с руки девушки.) — У вас в секретариате уже полгода находится лагерная *актировка* моего отца, он разбит в лагере параличом, и моё прошение о его помиловании. — (Виталий беззащитно откинулся в кресле и ложечкой сверлил шарик мороженого. Девушка же забыла о своём, неловко задела ложечку, та кувыркнулась, поставила пятно на её платье и упала к балконной двери, где и осталась лежать.) — У него отнята вся правая сторона! Ещё удар — и он умрёт. Он — обречённый человек, зачем вам теперь его заключение?

Губы референта перекривились.

— Знаете, это... нетактично с вашей стороны — обращаться ко мне здесь. Наш служебный коммутатор — не секрет, позвоните, я назначу вам приём. Впрочем, отец ваш по какой статье? По пятьдесят восьмой?

— Нет, нет, что вы! — с облегчением воскликнула девушка. — Неужели бы я посмела вас просить, если б он был политический? Он по закону от Седьмого Августа!

— Всё равно и для седьмого августа актировка отменена.

— Но ведь это ужасно! Он умрёт в лагере! Зачем держать в тюрьме обречённого на смерть?

Референт посмотрел на девушку в полные глаза.

— Если мы будем так рассуждать — что же тогда останется от законодательства? — Он усмехнулся. — Ведь он осуждён по суду! Вдумайтесь! Так что значит — «умрёт в лагере»? Кому-то надо умирать и в лагере. И если подошла пора умирать, так не всё ли равно, где умирать?

Он встал с досадой и отошёл.

За остеклённой балконной дверью сновала Калужская застава — фары, тормозные сигналы, красный, жёлтый и зелёный светофор под падающим, падающим снегом.

Нетактичная девушка подняла ложечку, поставила чашку, тихо пересекла комнату, не замеченная Кларой, ни хозяйкой, прошла столовую, где собирался чай и торты, оделась в коридоре и ушла.

А навстречу, пропустив помрачённую девушку, из столовой вышли Галахов, Иннокентий и Дотнара. Голованов, оживлённый Динэрою, с вернувшейся находчивостью остановил своего покровителя:

— Николай Аркадьевич! Halt! Признайтесь! — в самой-рассамой глубине души ведь вы не писатель, а кто?.. — (Это было как повторение вопроса Иннокентия, и Галахов смутился.) — Солдат!

— Конечно, солдат! — мужественно улыбнулся Галахов.

И сощурился, как смотрят вдаль. Ни от каких дней писательской славы не осталось в его сердце столько гордости и, главное, такого ощущения чистоты, как ото дня, когда его чёрт понёс с нежалимою головой добираться до штаба полуотрезанного батальона — и попасть под артиллерийский шквал и под минный обстрел, и потом в блиндажике, растрясённом бомбёжкою, поздно вечером обедать из одного котелка вчетвером с батальонным штабом — и чувствовать себя с этими обгорелыми вояками на равной ноге.

— Так разрешите вам представить моего фронтового друга капитана Щагова!

Щагов стоял прямой, не унижая себя выражением неравного почтения. Он приятно выпил — столько, что подошвы уже не ощущали всей тяжести своего давления на пол. И как пол стал более податлив, так податливее, приёмистее стала ощущаться и вся тёплая светлая действительность, и это закоренелое богатство, изостланное и уставленное вокруг, в которое он с заныващими ранами, с сухотою желудка вошёл ещё пока разведчиком, но которое обещало стать и его будущим.

Щагов уже стыдился своих скромных орденишек в этом обществе, где безусый пацан небрежно наискосок носил планку ордена Ленина. Напротив, знаменитый писатель при виде боевых орденов Щагова, медалей и двух нашивок ранений с размаху ударил рукой в рукопожатие:

— Майор Галахов! — улыбнулся он. — Где воевали? Ну, сядем, расскажите.

И они уселись на ковровой тахте, потеснив Иннокентия и Дотти. Хотели усадить тут же и Эрнста, но он сделал знак и исчез. Действительно, встреча фронтовиков не могла же произойти насухую! Щагов рассказал, что с Головановым они подружились в Польше в один сумасшедший денёк пятого сентября сорок четвёртого года, когда наши с ходу вырвались к Нареву и заскочили за Нарев, чуть не на брёвнах переправлялись, зная, что в первый день легко, а потом и зубами не возьмёшь. Пёрли нахально сквозь немцев в узком километровом коридорчике, а немцы лезли перекусить коридор, и с севера сунули триста танков, а с юга двести.

Едва начались фронтовые воспоминания, Щагов потерял тот язык, на котором он ежедневно разговаривал в университете, Галахов же — язык редакций и секций, а тем более — тот взвешенный нарочитый авторский язык, которым пишутся книги. На вытертых и закруглённых этих языках не было возможности передать сочное дымное фронтовое бытие. И даже после десятого слова им очень вознадобились ругательства, не мыслимые здесь.

Тут появился Голованов с тремя рюмками и бутылкой недопитого коньяка. Он пододвинул стул, чтобы видеть обоих, и в руках стал им разливать.

— За солдатскую дружбу! — произнёс Галахов, щурясь.

— За тех, кто не вернулся! — поднял Щагов.

Выпили. Пустая бутылка пошла за тахту.

Новое опьянение добавилось к старому. Голованов свернул рассказ в свою сторону: как в этот памятный день он, новоиспеченный военный корреспондент, за два месяца до того окончивший университет, впервые ехал на передовую, и как на попутном грузовичке (а грузовичок тот вёз Щагову противотанковые мины) проскочил под немецкими миномётами из Длугоседло в Кабат коридорчиком до того узким, что «северные» немцы жахали минами в расположение немцев «южных», и как раз в том же месте в тот же день один наш генерал возвращался из отпуска с семьёй на фронт — и на виллисе занёсся к немцам. Так и пропал.

Иннокентий прислушивался и спросил об ощущении страха смерти. Разогнанный Голованов поспешил сказать, что в такие отчаянные минуты смерть не страшна, о ней забываешь. Щагов поднял бровь, поправил:

— Смерть не страшна, пока тебя не *трахнет*. Я ничего не боялся, пока не испытал. Попал под хорошую бомбёжку — стал бояться бомбёжки, и только её. Контузило артналётом — стал бояться артналётов. А вообще: «не бойся пули, которая свистит», раз ты её слышишь — значит, она уже не в тебя. Той единственной пули, которая тебя убьёт — ты не услышишь. Выходит, что смерть как бы тебя не касается: ты есть — её нет, она придёт — тебя уже не будет.

На радиоле завели «Вернись ко мне, малютка!»

Для Галахова воспоминания Щагова и Голованова были безынтересны — и потому, что он не был свидетелем той операции, не знал Длугоседло и Кабата; и потому, что он был не из мелких корреспондентов, как Голованов, а из корреспондентов стратегических. Бои представлялись ему не вокруг одного изгнившего дощатого мостика или разбитой водокачки, но в широком обхвате, в генеральско-маршальском понимании их целесообразности.

И Галахов сбил разговор:

— Да. Война-война! Мы попадаем на неё нелепыми горожанами, а возвращаемся с бронзовыми сердцами... Эрик! А у вас на участке «песню фронтовых корреспондентов» пели?

— Ну, как же!

— Нэра! Нэра! — позвал Галахов. — Иди сюда! «Фронтовую корреспондентскую» — споём, помогай!

Динэра подошла, тряхнула головой:

— Извольте, друзья! Извольте! Я и сама фронтовичка!

Радиолу выключили, и они запели втроём, недостаток музыкальности искупая искренностью:

От Москвы до Бреста
Нет на фронте места...

Стягивались слушать их. Молодёжь с любопытством глазела на знаменитость, которую не каждый день увидишь.

От ветров и водки
Хрипли наши глотки,
Но мы скажем тем, кто упрекнёт...

Едва началась эта песня, Щагов, сохраняя всё ту же улыбку, внутренне охолодел, и ему стало стыдно перед теми, кого здесь, конечно, не было, кто глотали днепровскую волну ещё в Сорок Первом и грызли новгородскую хвойку в Сорок Втором. Эти сочинители мало знали тот фронт, который обратили теперь в святыню. Даже смелейшие из корреспондентов всё равно от строевиков отличались так же непереходимо, как пашущий землю граф от мужика-пахаря: они не были уставом и приказом связаны с боевым порядком, и потому никто не возбранял им и не поставил бы в измену испуг, спасение собственной жизни, бегство с плацдарма. Отсюда зияла пропасть между психологией строевика, чьи ноги вросли в землю передовой, которому не деться никуда, а может быть, тут и погибнуть, — и корреспондента с крылышками, который через два дня поспеет на свою московскую квартиру. Да ещё: откуда у них столько водки, что даже хрипли глотки? Из пайка командарма? Солдату перед наступлением дают двести, сто пятьдесят...

Там, где мы бывали,
Нам танков не давали,
Репортёр погибнет — не беда,
И на «эмке» драной
С кобурой нагана
Первыми вступали в города!

Это «первыми вступали в города» были — два-три анекдота, когда, плохо разбираясь в топографической карте, корреспонденты по хорошей дороге (по плохой «эмка» не шла) заскакивали в «ничей» город и, как ошпаренные, вырывались оттуда назад.

А Иннокентий, со свешенною головою, слушал и понимал песню ещё по-своему. Войны он не знал совсем, но знал положение наших корреспондентов. Наш корреспондент совсем не был тем беднягою-репортёром, каким изображался в этом стихе. Он не терял работы, опоздав с сенсацией. Наш корреспондент, едва только показывал свою книжечку, уже был принимаем как важный начальник, как име-

ющий право давать *установки*. Он мог добыть сведения верные, а мог и неверные, мог сообщить их в газету вовремя или с опозданием, — карьера его зависела не от этого, а от правильного мировоззрения. Имея же правильное мировоззрение, корреспондент не имел большой нужды и лезть на такой плацдарм или в такое пекло: свою корреспонденцию он мог написать и в тылу.

Дотти охватом кисти обмыкала руку мужа и тихо сидела рядом, не претендуя ни говорить, ни понимать умные вещи — самое приятное из её поведений. Она только хотела сидеть послушною женой, и чтобы видели все, как они живут хорошо.

Не знала она, как скоро будут её трепать, как стращать — всё равно, возьмут ли Иннокентия *тут*, или он вырвется и останется *там*.

Пока она заботилась только о себе, была груба, властна, стремилась сокрушить, навязать свои низкие суждения — Иннокентий думал: и хорошо, пусть пострадает, пусть образуется, ей полезно.

Но вот вернулась мягкость её — и защемила к ней жалость. Недоумение.

Да всё щемило, всё не мило, и с этого глупого вечера пора была уходить — если б дома не ждало ещё худшее.

Из полутёмной комнаты, от маленького телевизора со сбивчивым искривлённым изображением, кой-как наладив его для желающих, Клара вышла в большую комнату и стала в дверях.

Она изумилась, как хорошо, ладком сидят Иннокентий с Нарой, и ещё раз поняла, что неисследимы и некасаемы все тайны замужества.

Этому вечеру, устроенному, по сути, для неё одной, она нисколько не оказалась рада, но ранена им, сбита. Она металась всех встретить и занять — а сама пустела. Ничто не было ей забавно, никто из гостей интересен. И новое платье из матово-зелёного креп-сатена с блестящими резными накладками на воротнике, груди и запястьях, может быть, так же мало ей шло, как все прежние.

Навязанное и принятое знакомство с этим квадратненьким критиком, без ласки, без нежности, не давало никакого ощущения подлинности, даже противоестественное что-то. Полчаса он букой просидел на диване, полчаса по-пустому проспорил с Динэрой, потом пил с фронтовиками, — у Клары не было порыва захватить его, увлечь, оттащить.

А между тем пришла её последняя пора, и именно нынешняя, только сейчас. Наступило её предельное созревание, и если сейчас упустить, то дальше будет старее, хуже или ничего.

И неужели это сегодня утром? — сегодня утром! и в той же самой Москве! — был такой захватывающий разговор, восторженный взгляд голубоглазого мальчика, душу переворачивающий поцелуй —

и клятва *ждать*? Это сегодня — она три часа плела корзиночку на ёлку?...

То не было на земле. То не было во плоти. То четверть века не могло овеществиться. То — приснилось.

65

На верхней койке, наедине то с круглым сводчатым потолком, как купол небес раскинувшимся над ним, то уткнувшись в разгорячённую подушку, которая была ему лоном клариного тела, Ростислав изнывал от счастья.

Уже полдня прошло от поцелуя, стомившего его с ног, а ему всё ещё было жаль осквернить свои счастливые губы пустой речью или жадной едой.

«Ведь вы не могли бы меня *ожидать*!» — сказал он ей.

И она ответила:

«Почему не могла бы? Могла бы...»

— ...Такие допотопности, как ты, только на *вере* и держатся, — рвался почти под ним сочный молодой голос, но с пригашенной звонкостью, чтоб слышно не было далеко. — Именно на вере, да на какой вере — ложной! А *науки* у вас отроду не было!

— Ну, знаешь, спор становится беспредметным. Если марксизм — не наука, что ж тогда наука? Откровения Иоанна Богослова? Или Хомяков о свойствах славянской души?

— Да не нюхали вы настоящей науки! Вы — не *зиждители*! И поэтому совсем даже не знакомы с наукой! Предметы всех ваших рассуждений — призраки, а не вещи! А в истинной науке все положения с предельной строгостью выводятся из исходного!

— Золотко? Ком-иль-фончик! Так та́к у нас и есть: всё экономическое учение выводится из товарной клетки. Вся философия — из трёх законов диалектики.

— Вещное знание подтверждается умением применять выводы на деле!

— Детка! Что я слышу? Критерий практики в гносеологии? Так ты стихийный, — Рубин вытянул крупные губы трубочкой и нарочно сюсюкал, — материалист! Хотя немного примитивный.

— Вот ты всегда ускользаешь от честного мужского спора! Ты опять предпочитаешь забрасывать собеседника птичьими словами!

— А ты опять не говоришь, а заклинаешь! Пифия! Марфинская пифия! Почему ты думаешь, что я горю желанием с тобой спорить? Мне это, может быть, так же скучно, как вдалбливать старику-песочнику, что Солнце не ходит вокруг Земли. Нехай себе дотрусывает, як знает!

— Тебе не хочется со мной спорить потому, что ты не умеешь

спорить! Вы все не умеете спорить, потому что избегаете инакомыслящих — а чтоб не нарушить стройности мировоззрения! Вы собираетесь все свои и выкобениваетесь друг перед другом в толковании отцов учения. Вы набираетесь мыслей друг от друга, они совпадают и раскачиваются до размеров... Да на воле — (глухо) — при наличии ЧК, кто с вами осмелится спорить? Когда же вы попадаете в тюрьму, вот сюда, — (звонко) — здесь вы встречаетесь с настоящими спорщиками! — и тут-то вы оказываетесь как рыба на песке! И вам остаётся только лаяться и ругаться.

— По-моему, до сих пор ты облаял меня больше, чем я тебя.

Сологдин и Рубин, как сворожённые своими вечными разногласиями, всё сидели у опустевшего именинница. Абрамсон давно ушёл читать «Монте-Кристо»; Кондрашёв-Иванов — размышлять о величии Шекспира; Прянчиков убежал листать прошлогодний у кого-то «Огонёк»; Нержин отправился к дворнику Спиридону; Потапов, исполняя до конца обязанности хозяйки дома, помыл посуду, разнёс тумбочки и лёг, накрывшись подушкой от света и шума. Многие в комнате спали, другие тихо читали или переговаривались, и был тот час, когда уже сомневаешься — не пропустил ли дежурный выключить свет, заменив его на синий. А Сологдин и Рубин всё сидели на пустой постели Прянчикова в закутке у последней оставленной тумбочки.

Однако тянуло к спору одного Сологдина: у него сегодня был день побед, они бурлили в нём, не улегались. Да и вообще по его расписанию всякий воскресный вечер отводился забавам. А какая забава могла быть распотешней, чем — срамить и загонять в тупик защитника царствующего скудоумия!

Для Рубина же спор сегодня был тягостен, нелеп. Не завершённая только что работа была у него, а напротив — навалилась новая сверхтрудная задача, создание целой науки, за которую в одиночку приходилось приниматься завтра с утра, а для этого уже с вечера беречь бы силы. Ещё звали его два письма: одно от жены, другое от любовницы. Когда же было и ответить, как не сегодня! — жене дать важные советы о воспитании детей, любовнице — нежные заверения. А ещё звали Рубина монголо-финский, испано-арабский и другие словари, Чапек, Хемингуэй, Лоуренс. И ещё сверх: то за комическим спектаклем суда, то за мелкими подколками соседей, то за именинным обрядом целый вечер он не мог добраться до окончательной разработки одного важного проекта общегражданского значения.

Но тюремные законы спора хватко держали его. Ни в одном споре Рубин не должен был быть побеждён, ибо представлял тут, на шарашке, передовую идеологию. И вот, как связанный, он вынужденно сидел с Сологдиным, чтобы втолковывать ему азбуку, доступную дошкольникам.

Тише и мягче Сологдин увещевал:

— Настоящий спор, говорю тебе из лагерного опыта, производится как поединок. По согласию выбираем посредника — хоть Глеба сейчас позовём. Берём лист бумаги, делим его отвесной чертой пополам. Наверху, через весь лист, пишем содержание спора. Затем, каждый на своей половине, предельно ясно и кратко, выражаем свою точку зрения на поставленный вопрос. Чтобы не было случайной ошибки в подборе слова — время на эту запись не ограничивается.

— Ты из меня дурака делаешь, — полусонно возразил Рубин, опуская сморщенные веки. Лицо его над бородой выражало глубочайшую усталость. — Что ж мы, до утра будем спорить?

— Напротив! — весело воскликнул Сологдин, блестя глазами. — В этом-то и замечательность подлинного мужского спора! Пустые словопрения и сотрясения воздуха могут тянуться неделями. А спор на бумаге иногда кончается в десять минут: сразу же становится очевидно, что противники или говорят о совершенно разных вещах или ни в чём не расходятся. Когда же выявляется смысл продолжать спор — начинают поочерёдно записывать доводы на своих половинках листа. Как в поединке: удар! — ответ! — выстрел! — выстрел! И вот: невозможность увиливать, отказываться от употреблённых выражений, подменять слова словами — приводит к тому, что в две-три записи явно проступает победа одного и поражение другого.

— И время — не ограничивается?

— Для одержания истины — нет!

— А ещё на эспадронах мы драться не будем?

Воспламенённое лицо Сологдина омрачилось:

— Вот так я и знал. Ты первый наскакиваешь на меня...

— По-моему, ты первый!..

— ...даёшь мне всякие клички, у тебя их в сумке много: мракобес! попятник! — (он избегал иноземного непонятного слова «реакционер») — увенчанный прислужник — (значило: «дипломированный лакей») — поповщины! У вас набралось бранных слов больше, чем научных определений. Когда же я беру тебя за жабры и предлагаю честно спорить, — у тебя нет времени, нет охоты, ты устал! Однако у вас нашлось время и охота перепотрошить целую страну!

— Уже полмира! — вежливо поправил Рубин. — Для дела у нас всегда есть время и силы. А — болтать языком? О чём нам с тобой? Уже между нами всё сказано.

— О чём? Предоставлю выбор тебе! — галантным широким жестом (род оружия! место дуэли!) ответил Сологдин.

— Так я выбираю: ни о чём!

— Это не по правилам!

Рубин затеребил отструек чёрной бороды:

— По каким таким правилам? Что ещё за правила? Что за инквизиция? Пойми ты: чтобы плодотворно спорить, надо же иметь хоть какую-то общую основу, в каких-то основных чертах всё же иметь согласие...

— Вот, вот! я ж говорю: чтоб оба признавали прибавочную стоимость и владычество рабочих! — (Так на Языке Предельной Ясности обозначалась «диктатура пролетариата».) — И спорили бы только о том, написал ли закорючку Маркс натощак или Энгельс после обеда.

Нет, невозможно было избавиться от этого издевателя! Рубин вскипел:

— Да пойми ты, пойми ты, что — глупо! Ты и я — о чём мы можем говорить? Ведь куда ни копни, за что ни возьмись — мы с тобой с разных планет. Ведь для тебя, например, дуэли и сейчас ещё лучший способ решения обид!

— А попробуй доказать обратное! — откинулся Сологдин, сияя. — Если бы были дуэли — кто бы решился клеветать? Кто бы решился отталкивать слабых локтями?

— Да твои ж драчуны! Лыцари!.. Для тебя вообще мрак Средних веков, тупое надменное рыцарство, крестовые походы — это зенит истории!

— Это — вершина человеческого Духа! — выпрямляясь, подтвердил Сологдин и помахал над головою пальцем. — Это великолепное торжество духа над плотью! Это с мечом в руках неудержимое стремление к святыням!

— И вьюки награбленного добра? Ты — докучный гидальго!

— А ты — библейский фанатик!.. то есть, *одержимец*! — парировал Сологдин. — Ведь для тебя Белинский ли, Чернышевский ли, все наши лучшие просветители — недоучившиеся поповичи?!

— Долгополые семинаристы! — ликуя, добавил Сологдин.

— Ведь для тебя не говорю уже — наша, но даже Французская революция, через сто пятьдесят лет после неё — тупой бунт черни, наваждение дьявольских инстинктов, истребление нации — не так ли?

— Разумеется!! И попробуй доказать обратное! Всё величие Франции кончается восемнадцатым веком! А что́ было после бунта? Пяток заблудившихся великих людей? Полное вырождение нации! Чехарда правительств на потеху всему миру! Бессилие! безволие! ничтожество!! прах!!!

Сологдин демонически захохотал.

— Дикарь! пещерный житель! — возмущался Рубин.

— И никогда уже Франция не поднимется! Разве только с помощью римской церкви!

— И вот ещё: для тебя Реформация — не естественное освобождение человеческого разума от церковных вериг, а...

— Безумное ослепление! лютеранское сатанинство! Подрыв Европы! Самоуничтожение европейцев! Хуже двух мировых войн!

— Ну вот... ну вот!.. Вот-вот!.. — вставлял Рубин. — Ты же — ископаемое! ихтиозавр! О чём нам с тобой спорить? Ты видишь сам, что запутался. Не лучше ли нам разойтись мирно?

Сологдин заметил движение Рубина встать и уйти. Этого никак нельзя было допустить! — забава уходила, забава ещё не состоялась. Сологдин тут же обуздался и неузнаваемо помягчел:

— Прости, Лёвушка, я погорячился. Конечно, час поздний, и я не настаиваю, чтоб мы брали из главных вопросов. Но давай проверим самый приём спора-поединка на каком-нибудь лёгком изящном предмете. Я дам тебе на выбор несколько *титлов* (это значило — *тем*). Хочешь спорить из словесности? Это — область твоя, не моя.

— Да ну тебя...

Как раз было время сейчас уйти, не подвергаясь бесславию. Рубин приподнялся, но Сологдин предупредительно шевельнулся:

— Хорошо! Титл нравственный: о значении гордости в жизни человека!

Рубин скучающе пожевал:

— Неужели мы гимназистки?

И — поднялся между кроватями.

— Хорошо, такой титл... — схватил его за руку Сологдин.

— Да пошёл ты... — отмахнулся Рубин, смеясь. — У тебя же всё в голове перевёрнуто! На всей Земле ты один остался, кто ещё не признаёт трёх законов диалектики. А из них вытекает — всё!

Сологдин светлой розовой ладонью отвёл это обвинение:

— Почему не признаю? Уже признаю.

— Ка-ак? Ты — признал диалектику? — Рубин засюсюкал трубочкой: — Цыпочка! Дай я тебя поцелую! Признал?

— Я не только её признал — я над ней *думал*! Я два месяца думал над ней по утрам! А ты — не думал!

— Даже думал? Ты умнеешь с каждым днём! Но тогда о чём же нам спорить?

— Как?! — возмутился Сологдин. — Опять не о чем? Нет общей основы — не о чем спорить, есть общая основа — не о чем спорить! Нет уж, теперь изволь спорить!

— Да что за насилие? О чём спорить?

Сологдин вслед за Рубиным тоже встал и размахивал руками:

— Изволь! Я принимаю бой на самых невыгодных для меня условиях. Я буду бить вас оружием, вырванным из ваших же грязных лап! О том будем спорить, что в ы с а м и трёх ваших законов не понимаете! Пляшете, как людоеды вокруг костра, а что такое огонь — не понимаете. Могу тебя на этих законах ловить и ловить!

— Ну, поймай! — не мог не выкрикнуть Рубин, злясь на себя, но опять погрязая.

— Пожалуйста. — Сологдин сел. — Присаживайся.
Рубин остался на ногах.
— Ну, с чего б нам полегче? — смаковал Сологдин. — Законы эти — указывают нам *направление* развития? Или нет?
— Направление?
— Да! Куда будет развиваться... э-э... — он поперхнулся — ...процесс?
— Конечно.
— И в чём ты это видишь? Где именно? — холодно допрашивал Сологдин.
— Ну, в самих законах. Они отражают нам движение.
Рубин тоже сел. Они стали говорить тихо, по-деловому.
— Какой же именно закон даёт направление?
— Ну, не первый, конечно... Второй. Пожалуй, третий.
— У-гм. Третий — даёт? И как же его определить?
— Что?
— Направление, что!
Рубин нахмурился:
— Слушай, а зачем вообще эта схоластика?
— Это — схоластика? Ты не знаком с точными науками. Если закон не даёт нам числовых соотношений, да мы ещё не знаем и направления развития — так мы вообще ни черта не знаем. Хорошо. Давай с другой стороны. Ты легко и часто повторяешь: «отрицание отрицания». Но что ты понимаешь под этими словами? Например, можешь ты ответить: отрицание отрицания — всегда бывает в ходе развития или не всегда?
Рубин на мгновение задумался. Вопрос был неожидан, он не ставился так обычно. Но, как принято в спорах, не давая внешне понять заминки, поспешил ответить:
— В основном — да... Большей частью.
— Во-от!! — удовлетворённо взревел Сологдин. — У вас целый жаргон — «в основном», «большей частью»! Вы разработали тысячи таких словечек, чтоб не говорить прямо. Вам скажи «отрицание отрицания» — и в голове у вас отпечатано: зерно — из него стебель — из него десять зёрен. Оскомина! Надоело! Отвечай прямо: к о г д а «отрицание отрицания» бывает, а когда — н е бывает? Когда его нужно ожидать, а когда оно невозможно?
У Рубина следа не осталось его вялости, он подсобрался сам и собирал свои уже разбредшиеся мысли на этот никому не нужный, но всё равно важный спор.
— Ну, какое это имеет практическое значение — «когда бывает», «когда не бывает»?!
— Нич-чего себе! Какое *деловое* значение имеет один из трёх основных законов, из которых вы в с ё выводите! Ну, как с вами разговаривать?!

— Ты ставишь телегу впереди лошади! — возмутился Рубин.
— Опять жаргон! жаргон! То есть, *феня*...
— Телегу впереди лошади! — настаивал Рубин. — А мы, марксисты, считали бы позором выводить конкретный анализ явлений из готовых законов диалектики. И поэтому нам совсем не надо знать, «когда бывает», «когда не бывает»...
— А я вот тебе сейчас отвечу! Но ты сразу скажешь, что ты это знал, что это понятно, само собой разумеется... Так слушай: если получение прежнего качества вещи *возможно* движением в обратном направлении, то отрицания отрицания н е бывает! Например, если гайка туго завёрнута и надо её отвернуть — отворачивай. Тут обратный процесс, переход количества в качество, и никакого отрицания отрицания! Если же, двигаясь в обратном направлении, воспроизвести прежнее качество невозможно, то развитие м о ж е т пройти через отрицание, но и то: если в нём допустимы повторения. То есть: необратимые изменения будут отрицаниями лишь там, где возможно отрицание самих отрицаний!
— Иван — человек, не Иван — не человек, — пробормотал Рубин, — ты как на параллельных брусьях...
— С гайкой. Если, заворачивая её, ты сорвал резьбу, то отворачивая, уже не вернёшь ей прежнего качества — целой резьбы. Воспроизвести это качество теперь можно только так: бросить гайку в переплав, потом прокатать шестигранный пруток, потом проточить и наконец нарезать новую гайку.
— Слушай, Митяй, — миролюбиво остановил его Рубин, — ну нельзя же серьёзно излагать диалектику на гайке.
— Почему нельзя? Чем гайка хуже зерна? Без гайки ни одна машина не держится. Так вот, каждое из перечисленных состояний необратимо, оно отрицает предыдущее, а новая гайка по отношению к старой, испорченной, является отрицанием отрицания. Просто? — И он вскинул подстриженную французскую бородку.
— Постой! — усмотрел Рубин. — В чём же ты меня опроверг? У тебя же самого и получилось, что третий закон даёт направление развития.
С рукой у груди Сологдин поклонился:
— Если бы тебе, Лёвчик, не была свойственна быстрота соображения, я бы вряд ли имел честь с тобой беседовать! Да, даёт! Но то, что закон даёт — надо научиться брать! Вы — умеете? Не молиться закону — а работать с ним? Вот ты вывел, что он направление даёт. Но ответим: всегда ли? В неживой природе? в живой? в обществе? А?
— Ну, что ж, — раздумчиво сказал Рубин. — Может быть, во всём этом и есть какое-то рациональное зерно. Но вообще-то — словоблудие-с, милостивый государь.
— Словоблуды — вы! — с новой запальчивостью отсек дланью

Сологдин. — Три закона! Три в а ш и х закона! — он как мечом размахивал в толпе сарацин. — А вы ни одного не понимаете, хотя всё из них выводите!..

— Да говорят тебе: н е выводим!

— Из законов — не выводите? — изумился Сологдин, остановился в рубке.

— Нет!

— Так что они у вас — пришей кобыле хвост? А откуда вы тогда взяли — в какую сторону будет развиваться общество?

— Слу-шай! — Рубин стал вдалбливать нараспев. — Ты — дуба кусок или человек? Все вопросы решаются нами из конкретного анализа ма-те-ри-ала, разумеешь? Любой общественный вопрос — из анализа классовой обстановки.

— Так что́ они вам? — разорялся Сологдин, не сообразуясь с тишиной комнаты, — три закона? — вообще не нужны?!

— Почему, очень нужны, — оговорил Рубин.

— А зачем?! Если из них ничего не выводится? Если даже и направления развития из них получать не надо, это словоблудие? Если требуется только как попугаю повторять «отрицание отрицания» — так на чёрта они нужны?..

...Потапов, который тщетно пытался укрыться под подушкой от их всё возрастающего шума, наконец сердито сорвал подушку с уха и приподнялся на постели:

— Слушайте, друзья! Самим не спится — уважайте сон других, если уж... — и он показал пальцем вверх наискосок, где лежал Руська, — если не можете найти более подходящего места.

И рассерженность Потапова, любящего размеренный распорядок, и устоявшаяся тишина всей полукруглой комнаты, которая стала им теперь особенно слышна, и окружение стукачами (впрочем, Рубин свои убеждения мог выкрикивать безбоязненно) — заставили бы очнуться всяких трезвых людей.

Эти же двое очнулись лишь чуть-чуть. Их долгий — не первый и не десятый — спор только начинался. Они поняли, что нужно выйти из комнаты, но не могли уже ни смолкнуть, ни расцепиться. Они уходили, по дороге меча друг в друга словами, пока дверь коридора не поглотила их.

И почти сразу после их ухода белый свет погас, зажёгся ночной синий.

Руська Доронин, чьё ухо бодрствовало ближе всех к их спору, был, однако, далее всех от того, чтобы собирать на них «материал». Он слышал недосказанный намёк Потапова, понял его, хотя и не видел устремлённого пальца — и испытал прилив нерешимой обиды, вызываемой у нас упрёками людей, чьё мнение мы уважаем.

Когда он затевал эту острую двойную игру с оперативниками, он всё предвидел, он провёл бдительность врагов, был теперь накануне

зримого торжества со *ста сорока семью* рублями, — но он был беззащитен против подозрения друзей! Его одинокий замысел, именно из-за того, что был так необычен и таен, — предавался презрению и позору. Его удивляло, как эти зрелые, толковые, опытные люди не имели достаточной широты души, чтобы понять его, поверить, что он — не предатель.

И, как всегда бывает, когда мы теряем расположение людей, — нам становится втройне дорог тот, кто продолжает нас любить.

А если это — ещё и женщина?..

Клара!.. Она поймёт! Он завтра же откроется ей в своей авантюре — и она поймёт.

И безо всякой надежды, да и безо всякого желания уснуть, он извивался в своей распалённой постели, то вспоминая пытливые кларины глаза, то всё более уверенно нащупывая план побега под проволоку овражком до шоссе, а там сразу автобусом в центр города.

А дальше там поможет Клара.

В семимиллионной Москве человека найти трудней, чем во всём обнажённом Воркутинском крае. В Москве-то и убегать!..

66

Дружбу Нержина с дворником Спиридоном Рубин и Сологдин благодушно называли «хождением в народ» и поисками той самой великой сермяжной правды, которую ещё до Нержина тщетно искали Гоголь, Некрасов, Герцен, славянофилы, народники, Достоевский, Лев Толстой и, наконец, оболганный Васисуалий Лоханкин.

Сами же Рубин и Сологдин не искали этой сермяжной правды, ибо обладали Абсолютной прозрачной истиной.

Рубин хорошо знал, что понятие «народ» есть понятие вымышленное, есть неправомерное обобщение, что всякий народ разделён на классы, и даже классы меняются со временем. Искать высшее понимание жизни в классе крестьянства было занятием убогим, бесплодным, ибо только пролетариат до конца последователен и революционен, ему принадлежит будущее, и лишь в его коллективизме и бескорыстии можно почерпнуть высшее понимание жизни.

Не менее хорошо знал и Сологдин, что «народ» есть безразличное тесто истории, из которого лепятся грубые, толстые, но необходимые ноги для Колосса Духа. «Народ» — это общее обозначение совокупности серых, грубых существ, беспросветно тянущих упряжку, в которую они впряжены рождением и из которой их освобождает только смерть. Лишь одинокие яркие личности, как звенящие звёзды, разбросанные на тёмном небе бытия, несут в себе высшее понимание.

И оба знали, что Нержин переболеет, повзрослеет, одумается.

И, действительно, Нержин перебывал и пропутался уже во многих крайностях.

Изнылая от боли за *страдающего брата*, русская литература прошлого века создала в нём, как во всех своих первочитателях, — в серебряном окладе и с нимбом седовласый образ Народа, соединившего в себе мудрость, нравственную чистоту, духовное величие.

Но это было отдельно — на книжной полке и где-то *там* — в деревнях, на полях, на перепутьях девятнадцатого века. Небо же развернулось — двадцатого века, и мест этих под небом давно на Руси не было.

Не было и никакой Руси, а — Советский Союз, и в нём — большой город. В городе рос юноша Глеб, на него сыпались успехи из рога наук, он замечал, что соображает быстро, но есть соображающие и побыстрее него и подавляющие обилием знаний. И Народ продолжал стоять на полке, а понимание было такое: только те люди значительны, кто носит в своей голове груз мировой культуры, энциклопедисты, знатоки древностей, ценители изящного, мужи многообразованные и разносторонние. И надо принадлежать к избранным. А неудачник пусть плачет.

Но началась война, и Нержин сперва попал ездовым в обоз и, давясь от обиды, неуклюжий, гонялся за лошадьми по выгону, чтоб их обратать или вспрыгнуть им на спину. Он не умел ездить верхом, не умел ладить упряжки, не умел брать ссна на вилы, и даже гвоздь под его молотком непременно изгибался, как бы от хохота над неумелым мастером. И чем горше доставалось Нержину, тем гуще ржал над ним вокруг небритый, матерщинный, безжалостный, очень неприятный Народ.

Потом Нержин выбился в артиллерийские офицеры. Он снова помолодел, половчел, ходил, обтянутый ремнями, и изящно помахивал сорванным прутиком, другой ноши у него не бывало. Он лихо подъезжал на подножке грузовика, задорно матерился на переправах, в полночь и в дождь был готов в поход и вёл за собой послушный, преданный, исполнительный и потому весьма приятный Народ. И этот его собственный небольшой народ очень правдоподобно слушал его политбеседы о том большом Народе, который встал единой грудью.

Потом Нержина арестовали. В первых же следственных и пересыльных тюрьмах, в первых лагерях, тупым смертным боем ударивших по нему, он ужаснулся изнанке некоторых «избранных» людей: в условиях, где только твёрдость, воля и преданность друзьям являли сущность арестанта и решали участь его товарищей, — эти тонкие, чуткие, многообразованные ценители изящного оказывались частенько трусами, быстрыми на сдачу, а при их образованности — отвратительно изощрёнными в оправданиях сделанной подлости; такие бы-

стро вырождались в предателей и попрошаек. И самого себя Нержин увидел едва не таким, как они. И он отшатнулся от тех, к кому прежде считал за честь принадлежать. Теперь он стал ненавистно высмеивать, чему поклонялся прежде. Теперь он стремился опроститься, отбить у себя последние навычки интеллигентской вежливости и размазанности. В пору беспросветных неудач, в провалах своей перешибленной судьбы, Нержин счёл, что ценны и значительны только те люди, кто своими руками строгает дерево, обрубает металл, кто пашет землю и льёт чугун. У людей простого труда Нержин старался теперь перенять и мудрость всё умеющих рук и философию жизни. Так для Нержина круг замкнулся, и он пришёл к моде прошлого века, что надо идти, спускаться *в народ*.

Но за замкнутым кругом шёл ещё хвостик спирали, недоступный для наших дедов. Как тем, образованным барам XIX столетия, образованному зэку Нержину для того, чтобы спускаться в народ, не надо было переодеваться и нащупывать лестничку: его просто турнули в народ, в изорванных ватных брюках, в заляпанном бушлате, и велели вырабатывать норму. Судьбу простых людей Нержин разделил не как снисходительный, всё время разнящийся и потому чужой барин, но — как сами они, не отличимый от них, равный среди равных.

И не для того, чтобы подладиться к мужикам, а чтобы заработать обрубок сырого хлеба на день, пришлось Нержину учиться и вколачивать гвоздь струною в точку и пристрагивать доску к доске. И после жестокой лагерной выучки с Нержина спало ещё одно очарование. Нержин понял, что спускаться ему было дальше незачем и не к кому. Оказалось, что у Народа не было перед ним никакого кондового сермяжного преимущества. Вместе с этими людьми садясь на снег по окрику конвоя, и вместе прячась от десятника в тёмных закоулках строительства, вместе таская носилки на морозе и суша портянки в бараке, — Нержин ясно увидел, что люди эти ничуть не выше его. Они не стойче его переносили голод и жажду. Не твёрже духом были перед каменной стеной десятилетнего срока. Не предусмотрительней, не изворотливей его в крутые минуты этапов и шмонов. Зато были они слепей и доверчивей к стукачам. Были падче на грубые обманы начальства. Ждали амнистии, которую Сталину было труднее дать, чем околеть. Если какой-нибудь лагерный держиморда в хорошем настроении улыбался — они спешили улыбаться ему навстречу. А ещё они были много жадней к мелким благам: «дополнительной» прокислой стограммовой пшённой бабке, уродливым лагерным брюкам, лишь бы чуть поновей или попестрей.

В большинстве им не хватало той *точки зрения*, которая становится дороже самой жизни.

Оставалось — быть самим собой.

Отболев в который раз каким увлечением, Нержин — окончательно или нет? — понял Народ ещё по-новому, как не читал нигде: Народ — это не все, говорящие на нашем языке, но и не избранцы, отмеченные огненным знаком гения. Не по рождению, не по труду своих рук и не по крылам своей образованности отбираются люди в народ.

А — по душе.

Душу же выковывает себе каждый сам, год от году.

Надо стараться закалить, отгранить себе такую душу, чтобы стать *человеком*. И через то — крупицей своего народа.

С такою душой человек обычно не преуспевает в жизни, в должностях, в богатстве. И вот почему *народ* преимущественно располагается не на верхах общества.

67

Рыжего круглоголового Спиридона, на лице которого без привычки никак было не отличить почтения от насмешки, Нержин выделил сразу по его приезде на шарашку. Хотя были тут ещё и плотники, и слесари, и токари, но чем-то ядрёным разительно отличался от них Спиридон, так что не могло быть сомнения, что он-то и есть тот представитель Народа, у которого следовало черпать.

Однако Нержин испытал затруднённость: не мог найти повода познакомиться со Спиридоном ближе, ещё не было о чём им говорить, не встречались они по работе и жили врозь. Небольшая группа работяг жила на шарашке в отдельной комнате, отдельно проводила досуг, и когда Нержин стал нахаживать к Спиридону — Спиридон и его соседи по койкам дружно определили, что Нержин — *волк* и рыскает за добычей для кума.

Хотя сам Спиридон считал своё положение на шарашке последним, и нельзя себе было представить, зачем бы оперуполномоченные его обкладывали, но, так как они не брезгуют никакой падалью, следовало остерегаться. При входе Нержина в комнату Спиридон притворно озирался, давал место на койке и с глупым видом принимался рассказывать что-нибудь за-тридевять-земельное от политики: как трщуюся рыбу бьют остя́ми, как её в тиховодье рогаткой лозовой цепляют под *зябры*, а и ловят в сетя́; или как он ходил «по лосей, по медведя́ рудо́го» (а чёрного с белым галстуком медведя остерегайся!); как травой медуницей змей отгоняют, дятловка же трава для косьбы больно хороша. Ещё был долгий рассказ, как в двадцатые годы ухаживал он за своей Марфой Устиновной, когда она в сельском клубе в драмкружке играла; её прочили за богатого мельника, она же по любви договорилась бежать со Спиридоном — и на Петров день он на ней женился украдом.

При этом малоподвижные больные глаза Спиридона из-под густых рыжеватых бровей добавляли: «Ну, что ходишь, волк? Не разживёшься, сам видишь.»

И действительно, любой стукач давно б уж отчаялся и покинул неподатливую жертву. Ничьего любопытства бы не хватило терпеливо ходить к Спиридону каждый воскресный вечер, чтобы слушать его охотничьи откровения. Но Нержин, поначалу заходивший к Спиридону с застенчивостью, именно Нержин, ненасытно желавший здесь, в тюрьме, разобраться во всём, не додуманном на воле, — месяц за месяцем не отставал и не только не утомлялся от рассказов Спиридона, но они освежали его, дышали на него сыроватой приречной зарёю, обдувающим дневным полевым ветерком, переносили в то единственное в жизни России семилетие — семилетие НЭПа, которому ничего не было равного или сходного в сельской Руси — от первых починков в дремучем бору, ещё прежде Рюриков, до последнего разукрупнения колхозов. Это семилетие Нержин захватил несмышлёнышем и очень жалел, что не родился пораньше.

Отдаваясь тёплому оскрипшему голосу Спиридона, Нержин ни разу лукавым вопросом не попытался перескочить на политику. И Спиридон постепенно начал доверять, неизнудно и сам окунался в прошлое, хватка постоянной настороженности отпускала, глубоко-прорезанные бороздки его лба разморщивались, красноватое лицо осветлялось тихим свечением.

Только потерянное зрение мешало Спиридону на шарашке читать книги. Приноровляясь к Нержину, он иногда вворачивал (чаще — некстати) такие слова, как «принцип», «пи́риод» и «аналогично». В те времена, когда Марфа Устиновна играла в сельском драмкружке, он там слышал со сцены и запомнил имя Есенина.

— Есенина? — не ожидал Нержин. — Вот здорово! А у меня он здесь на шарашке есть. Это ведь редкость теперь. — И принёс маленькую книжечку в суперобложке, осыпанной изрезными кленовыми осенними листьями. Ему было очень интересно, неужели сейчас свершится чудо: полуграмотный Спиридон поймёт и оценит Есенина.

Чуда не совершилось, Спиридон не помнил ни строчки из слышанного прежде, но живо оценил «Хороша была Танюша», «Молотьбу».

А через два дня майор Шикин вызвал Нержина и велел сдать Есенина на цензурную проверку. Кто донёс — Нержин не узнал. Но вочью пострадав от кума и потеряв Есенина как бы из-за Спиридона, Глеб окончательно вошёл в его доверие. Спиридон стал звать его на «ты», и беседовали они теперь не в комнате, а под пролётом внутритюремной лестницы, где их никто не слышал.

С тех пор, последние пять-шесть воскресений, рассказы Спири-

дона замерцали давно желанной глубиной. Вечер за вечером перед Нержиным прошла жизнь одной единственной песчинки — русского мужика, которому в год революций было семнадцать лет, и перешло уже сорок, когда начиналась война с Гитлером.

Какие водопады не низвергались через него! какие валы не обтачивали рыжий окатыш головы Спиридона! В четырнадцать лет он остался хозяином в доме (отца взяли на германскую, там и убили) и пошёл со стариками на покос («за полдня косить научился»). В шестнадцать работал на стекольном заводе и ходил под красными знамёнами на сходку. Как землю объявили крестьянской — кинулся в деревню, взял надел. Этот год он с матерью и с братишками, с сестрёнками славно спину наломал и к Покрову был с хлебушком. Только после Рождества стали тот хлеб сильно для города потягивать — сдай и сдай. А после Пасхи и год спиридонов, кому восемнадцать полных, пошёл девятнадцатый, — дёрнули в Красную Армию. Идти в армию от землицы никакого расчёта Спиридону не было, и он с другими парнями подался в лес, и там они были *зелёными* («нас не трогай — мы не тронем»). Потом всё ж и в лесу стало тесно, и угодили они к белым (тут белые наскочили ненадолго). Допрашивали белые, нет ли средь их комиссара; такого не было, а вожака их стукнули для острастки, остальным велели надеть кокарды трёхцветные и дали винтовки. А вообще-то порядки у белых были старые, как и при царе. Повоевали маненько за белых — забрали в плен красные (да и не отбивались особо, сами подались). Тут красные расстреляли офицеров, а солдатам велели с шапок кокарды снять, надеть бантики. И утвердился Спиридон в красных до конца гражданской. И в Польшу он ходил, а после Польши их армия была трудовая, никак домой не пускали, и ещё потом на масляной повезли их к Питеру и на первой неделе поста ходили они прямо по морю по льду, форт какой-то брали. Только после этого Спиридон домой вырвался.

Воротился он в деревню весной и накинулся на землицу родную, отвоёванную. Воротился он с войны не как иные — не разбалованный, не ветром подбитый. Он быстро окреп («кто хозяин хорош — по двору пройти, рубль найдёшь»), женился, завёл лошадей...

В ту пору у властей у самих ум расступился: подпирались-то всё бедняками, но людям хотелось не беднеть, а богатеть, и бедняки тоже к обзаводу тянулись, — кто работать любит, конечно. И пустили тогда по ветру слово такое: *интенсивник*. Слово это значило: кто хозяйство хочет вести крепко, но не на батраках, а — по науке, со смёткой. И стал тогда Спиридон Егоров с жениной помощью — интенсивник.

«Хорошо жениться — полжизни», — всегда говорил Спиридон. (Марфа Устиновна была главное счастье и главный успех его жизни. Из-за неё он не пил, сторонился пустых сборищ. Она приносила ему

детей-кажегодков, двух сыновей, потом дочь, — но рождение их ни на пядень не отрывало её от мужа. Она свою пристяжку тянула — сколотить хозяйство! Была она грамотна, читала журнал «Сам себе агроном» — и так Спиридон стал интенсивником.

Интенсивников приласкивали, им давали ссуды, семена. К успеху шёл успех, к деньгам деньги, уж затевали они с Марфой строить кирпичный дом, не ведая, что доброденствию такому подходит конец. Спиридон в почёте был, в призидим его сажали, герой гражданской войны и в коммунистах уже.

И тут-то они с Марфой начисто сгорели — еле детей выхватили из огня. И стали — голота́, ничто.

Но горевать долго им не привелось. Еле стали они из погорельцев выдираться, как прикатило из далёкой Москвы — раскулачивание. И всех тех интенсивников, без разума выращенных Москвой же, теперь без разума же перекропляли в кулаки и изводили. И порадовались Марфа со Спиридоном, что не успели кирпичного дома отгрохать.

В который раз судьба человеческая закидывала загадки, и беда обёртывалась прибытком.

Вместо того, чтобы под конвоем ГПУ ехать умирать в тундру, Спиридон Егоров был сам назначен «комиссаром по коллективизации» — сбивать народ в колхозы. Он стал носить устрашающий рево́львер на бедре, сам выгонял из дому и отправлял с милицией, наголо без скарбу, кулаков и не кулаков, — кого нужно было по разнарядке.

И на этом, как и на других изломах своей доли, Спиридон не доступен был лёгкому пониманию и классовому анализу. Нержин теперь не упрекал, не развереживал Спиридона, но можно было понять, что мутно сошлось у того на душе. Стал он тогда пить и пил так, как если б вся деревня раньше была его, а теперь он всю спускал. Он принял чин комиссара, но распоряжался плохо. Он не доглядывал, что крестьяне скот вырезают, приходят в колхоз без рога живого, без живого копыта.

За всё то Спиридона изгнали с комиссаров, да на этом не остановились, а сразу же велели ему руки взять назад, и с обнажёнными наганами один милиционер сзади, другой спереди, повели его в тюрьму. Судили его быстро («у нас весь пи́риод никого долго не судят»), дали ему десять лет за «экономическую контрреволюцию» и отправили на Беломорканал, а когда кончили Беломор — на канал Москва — Волга. На каналах Спиридон работал то землекопом, то плотником, пайку получал большую, и только за Марфу, оставленную с тремя детьми, ныла его душа.

Потом Спиридону вышел пересуд. Экономическую контрреволюцию ему сменили на «злоупотребление» и тем он из *социально-чуждых* стал *социально-близкий*. Его вызвали и объявили, что теперь

доверяют ему винтовку *самоохраны*. И хотя ещё вчера Спиридон, как порядочный зэк, бранил конвоиров последними словами, а самоохранников — ещё круче, — сегодня он взял ту протянутую ему винтовку и повёл своих вчерашних товарищей под конвоем, потому что это уменьшало срок его заключения и давало сорок рублей в месяц для отсылки домой.

Вскоре начальник лагеря, у которого было *две ромбы*, поздравил его с освобождением. Спиридон документы выписал не в колхоз, а на завод, забрал туда Марфу с детьми и в короткое время уже попал на заводскую красную доску как один из лучших стеклодувов. Он гнал сверхурочные, чтобы наверстать всё, что потеряно было с самого пожара. Уже их мысли были о маленькой хатёнке с огородом и как учить дальше детей. Детям было пятнадцать, четырнадцать и тринадцать, когда грохнула война. Очень быстро фронт стал подходить к их посёлку. Власти, кого успевали, угоняли на восток, и весь их посёлок успели согнать.

На каждом повороте спиридоновой судьбы Нержин теперь притаивался, ожидая, что ещё выкинет Спиридон. Он уж предполагал, не останется ли Спиридон ждать немцев, тая злость за лагерь. Отнюдь! Спиридон вёл себя поначалу как в лучших патриотических романах: что было добра — закопал в землю, и как только оборудование завода отправили вагонами, а рабочим раздали телеги, — посадил на ту́ю телегу троих детей и жёнку и — «лошадь чужая, кнут не свой, погоняй не стой!» — от Почепа отступал до самой Калуги, как многие тысячи других.

Но под Калугою что-то хрустнуло, куда-то их поток разбился, уже стали их не тысячи, а только сотни, да и то мужчин намерялись в первом же военкомате забрать в армию, а чтоб семьи ехали дальше сами.

И вот тут-то, лишь только ясно стало, что с семьёй ему теперь подкатило расставаться, Спиридон, так же нимало не сомневаясь в своей правоте, отбился в лесу, переждал линию фронта — и на той же телеге, и на лошади той же, но уже не безразлично-казённой, а хранимой, своей — повёз семью назад, от Калуги до Почепа и вернулся в исконную свою деревню и поселился в свободной чьей-то хате. И тут сказали: из колхозной бывшей земли бери сколько можешь обработать — обрабатывай. И Спиридон взял, и стал пахать её и засевать безо всяких угрызений совести и, не следя за сводками войны, работал уверенно и ровно, как если б то шли далёкие годы, когда ни колхозов не было ещё, ни войны.

Приходили к нему партизаны, говорили — собирайся, Спиридон, воевать надо, а не пахать. — Кому-то и пахать, — отвечал Спиридон. И от земли — не пошёл. В партизаны изнудом гнали, объяснял он теперь, это не то, чтоб стар и млад не могли ломтя хлеба прожевать, а дай им нож в зубы ползти на немца, — нет, спускали с парашю-

тами московских инструкторов, и те выгоняли крестьян угрозами или ставили безысходно.

Подноровили партизаны убить немецкого мотоциклиста, да не за околицей, а посерёдке деревни их. Знали партизаны немецкие правила. Прикатили сразу немцы, всех выгнали из домов и дочиста сожгли всю деревню.

И опять не засомневался ничуть Спиридон, что пришла пора считаться с немцами. Отвёз он Марфу с детьми к её матери и тотчас пошёл к тем самым партизанам в лес. Ему дали автомат, гранаты, и он добросовестно, со смёткой, как работал на заводе или на земле, подстреливал немецкие дозоры у полотна, отбивал обозы, помогал мостики рвать, а по праздникам ходил к семье. И получалось, что как-никак, а он — с семьёй.

Но возвращался фронт. Хвастали даже, что Спиридону дадут партизанскую медаль, как наши придут. И объявлено было, что теперь примут их в Советскую армию, конец их лесной жизни. А из того села, где Марфа теперь жила, стронули немцы всех жителей, пацан прибежал, рассказал.

И в момент, не дожидаясь *наших* и ничего больше не дожидаясь, никому не сказавшись, Спиридон покинул автомат и *две диски* и погнал за своею семьёй. Он втёрся в их поток как цивильный и опять вровень с той же телегой и похлёстывая тую же лошадку, подчиняясь такой же неоспоримой правоте нового решения, зашагал по запруженной дороге от Почепа до Слуцка.

Тут Нержин только брался за голову и раскачивался. — Ай-я-яй! Что ж за чудо получается, Спиридон Данилыч? Как это мне всё в голову уместить? Ты ж на Кронштадт по льду шёл, ты нам советскую власть устанавливал, ты и в колхозы загонял...

— А ты — не устанавливал?

Нержин терялся. Принято было, что устанавливали советскую власть отцы, что тогда, в семнадцатом — восемнадцатом, было это особенно торжественно или особенно обдумывалось каждым.

Усмешка явственней обозначалась на губах Спиридона:

— Ты-то устанавливал — не заметил? — донимал он.

— Не заметил, — шептал Нержин, перебирая в памяти три года своего фронтового командования.

— Так вот и бывает... Сеем рожь, а вырастает лебеда...

Но дальше, дальше надо было ставить социальный эксперимент! — и Нержин только спрашивал:

— И что ж дальше, Данилыч?

Что ж дальше! Мог, конечно, опять в лес отбиться и отбивался раз, да встреча лихая вышла с бандитами, еле спас от них дочь. И ещё поехал с потоком. А потом уж стал и думать, что наши ему не поверят, всё равно припомнят, что в партизаны он не сразу пошёл и убёг оттуда, и уж семь бед, один ответ, и доехал до Слуцка. А там

сажали на поезда и давали талоны на питание аж до Рейнской области. Сперва прошелестел такой слух, что с детьми брать не будут — и Спиридон уже смекал, как поворачивать. Но взяли всех — и он бросил ни за так телегу с лошадью и уехал. Под Майнцем его с мальчиками определили на завод, а жену с дочкой поставили работницами к бауэрам.

И вот на том заводе однажды немецкий мастер ударил сына спиридонова младшенького. Спиридон не думал долго, а с топором подскочил и замахнулся на мастера. По законам германского райха, дойди только до законов, замах такой значил — расстрел Спиридону. Но мастер остыл, подошёл к бунтовщику и сказал, как передавал теперь Спиридон:

— Я сам — фатер. Я тебя — ферштэ́е.

И не доложил дальше! И узнал вскоре Спиридон, что в то самое утро мастер получил извещение о смерти сына в России.

Окалённый, с околоченными боками, Спиридон, вспоминая того рейнского мастера, не стыдясь, отирал слезу рукавом:

— После этого я на немцев не сердюся. Что хату сожгли и всё зло этот фатер снял. Ведь проникся же человек! — вот тебе и немец...

Но это было из редких, из очень редких потрясений в своей правоте, колебнувшее дух упрямого рыжего мужика. Все остальные тяжёлые годы, во всех жестоких выныриваниях и окунаньях, никакие раздумки не обессиливали Спиридона в минуты решений. И так своей повседневной методикой Спиридон опровергал лучшие страницы Монтеня и Шаррона.

Несмотря на ужасающее невежество и беспонятность Спиридона Егорова в отношении высших порождений человеческого духа и общества — отличались равномерной трезвостью его действия и решения. И если знал он, что все деревенские собаки перестреляны немцами, то, хоть знал это не специально, а было это с ним, и отрубленную коровью голову клал спокойно в лёгкий снежок, чего бы никак не сделал в другое время. И хоть никогда, конечно, не изучал он ни географии, ни немецкого языка, но когда худо привелось им на постройке окопов в Эльзасе (ещё и американцы с самолётов их поливали) — он убежал оттуда со старшим сыном и, никого не спрашивал и не читая немецких надписей, днём перетаиваясь, одними ночами, по незнаемой земле, без дорог, прямо, как летает ворона, просёк девяносто километров и дом в дом подкрался к тому бауэру под Майнцем, у которого работала жена. Там они и досидели в бункере в саду до прихода американцев.

Ни один из вечно-проклятых вопросов о критерии истинности чувственного восприятия, об адекватности нашего познания вещам в себе — не терзал Спиридона. Он был уверен, что видит, слышит, обоняет и понимает всё — неоплошно.

Так же и в учении о добродетели всё у Спиридона было бесшумно и одно к одному подогнано. Он никого не оговаривал. Никогда не лжесвидетельствовал. Сквернословил только по нужде. Убивал только на войне. Дрался только из-за невесты. Ни у какого человека он не мог ни лоскутка, ни крошки украсть, но со спокойным убеждением воровал у государства всякий раз, как выпадала возможность. А что, как он рассказывал, до женитьбы «клевал по бабам», — так и властитель дум наших Александр Пушкин признавался, что заповедь «не возжелай жены ближнего твоего» ему особенно тяжела.

И сейчас, в пятьдесят лет, заключённый, почти слепой, очевидно обречённый здесь, в тюрьме, умереть, — Спиридон не выказывал движения к святости, или к унынию, или к раскаянию, или тем более к исправлению (как это выражалось в названии лагерей), — но со старательною метлою своей в руках каждый день от зари до зари мёл двор и тем отстаивал свою жизнь перед комендантом и оперуполномоченным.

Какие б ни были власти — с властями жил Спиридон всегда в раскосе.

Что любил Спиридон — это была земля.

Что было у Спиридона — это была семья.

Понятия «родина», «религия» и «социализм», не употребительные в будничном повседневном разговоре, были словно совершенно неизвестны Спиридону — уши его будто залегли для этих слов, и язык не изворачивался их употребить.

Его родиной была — семья.

Его религией была — семья.

И социализмом тоже была семья.

А всех сеятелей разумного-доброго-вечного, писателей и ораторов, называвших Спиридона богоносцем (да он о том не знал), священников, социал-демократов, вольных агитаторов и штатных пропагандистов, белых помещиков и красных председателей, кому на протяжении жизни было дело до Спиридона, он, по вынужденности беззвучно, в сердцах посылал:

— А не пошли бы вы на́ ...?!

68

Над их головами ступени деревянной лестницы гудели и поскрипывали от переступов и шарканья ног. Иногда просыпался сверху истолчённый прах и крохи мусора, но ни Спиридон, ни Нержин почти их не замечали.

Они сидели на неметенном полу в своих нечистых, давно заношенных, с задубившимися задами парашютных синих комбинезонах, охватив колени руками. Сидеть так, не подмостясь чурками, было не

очень удобно, их малость запрокидывало, — оттого плечами и спинами они упирались в косо идущие доски, снизу пришитые к лестнице. Глаза же их смотрели прямо вперёд, но тоже упирались — в облупленную боковую стену уборной.

Нержин, как всегда, когда нужно было что-то осознать, обнять мыслью, часто курил — и издавленные окурки складывал рядком у полусгнившего плинтуса, от которого вверх до лестницы шёл треугольник белёной, но грязной стены. Спиридон же, хотя и получал, как все, папиросы «беломорканал», ещё раз своей обложкой напоминавшие ему о гиблой работе в гиблом краю, где едва не сложил он костей, — твёрдо не курил, подчиняясь запрету германских врачей, вернувших ему три десятых зрения одним глазом, вернувших свет.

К немецким врачам Спиридон сберёг благодарность и почтение. Они ему, уже безнадёжно слепому, вгоняли большую иглу в хребет, долго держали под повязками с мазью на глазах, потом сняли повязки в полутёмной комнате и велели — «смотри!» И мир забрезжил! При свете тусклого ночника, казавшегося Спиридону ярким солнцем, он одним глазом различил тёмный очерк головы своего спасителя и, припав, поцеловал его руку.

Нержин вообразил себе всегда сосредоточенное, а в этот миг смягчённое лицо глазного доктора с Рейна. Врач смотрел на освобождённого от повязок рыжего дикаря из восточных степей, чей тёплый голос, чья благодарность взахлёб говорили, что дикарь этот, возможно, был предназначен к лучшей жизни и не по своей вине стал таким.

А поступок был с точки зрения немцев хуже, чем дикарский.

Уже после конца войны Спиридон со всей семьёй жил в американском лагере перемещённых лиц. И повстречался с ним односельчанин, сват, ещё иначе «сват-сучка» за какие-то дела при сколачивании колхоза. С этим сватом-сучкой они вместе ехали до Слуцка, а в Германии их раскидали. И вот теперь надо было благополучно встречу обмыть, и другого ничего не было — принёс сват бутылку спирту. Спирт был непробованный, и надпись немецкая не прочтена — зато бесплатно им достался. Что ж, и осмотрительный, недоверчивый, избегнувший тысячи опасностей Спиридон тоже ведь был не защищён от русского авося — ладно, откупоривай, сват! Чкнул Спиридон полный стакан, а остальное в одномашку допил сват-сучка. Спасибо, хоть сыновей при том не было, а то б и им по стопочке досталось. Проснувшись после полудня, Спиридон испугался ранней темноты в комнате, высунулся в окно, но света было мало и там, и он долго не мог понять, как это у американского штаба через улицу и у часового верхней половины не было, а нижняя была. Он ещё хотел скрыть беду от Марфы, но к вечеру пелена полной слепоты застлала и нижнюю часть его глаз.

А сват-сучка умер.

После первой операции глазные врачи сказали: год прожить в покое, а потом сделают ещё одну, левый будет видеть совсем, а правый — наполовину. Они это точно обещали, и надо было бы дождаться, но...

— Наши-то врали, стервы — в обои ухи не уберёшь. И колхозов больше нет, и всё вам прощается, братья и сёстры вас ждут, колокола звонят — хоть американские ботинки скидать, босиком сюдою бечь.

Нет! Это не помещалось в голове.

— Данилыч! — выразительно отговаривал Нержин, будто не поздно было ещё и передумать. — Да ведь не сам ли ты говорил... насчёт лебеды? Кой тебя леший за загривок тянул? Неужели ты мог поверить?

Всё окруженье глаз Спиридона — и веки, и виски, и подглазья, были мелко-морщинисты. Он усмехнулся:

— Я-то?.. Я, Глеба, верно знал, что залямчат. Уж я у американцев разлакомился, по воле бы сюда не поехал.

— Так люди на чём ловились? — ехали сюда к семье. А у тебя вся семья под мышками, кто ж тебя в Советский Союз манил?

Вздохнул Спиридон:

— Марфе Устиновне я сразу сказал: девка, озеро в рот сулят, а из поганой лужи лакнуть ещё дадут ли?.. Она мне, голову так легонько потрепавши: парень-парень, были б твои глазоньки, а там рассмотрим. Давай вторую операцию ждать. Ну, а у детей всех трёх — нетерпёжка, дух загорелся: тятя! маманя! да домой! да на родину! Да что ж у нас в России глазных врачей нет? Да мы немцев разбили, так кто раненых лечил?! Ещё получше наши врачи! Русскую, мол, школу им кончать надо, старшенький у меня двух классов только и не доучился. Дочка Вера из слёз не выхлюпывается — вы хотите, чтоб я за немца замуж пошла? Мало было ей на Рейне русских, всё кажется девке, что самого главного жениха она здесь упускает... Эх, чешу в голове, детки-детки, врачи-то у нас в России есть, да житьё там убойное, у батьки уже по шее полозом тёрто, куды рвётесь? Нет, видать, обо всё обжечься надо — самому.

Так, не Спиридона первого, погубили его дети.

Короткие жёсткие усы его, рыжие с проседью, подрагивали при воспоминании:

— Листовкам ихним я на грош не верил, и что от тюрьмы-терпихи мне не уйти — знал. Но так думал, что всё вину на меня опрокинут, дети — причём? Меня посадят — дети нехай живут. Но заразы эти по-своему рассудили — и мою голову взяли и ихние.

На пограничной станции мужчин и женщин сразу разделяли и дальше гнали в отдельных эшелонах. Семья Егоровых всю войну продержалась вместе, а теперь развалилась. Никто не спрашивал, брян-

ский ты или саратовский. Жену с дочерью безо всякого суда сослали в Пермскую область, где дочь теперь работала в лесхозе на бензопиле. Спиридона же с сыновьями спроворили за колючку, судили и за измену Родине влепили и сыновьям, как батьке, по десятке. С младшим сыном Спиридон попал в соликамский лагерь и хоть там ещё попестовал его два года. А другого сына зашвырнули на Колыму.

Таков был д о м. Таковы были жених дочери и школа сыновей.

От волнений следствия, потом от лагерного недоедания (он ещё сыну отдавал ежедён своих полпайки) не только не просветлялись очи Спиридона, но и меркло последнее левое. Средь той огрызаловки волчьей на глухой лесной подкомандировке просить врачей вернуть зрение было почти то, что молиться о вознесении живым на небо. Не только лечить глаза Спиридона, но и судить, можно ли в Москве их вылечить, — не лагерной было серой больничке.

Сжав ладонями голову, размышлял Нержин над загадкой своего приятеля. Не сверху вниз и не снизу вверх смотрел он на этого мужика, пристигнутого событиями, — а касаясь плечом плеча и глазами вровень. Все беседы их уже давно и чем дальше, тем острей, толкали Нержина к одному вопросу. Вся ткань жизни Спиридона вела к этому вопросу. И, кажется, сегодня наступила пора этот вопрос задать.

Сложная жизнь Спиридона, его непрестанные переходы от одной борющейся стороны к другой — не было ли это больше, чем простое самосохранение? Не сходилось ли это как-то с толстовской истиной, что в мире нет правых и нет виноватых?.. Что узлов мировой истории не распутать самоуверенным мечом? Не являла ли себя в этих почти инстинктивных поступках рыжего мужика — мировая система философского скептицизма?..

Социальный эксперимент, предпринятый Нержиным, обещал дать сегодня здесь под лестницей неожиданный и блестящий результат!

— Тошную я, Глеба, — говорил между тем Спиридон и намозоленной заскорблой ладонью с силой протёр по небритой щеке, как будто хотел ссадить с неё кожу. — Ведь четыре месяца из до́му писем не было, а?

— Ты ж сказал — у Змея письмо?

Спиридон посмотрел укоризненно (глаза его были пригашены, но никогда не казались остеклевшими, как у слепых от рождения, и оттого выражение их бывало понятно):

— После четырёх-то месяцев? Что могёт быть в том письме?

— Как получишь завтра — прийди, прочту.

— Да уж вбежки к тебе.

— Может, на почте какое про́пало? Может, *кумовья* замотали? Не волнуйся, Данилыч, зря.

— Чего — зря, как сердце скомит? За Веру боюся. Двадцать один год девке, без отца, без братьев, и мать не рядом.

Этой Веры Егоровой Нержин видел фотографию, сделанную прошлой весной. Крупная девушка, налитая, с большими доверчивыми глазами. Сквозь всю мировую войну отец пронёс её и выхранил. Ручной гранатой он спас её в минских лесах от злых людей, добивавшихся её, пятнадцатилетнюю, изнасилить. Но что он мог сделать теперь из тюрьмы?

Нержин представил себе непродёрный пермский лес; пулемётную стрельбу бензопил; отвратительный рёв тракторов, трелюющих стволы; грузовики, зарывшиеся задом в болота и поднявшие к небу радиаторы как бы с мольбой; обозлённых чёрных трактористов, разучившихся отличать мат от простого слова — и среди них девушку в спецовке, в брюках, дразняще выделяющих её женские стати. Она спит с ними у костров; никто, проходя, не упускает случая её облапать. Конечно не зря ноет сердце у Спиридона.

Но утешения звучали бы жалко-бесполезно. А лучше и его отвлечь и для себя утвердить в нём, что искал: перетяжку, противовес учёным своим друзьям. Не услышит ли Глеб сейчас, здесь, народное сермяжное обоснование скептицизма, и сам тогда, может быть, утвердится на нём?

Положив руку на плечо Спиридона, а спиной по-прежнему упираясь в косую подшивку лестницы, Нержин с затруднением, издалека, начал высказывать свой вопрос:

— Давно хочу тебя спросить, Спиридон Данилыч, пойми меня верно. Вот слушаю, слушаю я про твои скитания. Кручёная у тебя жизнь, да ведь наверно, не у одного тебя, у многих... у многих. Всё чего-то ты метался, пятого угла искал — ведь неспроста?.. Вернее, как ты думаешь — с каким... — он чуть не сказал «критерием» — ...с меркой какой мы должны понимать жизнь? Ну, например, разве есть люди на земле, которые нарочно хотят злого? Так и думают: сделаю-ка я людям зло? Дай-ка я их прижму, чтоб им житья не было? Вряд ли, а? Вот ты говоришь — сеяли рожь, а выросла лебеда. Так всё-таки, сеяли-то — рожь, или думали, что рожь? Может быть, люди-то все хотят доброго — думают, что доброго хотят, но все не безгрешны, не без ошибок, а кто и вовсе оголтелый — и вот причиняют друг другу столько зла. Убедят себя, что они хорошо делают, а на самом деле выходит худо.

Наверно, не очень ясно он выражался. Спиридон косовато, хмуро смотрел, ожидая подвоха, что ли.

— А теперь если ты, скажем, явно ошибаешься, а я хочу тебя поправить, говорю тебе об этом словами, а ты меня не слушаешь, даже рот мне затыкаешь, в тюрьму меня пихаешь — так что мне делать? Палкой тебя по голове? Так хорошо, если я прав, а если

мне это только кажется, если я только в голову себе вбил, что я прав? Да ведь если я тебя сшибу и на твоё место сяду, да «но! но!», а не тянет оно — так и я трупов нахлестаю? Ну, одним словом, так: если нельзя быть уверенным, что ты всегда прав — так вмешиваться можно или нет? И в каждой войне нам кажется — мы правы, а тем кажется — они правы. Это мыслимо разве — человеку на земле разобраться: кто прав? кто виноват? Кто это может сказать?

— Да я́ тебе скажу! — с готовностью отозвался просветлевший Спиридон, с такой готовностью, будто спрашивали его, какой дежурняк заступит дежурить с утра. — Я тебе скажу: волкодав — прав, а людоед — нет!

— Как-как-как? — задохнулся Нержин от простоты и силы решения.

— Вот так, — с жестокой уверенностью повторил Спиридон, весь обернувшись к Нержину: — *Волкодав прав, а людоед — нет.*

И, приклонившись, горячо дохнул из-под усов в лицо Нержину:

— Если бы мне, Глеба, сказали сейчас: вот летит такой самолёт, на ём бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронит под лестницей, и семью твою перекроет, и ещё мильён людей, но с вами — Отца Усатого и всё заведение их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ по лагерях, по колхозах, по лесхозах? — Спиридон напрягся, подпирая крутыми плечами уже словно падающую на него лестницу, и вместе с ней крышу, и всю Москву. — Я, Глеба, поверишь? нет больше терпежу! терпежу — не осталось! я бы сказал, — он вывернул голову к самолёту: — А ну! ну! кидай! рушь!!

Лицо Спиридона было перекажено усталостью и мукой. На красноватые нижние веки из невидящих глаз наплыло по слезе.

69

Заступивший дежурить с воскресного вечера стройный юный лейтенант с пятнышками квадратных усиков под носом прошёл лично после отбоя верхним и нижним коридорами спецтюрьмы, разгоняя арестантов по комнатам спать (по воскресеньям они ложились всегда неохотно). Он прошёл бы и второй раз, да не мог отойти от молодой тугонькой фельдшерицы санчасти. Фельдшерица имела в Москве мужа, но не было тому доступа к ней в запретную зону на целые сутки её дежурства, и лейтенант очень рассчитывал сегодня ночью коечего добиться, она же со смехом вырывалась и повторяла одно и то же:

— Перестаньте баловаться!

Поэтому разгонять заключённых во второй раз он послал за себя своего помощника старшину. Старшина видел, что лейтенант до утра из санчасти не выберется, проверять его не будет — и не стал очень стараться укладывать всех спать, потому что за много лет надоело и ему быть собакой и потому что понимал он: взрослые люди, которым завтра на работу, поспать не забудут.

А тушить свет в коридорах и на лестнице спецтюрьмы не разрешалось, ибо это могло способствовать побегу или бунту.

Так за два раза никто не разогнал Рубина и Сологдина, отиравших стенку в большом главном коридоре. Шёл первый час ночи, но они забыли о сне.

Это был тот безысходный яростный спор, которым, если не дракой, нередко кончается русский обряд веселья.

Но это был и тот особенный тюремный лютый спор, каких не могло быть на воле с господствующим единым мнением власти.

Спор-поединок на бумаге у них так и не сладился. За этот час или больше Рубин и Сологдин уже перебрали и два других закона невинной диалектики, — но ни за одну неровность не зацепясь, ни на одной спасительной площадочке не замедля, их спор, ударяясь и ударяясь о груди их, скатывался в вулканическое жерло.

— Так если *противоположности* нет, так и *единства* нет?!

— Ну?

— Что — «ну»? Своей тени боитесь! Верно или неверно?

— Конечно. Верно.

Сологдин просиял. Вдохновение от увиденной слабой точки нагнуло вперёд его плечи, заострило лицо:

— Значит: в чём нет противоположностей — то не существует? Зачем же вы обещали бесклассовое общество?

— «Класс» — птичье слово!

— Не увернёшься! Вы знали, что общество без противоположностей невозможно — и нагло обещали? Вы...

Они оба были пятилетними мальчишками в девятьсот семнадцатом году, но друг перед другом не отрекались ответить за всю человеческую историю.

— ...Вы распинались отменить притеснение, а навязали нам притеснителей худших и горших! И для этого надо было убивать столько миллионов людей?

— Ты ослеп от печёнки! — вскрикнул Рубин, теряя осторожность говорить приглушенно, забывая щадить противника, который рвётся его удушить. (Громкость аргументов самому ему, как стороннику власти, не угрожала.) — Ты и в бесклассовое общество войдёшь, так не узнаешь его от ненависти!

— Но сейчас, сейчас — бесклассовое? Один раз договори! Один раз — не увёртывайся! Класс новый, класс правящий — есть или нет?

Ах, как трудно было Рубину ответить именно на этот вопрос! По-

тому что Рубин и сам видел этот класс. Потому что укоренение этого класса лишило бы революцию всякого и единственного смысла.

Но ни тени слабости, ни промелька колебания не пробежало по высоколобому лицу правоверного.

— А социально — он отграничен? — кричал Рубин. — Разве можно чётко указать, кто правит, а кто подчиняется?

— Мо-ожно! — полным голосом отдавал и Сологдин. — Фома, Антон, Шишкин-Мышкин правят, а мы...

— Но разве есть устойчивые границы? Наследство недвижимости? Всё — служебное! Сегодня — князь, а завтра — в грязь, разве не так?

— Так тем хуже! Если каждый член может быть низвергнут — то как ему сохраниться? — «что прикажете завтра?» Дворянин мог дерзить власти как хотел — рождения отнять невозможно!

— Да уж твои любимые дворянчики! — вон, Сиромаха!

(Это был на шарашке премьер стукачей.)

— Или купцы? — тех рынок заставлял соображать, быстро поворачиваться! А ваших — ничто! Нет, ты вдумайся, что это за выводок! — понятия о чести у них нет, воспитания нет, образования нет, выдумки нет, свободу — ненавидят, удержаться могут только личной подлостью...

— Да надо же иметь хоть чуть ума, чтобы понять, что группа эта — служебная, временная, что с отмиранием государства...

— О т м и р а т ь? — взвопил Сологдин. — Сами? Не захотят! Добровольно? Не уйдут, пока их — по шее! Ваше государство создано совсем не из-за *толстосумного окружения*! А — чтобы жестокостью скрепить свою противоестественность! И если б вы остались на Земле одни — вы б своё государство ещё и ещё укрепляли бы!

У Сологдина за спиною мглилась многолетняя подавленность, многолетний скрыв. Тем больше высвобождение было — открыто швырять свои взгляды доступному соседу, и вместе с тем убеждённому большевику и, значит, за всё ответственному.

Рубин же от первой камеры фронтовой контрразведки и потом во всей веренице камер бесстрашно вызывал на себя всеобщее исступление гордым заявлением, что он — марксист, и от взглядов своих не откажется и в тюрьме. Он привык быть овчаркою в стае волков, обороняться один против сорока и пятидесяти. Его уста запекались от бесплодности этих столкновений, но он обязан, обязан был объяснять ослеплённым их ослепление, обязан был бороться с камерными врагами за них самих, ибо они в большинстве своём были не враги, а простые советские люди, жертвы Прогресса и неточностей пенитенциарной системы. Они помутились в своём сознании от личной обиды, но начнись завтра война с Америкой, и дай этим людям оружие — они почти все поголовно забудут свои разбитые жизни, простят свои мучения, пренебрегут горечью отторгнутых семей — и

повалят самоотверженно защищать социализм, как сделал бы это и Рубин. И, очевидно, так поступит в крутую минуту и Сологдин. И не может быть иначе! Иначе они были бы псами и изменниками.

По острым режущим камням, с обломка на обломок, допрыгал их спор и до этого.

— Так какая же разница?! какая же разница?! Значит, бывший зэк, просидевший ни за́ хрен, ни про́ хрен десять лет и повернувший оружие против своих тюремщиков — изменник родине! А немец, которого ты обработал и заслал через линию фронта, немец, изменивший своему отечеству и присяге, — передовой человек?

— Да как ты можешь сравнивать?! — изумлялся Рубин. — Ведь объективно мой немец з а социализм, а твой зэк п р о т и в социализма! Разве это сравнимые вещи?

Если бы вещество наших глаз могло бы плавиться от жара выражаемого ими чувства — глаза Сологдина вытекли бы голубыми струйками, с такой страстностью он вонзался в Рубина:

— С вами разговаривать! Тридцать лет вы живёте и дышите этим девизом, — сгоряча сорвалось иностранное слово, но оно было хорошее, рыцарское, — «цель оправдывает средства», а спросить вас в лоб — признаёте его? — я уверен, что отречётесь! Отречётесь!

— Нет, почему же? — с успокоительным холодком вдруг ответил Рубин. — Лично для себя — не принимаю, но если говорить в общественном смысле? За всю историю человечества наша цель впервые столь высока, что мы можем и сказать: она — оправдывает средства, употреблённые для её достижения.

— Ах, вот даже как! — увидев уязвимое рапире место, нанёс Сологдин моментальный звонкий удар. — Так запомни: чем выше цель, тем выше должны быть и средства! Вероломные средства уничтожают и самую цель!

— То есть, как это — вероломные? Чьи это — вероломные! Может быть, ты отрицаешь средства революционные?

— Да разве у вас — революция? У вас — одно злодейство, кровь с топора! Кто бы взялся составить только список убитых и расстрелянных? Мир бы ужаснулся!

Нигде не задерживаясь, как ночной скорый, мимо полустанков, мимо фонарей, то безлюдной степью, то сверкающим городом, проносился их спор по тёмным и светлым местам их памяти, и всё, что на мгновение выныривало — бросало неверный счет или неразборчивый гул на неудержимое качение их сцепленных мыслей.

— Чтобы судить о стране, надо же хоть немножко её знать! — гневался Рубин. — А ты двенадцать лет киснешь по лагерям! А что ты видел раньше? Патриаршьи Пруды? Или по воскресеньям выезжал в Коломенское?

— Страну? Ты берёшься судить о стране? — кричал Сологдин, но сдерживаясь до придавленного звука, как будто его душили. —

Позор! Тебе — позор! Сколько прошло людей в Бутырках, вспомни — Громов, Ивантеев, Яшин, Блохин, они говорили тебе трезвые вещи, они из жизни своей тебе всё рассказывали — так разве ты их слушал? А здесь? Вартапетов, потом этот, как его...

— Кто-о? Зачем я их буду слушать? Ослеплённые люди! Они же просто воют, как зверь, у которого лапу ущемили. Неудачу собственной жизни они истолковывают как крах социализма. Их обсерватория — камерная параша, их воздух — ароматы параши, у них — кочка зрения, а не точка!

— Но кто же, кто же те, кого ты способен слушать?

— Молодёжь! Молодёжь — с нами! А это — будущее!

— Мо-ло-дёжь?! Да придумали вы себе! Она — чихать хотела на ваши... *светлообразы*! — (Значило — идеалы.)

— Да как ты смеешь судить о молодёжи?! Я с молодёжью вместе воевал на фронте, ходил с ней в разведку, а ты о ней от какого-нибудь задрипанного эмигрантишки на пересылке слышал? Да как может быть молодёжь безыдейна, если в стране — десятимиллионный комсомол?

— Ком-со-мол??.. Да ты — слабоумный! Ваш комсомол — это только перевод *твёрдо-уплотнённой бумаги* на членские книжки!

— Не смей! Я сам — старый комсомолец! Комсомол был — наше знамя! наша совесть! романтика, бескорыстие наше — вот был комсомол!

— Бы-ыл! Был да сплыл!

— Наконец, кому я говорю? Ведь в тех же годах комсомольцем был и ты!

— И я за это довольно поплатился! Я наказан за это! Мефистофельское начало! — всякого, кто коснётся его... Маргарита! — потеря чести! смерть брата! смерть ребёнка! безумие! гибель!

— Нет, подожди! нет, не Маргарита! Не может быть, чтоб у тебя от тех комсомольских времён ничего не осталось в душе!

— Вы, кажется заговорили о *душе*? Как изменилась ваша речь за двадцать лет! У вас и «совесть», и «душа», и «поруганные святыни»... А ну-ка бы ты эти словечки произнёс в твоём святом комсомоле в двадцать седьмом году! А?.. Вы растлили всё молодое поколение России...

— Судя по тебе — да!

— ...А потом принялись за немцев, за поляков...

И дальше, и дальше они неслись, уже теряя расстановку доводов, связь мыслей последующих и предыдущих, совсем не видя и не ощущая этого коридора, где оставалось только два остобеселых шахматиста за доской да непродорно кашляющий старый куряка-кузнец и где так видны были их встревоженные размахивания рук, воспламенённые лица да под углом друг к другу выставленные большая чёрная борода и аккуратненькая белокурая.

— Глеб!..

— Глеб!.. — наперебой позвали они, увидев, как с лестницы от уборной вышли Спиридон и Нержин.

Они звали Глеба, каждый в нетерпеливом ожидании удвоить свою численность. Но он и сам уже направлялся к ним, в тревоге от их возгласов и размахивания. Даже и не слыша ни слова со стороны, и дурак бы догадался, что тут завелись о большой политике.

Нержин подошёл к ним быстро и прежде, чем они в один голос спросили его о чём-то противоположном, ударил каждого кулаком в бок:

— Разум! Разум!

Таков был их тройной уговор на случай горячки спора, чтобы каждый останавливал двух других при угрозе стукачей — и те обязаны подчиниться.

— Вы с ума сошли? Вы уже намотали себе по *катушке*! Мало? Дмитрий! Подумай о семье!

Но не только развести их миролюбно — их и пожарной кишкой нельзя было сейчас разлить.

— Ты слушай! — тряс его Сологдин за плечо. — Он наших страданий ни во что не ставит, они все — *закономерны*! Единственные страдания он признаёт — негров на плантациях!

— А я уж на это Лёвке говорил: тётушка Федосевна до чужих милосерда, а дома не евши сидят.

— Какая узость! Ты не́ интернационалист! — воскликнул Рубин, глядя на Нержина как на пойманного карманника. — Ты послушал бы, что он тут плёл: императорская власть была благодеянием для России! Все завоевания, все мерзости, проливы, Польша, Средняя Азия...

— Моё мнение, — решительно присудил Нержин: — для спасения России давно надо освободить все колонии! Усилия нашего народа направить только на внутреннее развитие!

— Мальчишка! — жёлчно воскликнул Сологдин. — Вам волю дай — вы всю землю отцов растрясёте... Ты ему скажи — сто́ит полгроша их комсомольская романтика? Как они учили крестьянских детей доносить на родителей! Как они корки хлеба не давали проглотить тем, кто хлеб этот вырастил! И ещё смеет он мне тут заикаться о добродетели!

— Уж бульно ты благороден! Ты считаешь себя христианином? А ты никакой не христианин!

— Не святохульничай! Не касайся, чего не понимаешь!

— Ты думаешь, если ты не вор и не стукач — этого достаточно для христианина? А где твоя любовь к ближнему? Правильно про вас сказано: которая рука крест кладёт — та и нож точит. Ты не зря восхищаешься средневековыми бандитами! Ты — типичный конквистадор!

— Ты мне льстишь! — откинулся Сологдин, красуясь.

— Льщу? Ужас, ужас! — Рубин запустил пальцы обеих рук в свои редеющие волосы. — Глеб, ты слышишь? Скажи ему: всегда он в позе! Надоела его поза! Вечно он корчит Александра Невского!

— А вот это мне — совсем не лестно!

— То есть как?

— Александр Невский для меня — совсем не герой. И не святой. Так что это — не похвала.

Рубин стих и недоумело переглянулся с Нержиным.

— Чем же ето тебе не угодил Александр Невский? — спросил Глеб.

— Тем, что он не допустил рыцарей в Азию, католичество — в Россию! Тем, что он был против Европы! — ещё тяжело дышал, ещё бушевал Сологдин.

— Это что-то ново!.. Это что-то ново!.. — приступал Рубин с надеждой нанести удар.

— А зачем России — католичество? — доведывался Нержин с выражением судьи.

— За-тем!! — блеснул молнией Сологдин. — Затем, что все народы, имевшие несчастье быть православными, поплатились несколькими веками рабства! Затем, что православная церковь не могла противостоять государству! Безбожный народ был беззащитен! И получилась косопузая страна. Страна рабов!

Нержин лупал глазами:

— Нич-чего не понимаю. Не ты ли сам меня корил, что я — недостаточный патриот? И — землю отцов растрясёте?..

Но Рубин уже видел, где у врага обнажилось незащищённое место.

— А как же — святая Русь? — спешил он. — А Язык Предельной Ясности? А защита от птичьих слов?

— Да, в самом деле? Как же Язык Предельной Ясности, если — косопузая?

Сологдин сиял. Он покрутил кистями отставленных рук:

— Иг-ра, господа! Игра!! Упражнение под закрытым забралом! Ведь надо же упражняться! Мы обязаны постоянно преодолевать сопротивление. Мы — в постоянной тюрьме, и надо казаться как можно дальше от своих истинных вз́глядов. Одна из девяти сфер, я тебе говорил...

— Ошарий...

— Нет, сфер!

— Так ты и в этом лицемерил! — новым огнём подхватился Рубин. — Страна вам плоха! А не вы, богомольцы и прожигатели жизни, довели её до Ходынки, до Цусимы, до Августовских лесов?

— Ах, уже за Россию вы болеете, убийцы? — ахнул Сологдин. — А не вы её з а р е з а л и в семнадцатом году?

— Разум! Разум! — ударил их Глеб обоих кулаками в бока. Но спорщики не только не очнулись, они даже не заметили, через красную пелену они уже не видели его.

— Ты думаешь, тебе коллективизация когда-нибудь простится?

— Ты вспомни, что рассказывал в Бутырках! Как ты жил с единственной целью сорвать миллион! Зачем тебе миллион для Царства Небесного?

Они два года уже знали друг друга. И теперь всё узнанное друг о друге в задушевных беседах старались обернуть самым обидным, самым уязвляющим способом. Они всё припоминали сейчас и швыряли обвинительно.

— Ну, а не понимаете человеческого языка — наматывайте, наматывайте, — крякнул Нержин.

И, махнув рукой, ушёл. Он утешал себя, что в коридорах никого и в комнатах спят.

— Позор! Ты растлитель душ! Твои питомцы возглавляют волсточную Германию!

— Мелкий честолюбец! Как ты гордишься своей дворянской кровишкой!

— Раз Шишкин-Мышкин вершат правое дело — почему им не помочь, не *постучать*, скажи?.. И Шикин напишет тебе хорошую характеристику! И твоё дело пересмотрят...

— За такие слова морду бьют!

— Нет, почему ж, рассудим! Поскольку мы все сидим — верно, только ты один — неверно, и значит тюремщики правы... Это только последовательно!

Они бессвязно перебранивались, уже почти не слыша друг друга. Каждый высматривал и преследовал одно: найти бы такое место, куда побольнее ударить.

— Посмотри, как ты залгался! всё на лжи! А вещаешь так, будто не выпускал из рук распятия!..

— Вот ты не захотел спорить о гордости в жизни человека, а тебе очень бы надо гордости подзанять. Каждый год два раза суёшь им просьбы о помиловании...

— Врёшь, не о помиловании, о пересмотре!

— Тебе отказывают, а ты всё клянчишь. Ты как собачёнка на цепи — над тобой силён, у кого в руках цепь.

— А ты бы не клянчил? У тебя просто нет возможности получить свободу. А то бы на брюхе пополз!

— Никогда! — затрясся Сологдин.

— А я тебе говорю! Просто у тебя способностей не хватает отличиться!

Они истязали друг друга до измождения. Никак не мог бы сейчас представить Иннокентий Володин, что имеет влияние на его судьбу

нудный изматывающий ночной спор двух арестантов в одиноком запертом здании на окраине Москвы.

Оба хотели быть палачами, но были жертвами в этом споре, где спорили, собственно, уже не они, потерявшие ведущие нити, — а два истребительных разноимённых потенциала.

Именно эти потенциалы они и ощущали друг в друге отчётливо, безошибочно — вчерашних или завтрашних слепых безумных победителей, непробиваемо-бесчувственных к доводам рассудка, как эти тюремные стены.

— Нет, ты скажи мне: если ты всегда так думал — как ты мог вступить в комсомол? — почти рвал на себе волосы Рубин.

И второй раз за полчаса Сологдин от крайнего раздражения раскрылся без надобности:

— А как мне было *не* вступить? Разве вы оставляли возможность не вступить? Не был бы я комсомольцем — как ушей бы мне не видать института! Глину копать!

— Так ты притворялся? Ты подло извивался!

— Нет! Я просто шёл на вас под закрытым забралом!

— Так если будет война, — у сражённого последней догадкою Рубина даже сдавило грудь, — и ты дотянешься до оружия...

Сологдин выпрямился, скрещая руки, и отстранился как от проказы:

— Неужели ты думаешь — я защищал бы в а с?

— Это — кровью пахнет! — сжал Рубин кулаки, волосатые у кистей.

Говорить дальше или даже душить, или даже бить друг друга кулаками — всё было слишком слабо. После сказанного надо было хватать автоматы и строчить, ибо только такой язык мог понять второй из них.

Но автоматов не было.

И они разошлись, задыхаясь — Рубин с опущенной, Сологдин — со вскинутой головой.

Если раньше Сологдин мог колебаться, то теперь-то с наслаждением влепит он удар этой своре: не давать им шифратора! не давать! Не катить же и тебе их проклятой колесницы! Ведь потом не докажешь, как они были слабы и бездарны! Нагалдят, нагудят, назвенят, что всё — от *закономерности*, что быть иначе не могло. Они свою историю пишут, не упускают! все внутренности в ней переворачивают.

Рубин отошёл в угол и сжал в ладонях стучащую волнами боли голову. Ему прояснялся тот единственный сокрушительный удар, который он мог нанести Сологдину и всей их своре. Ничем другим их не проберёшь, меднолобых! Никакими фактическими доводами и историческими оправданиями потом не будешь перед ними прав! Атомную бомбу! — вот это одно они поймут. Перемочь болезнь,

слабость, нежелание — и завтра с раннего утра припасть, принюхаться к следу этого анонима-негодяя, спасти атомную бомбу для Революции.

Петров! — Сяговитый! — Володин! — Щевронок! — Заварзин!

70

Уже заполночь Иннокентий и Дотнара возвращались домой в такси.

На пустеющие улицы, забеляя огляд на дома, густо падал снег. Он опускался спокойствием и забвением.

Та ответная теплота к жене, вызванная сегодня в доме тестя её внезапной покорностью, та теплота не минула и сейчас, за кромою глаз людских. Дотти непринуждённо переполаскивала — о том и о тех, кто был на вечере, о трудностях и надеждах с клариным замужеством, — Иннокентий дружелюбно слушал её.

Он отдыхал. Он отдыхал от невмещаемого напряжения этих суток, и почему-то ни с кем бы не было ему так хорошо отдыхать сейчас, как с этой любленой, опостылой, клятой, брошенной, изменившей женщиной, и всё равно неотъёмной, и всё равно содорожницей.

Он нерассудно обнял её вокруг плеч.

Ехали так.

Им самим же отвергнутые касания этой женщины сейчас опять заныли в нём.

Он покосился. Покосился на её губы. На эти единственные, слияние с которыми можно длить, и длить, и длить — и не пресыщает. Были поводы Иннокентию узнать, что так бывает редко, почти никогда. Были поводы ему узнать, что не соединяется в одной женщине всё, что хотели бы мы. Губы, волосы, плечи, кожу и ещё многое надо было бы по частям, по частям собирать из разных в одну, как природа не хочет делать. А ещё собирать — душевные движения, и нрав, и ум, и обычай.

Можно простить Дотти, что не всем она одарена. Ни у кого нет всего. У неё есть немало.

Вдруг вошла ему такая мысль: что, если б эта женщина никогда бы не была его женой, ни любовницей, а заведомо принадлежала другому, но вот так он обнял бы её в автомобиле, и она покорно ехала бы к нему домой — что б он к ней сейчас испытывал?

Почему тогда он бы не ставил ей в вину, что она побывала в чужих руках, и во многих? А если это его жена — то оскорбительно?

Но дикое и презренное он ощущал в себе то, что вот такая, по-

порченная, она ещё гибельней его к себе тянула. Он почувствовал это сейчас.

И снял руку.

Конечно, всё было легче, чем думать, как за ним охотятся. Как, может быть, дома ждёт его сейчас засада. На лестничной клетке. Или даже в самой квартире — ведь *им* нетрудно открыть, войти.

Он даже ясно, уверенно представил: именно так! уже затаились в квартире и ждут. И как только он откроет — выскочат в коридор из комнат и схватят.

Может быть, последние минуты его вольной жизни и были — эти покойные минуты на заднем сиденьи в обнимку с Дотти, не подозревающей ничего.

Может быть, пришла всё-таки пора сказать ей что-то?

Он посмотрел на неё с жалостью, даже с нежностью, — а Дотти сейчас же вобрала этот взгляд, и верхняя губа её мило вздрогнула, по-оленьи...

Но что б он мог ей в трёх словах сказать — и даже не при таксёре, уже разочтясь? Что не надо путать отечества и правительства?.. Что такое надчеловеческое оружие преступно допускать в руки шального режима? Что нашей стране совсем не надобно военной мощи — и вот тогда мы только и будем ж и т ь?

Этого почти никто не поймёт среди власти. Не поймут академики! — особенно те, кто сами кропают эту бомбочку. Что же способна понять разряженная и жадная к вещам жена дипломата?

Ещё он сам себе напомнил эту неуклюжую манеру Дотти — разрушить всё настроение задушевного разговора каким-нибудь неуместным, неверным, грубым замечанием. Нет у неё тонкости, никогда не было — и как же человеку узнать о том, чего никогда у него не было?..

В лифте он не смотрел ей в лицо. Ничего не сказал на площадке. Открыл одним ключом, вставил поворачивать английский, естественно отступил пропустить её вперёд — а пропускал-то в капкан! — но, может, лучше, что её первую? она ничего не теряет, а он увидит и... — нет, не побежит, но пять секунд лишних будет думать!..

Дотти вошла, зажгла свет.

Никто не кинулся. Не висело чужих шинелей. Не было чужих небрежных следов на полу.

Впрочем, это ещё ничего не доказывало. Ещё все комнаты надо осмотреть.

Но уже сердце верило, что нет никого! Сейчас — на засов, на другой засов! И ни за что не открывать! — спят, нету...

Распахивалась тёплая безопасность.

И соучастницей безопасности и радости была Дотти.

Он благодарно помог ей снять пальто.

А она наклонила перед ним голову, так, что он затылок видел её, этот особенный узор волос, и вдруг сказала с покаянной внятностью:

— Побей меня. Как мужик бабу бьёт... Побей хорошенько.

И — посмотрела, в полные глаза. Она не шутила нисколько. Даже был признак плача, только особенный, её: она не плакала вольным потоком, как все женщины, а лишь единожды чуть смачивались глаза и тут же высыхали, чрезмерно высыхали, до тёмной пустоты.

Но Иннокентий — не был мужик. Он не готов был бить жену. Даже не задумывался, что это вообще можно.

Он положил ей руки на плечи:

— Зачем ты бываешь такой грубой?

— Я бываю грубой, когда мне очень больно. Я сделаю больно другому и за этим спрячусь. Побей меня.

Так и стояли беспомощно.

— Вчера и сегодня мне так тяжело, мне так тяжело... — пожаловался Иннокентий.

— Знаю, — уже поднимаясь от раскаяния к праву, прошептала сочными, сочными, сочными губами Дотти. — А я тебя сейчас успокою.

— Вряд ли, — жалко усмехнулся он. — Это не в твоей власти.

— Всё в моей, — глубокозвучно внушала она, и Иннокентий стал верить. — На что ж бы моя любовь годилась, если б я не могла тебя успокоить?

И уже Иннокентий погрузился в её губы, возвращаясь в любимое прежнее.

И постоянный перехват угрозы в душе отпускал и поворачивался в другой перехват, сладкий.

Они пошли через комнаты, не разъединяясь и забыв искать засаду.

И погружённый в тёплую материнскую вселенную, Иннокентий больше не зяб.

Дотти окружала его.

71

И наконец шарашка спала.

Спали двести восемьдесят зэков при синих лампочках, уткнувшись в подушку или откинувшись на неё затылком, бесшумно дыша, отвратительно храпя или бессвязно выкрикивая, сжавшись для пригрева или разметавшись от духоты. Спали на двух этажах здания и ещё на двух этажах коек, видя во сне: старики — родных, молодые — жен-

щин, кто — пропажи, кто — поезд, кто — церковь, кто — судей. Сны были разные, но во всех снах спящие тягостно помнили, что они — арестанты, что если они бродят по зелёной траве или по городу, то они сбежали, обманули, случилось недоразумение, за ними погоня. Того полного счастливого забытья от оков, которое выдумал Лонгфелло во «Сне невольника», — не было им дано. Сотрясенье незаслуженного ареста и десяти- и двадцатипятилетнего приговора, и лай овчарок, и молотки конвойных, и терзающий звон лагерного подъёма — просочились к их костям сквозь все наслоения жизни, сквозь все инстинкты вторичные и даже первичные, так что спящий арестант сперва помнит, что он в тюрьме, а потом только ощущает жжение или дым и встаёт на пожар.

Спал разжалованный Мамурин в своей одиночке. Спала отдыхающая смена надзирателей. Равно спала и смена надзирателей бодрствующая. Дежурная фельдшерица в медпункте, весь вечер сопротивлявшаяся лейтенанту с квадратными усиками, недавно уступила, и теперь оба они тоже спали на узком диване в санчасти. И, наконец, поставленный в главной лестничной клетке у железных окованных врат в тюрьму серенький маленький надзиратель, не видя, чтоб его приходили проверять, и тщетно позуммерив в полевой телефон, — тоже заснул, сидя, положив голову на тумбочку, и не заглядывал больше, как должен был, сквозь окошечко в коридор спецтюрьмы.

И, потайно подстережа этот глубокий ночной час, когда марфинские тюремные порядки перестали действовать, — двести восемьдесят первый арестант тихо вышел из полукруглой комнаты, жмурясь на яркий свет и попирая сапогами густо набросанные окурки. Сапоги он натянул кой-как, без портянок, был в истрёпанной фронтовой шинели, наброшенной сверх нижнего белья. Мрачная чёрная борода его была всклочена, редеющие волосы с темени спадали в разные стороны, лицо выражало страдание.

Напрасно пытался он уснуть! Он встал теперь, чтобы ходить по коридору. Он не раз уже применял это средство: так развеивалось его раздражение и утишались палящая боль в затылке и распирающая боль около печени.

Но хотя он вышел ходить, — по своей привычке книжника он захватил из комнаты и пару книг, в одну из которых был вложен рукописный черновик «Проекта Гражданских Храмов» и плохо отточенный карандаш. Всё это, и коробку лёгкого табака и трубку положив на длинном нечистом столе, Рубин стал равномерно ходить взад и вперёд по коридору, руками придерживая шинель.

Он сознавал, что и всем арестантам несладко — и тем, кто посажен ни за что, и даже тем, кто — враг и посажен врагами. Но своё положение здесь (да ещё Абрамсона) он понимал трагичным в аристотелевском смысле. Из тех самых рук он получил удар, которые

больше всего любил. За то посажен он был людьми равнодушными и казёнными, что любил общее дело до неприличия глубоко. И тюремным офицерам, и тюремным надзирателям, выражавшим своими действиями вполне верный, прогрессивный закон, — Рубин по трагическому противоречию должен был каждый день противостоять. А товарищи по тюрьме, напротив, не были ему товарищами и во всех камерах упрекали его, бранили его, чуть ли не кусали — из-за того, что они видели только своё горе и не видели великой Закономерности. Они задирали его не ради истины, а чтобы выместить на нём, чего не могли на тюремщиках. Они травили его, мало заботясь, что каждая такая схватка выворачивала его внутренности. А он в каждой камере, и при каждой новой встрече, и при каждом споре обязан был с неистощимою силой и презирая их оскорбления, доказывать им, что в больших числах и в главном потоке всё идёт так, как надо, что процветает промышленность, изобилует сельское хозяйство, бурлит наука, играет радугою культура. Каждая такая камера, каждый такой спор был участок фронта, где Рубин один мог отстаивать социализм.

Его противники часто выдавали свою многочисленность в камерах за то, что они — народ, а Рубины — одиночки. Но всё в нём знало, что это — ложь! Народ был — вне тюрьмы и вне колючей проволоки. Народ брал Берлин, встречался на Эльбе с американцами, народ тёк демобилизационными поездами к востоку, шёл восстанавливать ДнепроГЭС, оживлять Донбасс, строить заново Сталинград. Ощущение единства с миллионами и утверждало Рубина в одинокой спёртой камерной борьбе против десятков.

Рубин постучал в стеклянное окошечко железных врат — раз, два, а в третий раз сильно. На третий раз лицо заспанного серенького вертухая поднялось к окошечку.

— Мне плохо, — сказал Рубин. — Нужен порошок. Отведите к фельдшеру.

Надзиратель подумал.

— Ладно, позвоню.

Рубин продолжал ходить.

Он был фигурой вообще трагической.

Он раньше всех, кто сидел здесь теперь, переступил тюремный порог.

Двоюродный взрослый брат, перед которым шестнадцатилетний Лёвка преклонялся, поручил ему спрятать типографский шрифт. Лёвка схватился за это восторженно. Но не уберёгся соседского мальчишки. Тот подглядел и *завалил* Лёвку. Лёвка не выдал брата — он сплёл историю, что нашёл шрифт под лестницей.

Одиночка харьковской *внутрянки*, двадцать лет назад, представилась Рубину, всё так же мерно, топтальной поступью расхаживающему по коридору.

Внутрянка построена по американскому образцу — открытый многоэтажный колодец с железными этажными переходами и лесенками, на дне колодца — регулировщик с флажками. По тюрьме гулко разносится каждый звук. Лёвка слышит, как кого-то с грохотом волокут по лестнице, — и вдруг раздирающий вопль потрясает тюрьму:

— Товарищи! Привет из холодного карцера! Долой сталинских палачей!

Его бьют (этот особенный звук ударов по мягкому!), ему зажимают рот, вопль делается прерывистым и смолкает — но триста узников в трёхстах одиночках бросаются к своим дверям, колотят и истошно кричат:

— Долой кровавых псов!

— Рабочей крови захотелось?

— Опять царя на шею?

— Да здравствует ленинизм!..

И вдруг в каких-то камерах исступлённые голоса начинают:

Вставай, проклятьем заклеймённый...

И вот уже вся незримая гуща арестантов гремит до самозабвения:

Это есть наш последний
И решительный бой!..

Не видно, но у многих поющих, как и у Лёвки, должны быть слёзы восторга на глазах.

Тюрьма гудит разбереженным ульем. Кучка тюремщиков с ключами затаилась на лестницах в ужасе перед бессмертным пролетарским гимном...

Какие волны боли в затылок! Что за распиранье в правом подвздошьи!

Рубин снова постучал в окошко. По второму стуку высунулось заспанное лицо того же надзирателя. Отодвинув рамку со стеклом, он буркнул:

— Звонил я. Не отвечают.

И хотел задвинуть рамку, но Рубин не дал, ухватясь рукой:

— Так сходите ногами! — с мучительным раздражением прикрик-

нул он. — Мне п л о х о, понимаете? Я не могу спать! Вызовите фельдшера!

— Ну, ладно, — согласился вертухай.

И задвинул форточку.

Рубин снова стал ходить, всё так же безнадёжно отмеривая заплёванное, замусоренное пространство прокуренного коридора и так же мало подвигаясь в ночном времени.

И за образом харьковской внутрянки, которую он вспоминал всегда с гордостью, хотя эта двухнедельная одиночка висела потом над всеми его анкетами и всей его жизнью и отяготила его приговор сейчас, вступили в память воспоминания — скрываемые, палящие.

...Как-то вызвали его в парткабинет Тракторного. Лёва считал себя одним из создателей завода: он работал в редакции его многотиражки. Он бегал по цехам, воодушевлял молодёжь, накачивал бодростью пожилых рабочих, вывешивал «молнии» об успехах ударных бригад, о прорывах и разгильдяйстве.

Двадцатилетний парень в косоворотке, он вошёл в парткабинет с той же открытостью, с которой случилось ему как-то войти и в кабинет секретаря ЦК Украины. И как там он просто сказал: «Здравствуй, товарищ Постышев!» — и первый протянул ему руку, так сказал и здесь сорокалетней женщине со стрижеными волосами, повязанными красной косынкой:

— Здравствуй, товарищ Пахтина! Ты вызывала меня?

— Здравствуй, товарищ Рубин, — пожала она ему руку. — Садись.

Он сел.

Ещё в кабинете был третий человек, нерабочий тип, в галстуке, костюме, жёлтых полуботинках. Он сидел в стороне, просматривал бумаги и не обращал внимания на вошедшего.

Кабинет парткома был строг, как исповедальня, выдержан в пламенно-красных и деловых чёрных тонах.

Женщина стеснённо, как-то потухло, поговорила с Лёвой о заводских делах, всегда ревностно обсуждаемых ими. И вдруг, откинувшись, сказала твёрдо:

— Товарищ Рубин! Ты должен разоружиться перед партией!

Лёва был поражён. Как? Он ли не отдаёт партии всех сил, здоровья, не отличая дня от ночи?

Нет! Этого мало.

Но что ж ещё?!

Теперь вежливо вмешался тот тип. Он обращался на «вы» — и это резало пролетарское ухо. Он сказал, что надо честно и до конца рассказать всё, что известно Рубину об его женатом двоюродном брате: правда ли, что тот состоял прежде активным членом подпольной троцкистской организации, а теперь скрывает это от партии?..

И надо было сразу что-то говорить, а они вперились в него оба...

Глазами именно этого брата учился Лёва смотреть на революцию. Именно от него он узнавал, что не всё так нарядно и беззаботно, как на первомайских демонстрациях. Да, Революция была весна — потому и грязи было много, и партия хлюпала в ней, ища скрытую твёрдую тропу.

Но ведь прошло четыре года. Но ведь смолкли уже споры в партии. Не то, что троцкистов — уже и бухаринцев начали забывать. Всё, что предлагал расколоучитель и за что был выслан из Союза, — Сталин теперь ненаходчиво, рабски повторял. Из тысячи утлых «лодок» крестьянских хозяйств добро ли, худо ли, но сколотили «океанский пароход» коллективизации. Уже дымили домны Магнитогорска, и тракторы четырёх заводов-первенцев переворачивали колхозные пласты. И «518» и«1040»* были уже почти за плечами. Всё объективно свершалось во славу Мировой Революции — и стоило ли теперь воевать из-за звуков имени того человека, которым будут названы все эти великие дела? (И даже новое это имя Лёвка заставил себя полюбить. Да, он уже любил Его!) И за что бы было теперь арестовывать, мстить тем, кто спорил прежде?

— Я не знаю. Никогда он троцкистом не был, — отвечал язык Лёвки, но рассудок его воспринимал, что, говоря по взрослому, без чердачной мальчишеской романтики, — запирательство было уже ненужным.

Короткие энергичные жесты секретаря парткома. Партия! Не есть ли это высшее, что мы имеем? Как можно запираться... перед Партией?! Как можно не открыться... Партии?! Партия не карает, она — наша совесть. Вспомни, что говорил Ленин...

Десять пистолетных дул, уставленных в его лицо, не запугали бы Лёвку Рубина. Ни холодным карцером, ни ссылкою на Соловки из него не вырвали бы истины. Но перед Партией?! — он не мог утаиться и солгать в этой чёрно-красной исповедальне.

Рубин открыл — когда, где состоял брат, что́ делал.

И смолкла женщина-проповедник.

А вежливый гость в жёлтых полуботинках сказал:

— Значит, если я правильно вас понял... — и прочёл с листа записанное.

— Теперь подпишитесь. Вот здесь.

Лёвка отпрянул:

— Кто вы?? Вы — не Партия!

— Почему не партия? — обиделся гость. — Я тоже член партии. Я — следователь ГПУ.

* 518 новых строек первой пятилетки и 1040 новых МТС — известный частый лозунг того времени.

Рубин снова постучал в окошко. Надзиратель, явно оторванный ото сна, просопел:

— Ну, чего стучишь? Сколь раз звонил я — не отвечают.

Глаза Рубина стали горячими от негодования:

— Я вас с х о д и т ь просил, а не звонить! Мне с сердцем плохо!! Я умру может быть!

— Не умрё-ошь, — примирительно и даже сочувственно протянул вертухай. — До утра-то дотянешь. Ну, сам посуди — как же я уйду, а пост брошу?

— Да какой идиот ваш пост возьмёт! — крикнул Рубин.

— Не в том, что возьмёт, а устав запрещает. В армии — служил?

Рубину так сильно било в голову, что он и сам едва не поверил, что сейчас может кончиться. Видя его искажённое лицо, надзиратель решился:

— Ну, ладно, отойди от волчка, не стучи. Сбегаю.

И, наверно, ушёл, Рубину показалось, что и боль чуть уменьшилась.

Он опять стал мерно ходить по коридору.

...А сквозь память тянулись воспоминания, которых забыть — значило исцелиться.

Вскоре после тюрьмы, заглаживая вину перед комсомолом и спеша самому себе и единственно-революционному классу доказать свою полезность, Рубин с маузером на боку поехал коллективизировать село.

Три версты босиком убегая и отстреливаясь от взбешенных мужиков, что́ тогда видел в этом? «Вот и я захватил гражданскую войну». Только.

Разумелось само собой! — разрывать ямы с закопанным зерном, не давать хозяевам молоть муки и печь хлеба, не давать им набрать воды из колодца. И если дитё хозяйское умирало — подыхайте вы, злыдни, и со своим дитём, а хлеба испечь — не дать. И не исторгала жалости, а привычна стала, как в городе трамвай, эта одинокая телега с понурой лошадью, на рассвете идущая затаённым мёртвым селом. Кнутом в ставенку:

— Покойники е́? Выно́сьтэ.

И в следующую ставенку:

— Покойники е? Выносьтэ.

А скоро и так:

— Э! Чи тут е живы́?

А сейчас вжато в голову. Врезано калёной печатью. Жжёт. И чудится иногда: раны тебе — за это! Тюрьма тебе — за это! Болезни тебе — за это!

Пусть. Справедливо. Но если понял, что это было ужасно, но если никогда бы этого не повторил, но если уже отплачено? — как

это счистить с себя? Кому бы сказать: о, этого не было! Теперь будем считать, что этого не было! Сделай так, чтоб этого не было!..

Чего не выматывает бессонная ночь из души печальной, ошибавшейся?..

На этот раз сам надзиратель отодвинул форточку. Он решился-таки бросить пост и сходить в штаб. Оказалось, там все спали — и некому было взять трубку на зуммер. Разбуженный старшина выслушал его доклад, выругал за уход с поста и, зная, что фельдшерица спит с лейтенантом, не осмелился их будить.

— Нельзя, — сказал надзиратель в форточку. — Сам ходил, докладывал. Говорят — нельзя. Отложить до утра.

— Я — умираю! Я — умираю! — хрипел ему Рубин в форточку. — Я вам форточку разобью! Позовите сейчас дежурного! Я голодовку объявляю!

— Чего — голодовку? Тебя кто кормит, что ли? — рассудительно возразил вертухай. — Утром завтрак будет — там и объявишь... Ну, походи, походи. Я старшине еще назвоню.

Никому из сытых своею службой и зарплатой рядовых, сержантов, лейтенантов, полковников и генералов не было дела ни до судьбы атомной бомбы, ни до издыхающего арестанта.

Но издыхающему арестанту надо было стать выше этого!

Превозмогая дурноту и боль, Рубин всё так же мерно старался ходить по коридору. Ему припомнилась басня Крылова «Булат». Басня эта на воле проскользнула мимо его внимания, но в тюрьме поразила.

Булатной сабли острый клинок
Заброшен был в железный хлам;
С ним вместе вынесен на рынок
И мужику задаром продан там.

Мужик же Булатом драл лыки, щепал лучину. Булат стал весь в зубцах и ржавчине. И однажды Ёж спросил Булата в избе под лавкой, не стыдно ли ему? И Булат ответил Ежу так, как сотни раз мысленно отвечал сам Рубин:

Нет, стыдно то не мне, а стыдно лишь тому,
Кто не умел понять, к чему я годен!..

72

В ногах ощутилась слабость, и Рубин подсел к столу, привалился грудью к его ребру.

Как ни ожёсточенно он отвергал доводы Сологдина, — тем больней было ему их слышать, что он знал долю справедливости в них.

Да, есть комсомольцы, недостойные картона, истраченного на их членский билет. Да, особенно среди новейших поколений устои добродетели пошатнулись, люди теряют ощущение поступка нравственного и поступка красивого. Рыба и общество загнивают с головы, — с кого брать пример молодёжи?

В старых обществах знали, что для нравственности нужна церковь и нужен авторитетный поп. Ещё и теперь какая польская крестьянка предпримет серьёзный шаг в жизни без совета ксёндза?

Быть может, сейчас для советской страны гораздо важнее Волго-Донского канала или Ангарстроя — спасать людскую нравственность!

Как это сделать? Этому послужит «Проект о создании гражданских храмов», уже вчерне подготовленный Рубиным. Нынешней ночью, пока бессонница, надо его окончательно отделать, затем при свидании постараться передать на волю. Там его перепечатают и пошлют в ЦК партии. За своей подписью послать нельзя — в ЦК обидятся, что такие советы им даёт политзаключённый. Но нельзя и анонимно. Пусть подпишется кто-нибудь из фронтовых друзей — славой автора Рубин охотно пожертвует для хорошего дела.

Перемогая волны боли в голове, Рубин набил трубку «золотым руном» — по привычке, так как курить ему сейчас не только не хотелось, но было отвратно, — задымил и стал просматривать проект.

В шинели, накинутой поверх белья, за голым плохо-оструганным столом, пересыпанным хлебными крошками и табачным пеплом, в спёртом воздухе неметенного коридора, через который там и сям иногда поспешно пробегали по ночным надобностям полусонные зэки, — безымянный автор просматривал свой бескорыстный проект, набросанный на многих листах торопливым разгонистым почерком.

В преамбуле говорилось о необходимости ещё выше поднять и без того высокую нравственность населения, придать больше значительности революционным, гражданским годовщинам и семейным событиям — обрядной торжественностью актов. А для того повсеместно основать Гражданские Храмы, величественные по архитектуре и господствующие над местностью.

Затем по разделам, а разделы дробились на параграфы, не очень надеясь на головы начальства, излагалась организационная сторона: в населённых пунктах какого масштаба или из расчёта на какую территориальную единицу строятся гражданские храмы; какие именно даты отмечаются там; продолжительность отдельных обрядов. Вступающих в совершеннолетие предлагалось при массовом стечении народа приводить группами к особой присяге по отношению к партии, отчизне и родителям.

В проекте особенно настаивалось, что одежды служителей храмов

должны быть необычны, и выражать белоснежную чистоту своих носителей. Что обрядовые формулы должны быть ритмически рассчитаны. Что воздействием ни на какой орган чувств посетителей храмов не следует пренебрегать: от особого аромата в воздухе храма, от мелодичной музыки и пенья, от использования цветных стёкол и прожекторов, от художественной стенной росписи, способствующей развитию эстетических вкусов населения, — до всего архитектурного ансамбля храма.

Каждое слово проекта приходилось мучительно, утончённо выбирать из синонимов. Недалёкие поверхностные люди могли бы из неосторожного слова вывести, что автор попросту предлагает возродить христианские храмы без Христа — но это глубоко не так! Любители исторических аналогий могли бы обвинить автора в повторении робеспьеровского культа Верховного Существа — но, конечно, это совсем, совсем не то!!

Самым же своеобразным в проекте автор считал раздел о новых... не священниках, но, как они там именовались, — служителях храмов. Автор считал, что ключ к успеху всего проекта состоит в том, насколько удастся или не удастся создать в стране корпус таких служителей, пользующихся любовью и доверием народа за свою совершенно безупречную некорыстную жизнь. Предлагалось партийным инстанциям произвести подбор кандидатов на курсы служителей храмов, снимая их с любой ныне исполняемой работы. После того, как схлынет первая острота нехватки, курсы эти, с годами всё удлиняясь и углубляясь, должны будут придавать служителям широкую образованность и особо включить в себя элоквенцию. (Проект бесстрашно утверждал, что ораторское искусство в нашей стране пришло в упадок — может быть из-за того, что не приходится никого убеждать, так как всё население и без того безоговорочно поддерживает своё родное государство.)

А что никто не приходил к заключённому, умирающему в неурочный час, не удивляло Рубина. Случаев подобных он довольно насмотрелся в контрразведках и на пересылках.

Поэтому, когда в дверях загремел ключ, Рубин первым толчком сердца испугался, что в глуби ночи его застают за неположенным занятием, за что последует прилипчивая нудная кара, он сгрёб свои бумаги, книгу, табак — и хотел скрыться в комнату, но поздно: коренастый грубомордый старшина заметил и звал его из раскрытых дверей.

И Рубин очнулся. И сразу опять ощутил всю свою покинутость, болезненную беспомощность и оскорблённое достоинство.

— Старшина, — сказал он, медленно подходя к помощнику дежурного, — я третий час подряд добиваюсь фельдшера. Я буду жаловаться в тюремное управление МГБ и на фельдшера и на вас.

Но старшина примирительно ответил:

— Рубин, никак нельзя было раньше, от меня не зависело. Пойдёмте.

От него, и правда, зависело только, дознавшись, что бушует не кто-нибудь, а один из самых зловредных зэков, решиться постучать к лейтенанту. Долго не было ему ответа, потом выглянула фельдшерица и опять скрылась. Наконец, лейтенант вышел, хмурясь, из медпункта, и разрешил старшине привести Рубина.

Теперь Рубин надел шинель в рукава и застегнулся, скрывая бельё. Старшина повёл его подвальным коридором шарашки, и они поднялись в тюремный двор по трапу, на который густо нападало пушничка. В картинно-тихой ночи, где щедрые белые хлопья не переставали падать, отчего мутные и тёмные места ночной глубины и небосклона казались прочерченными множеством белых столбиков, старшина и Рубин пересекли двор, оставляя глубокие следы в рассыпчато-воздушном снеге.

Здесь, под этим милым тучевым буро-дымчатым от ночного освещения небом, ощущая на поднятой своей бороде и на горячем лице детски-невинные прикосновения шестигранных прохладных звёздочек, — Рубин замер, закрыл глаза. Его пронизало наслаждение покоя, тем более острое, чем оно было кратче, — вся сила бытия, всё счастье никуда не идти, ничего не просить, ничего не хотеть — только стоять так ночь напролёт, замерев — блаженно, благословенно, как стоят деревья, ловить, ловить на себя снежинки.

И в этот самый миг с железной дороги, которая шла от Марфина меньше, чем в километре, донёсся долгий заливчатый паровозный гудок — тот особенный, одинокий в ночи, за душу берущий паровозный гудок, который в зените лет напоминает нам детство, оттого что в детстве так много обещал к зениту лет.

Даже полчаса вот так постоять — весь бы отошёл, выздоровел душой и телом и сложил бы нежное стихотворение — о ночных паровозных гудках.

Ах, если бы можно было не идти за конвоиром!..

Но конвоир уже с подозрением оглядывался: не задуман ли здесь ночной побег?

И ноги Рубина пошли, куда предписано было.

Фельдшерица порозовела от молодого сна, кровь играла на её щеках. Она была в белом халате, но повязанном, видимо, не поверх гимнастёрки и юбки, а налегке. Всякий арестант всегда и Рубин во всякое другое время сделал бы это наблюдение, но сейчас строй мыслей Рубина не снисходил до этой грубой бабы, промучившей его всю ночь.

— Прошу: тройчатку и что-нибудь от бессонницы, только не люминал, мне заснуть надо — сразу.

— От бессонницы ничего нет, — механически отказала она.

— Я-про-шу-вас! — внятно повторил Рубин. — Мне с утра делать работу для министра. А я уснуть не могу.

Упоминание о министре, да и соображение, что Рубин будет стоять и неотступно просить этот порошок (а по некоторым признакам она рассчитывала, что лейтенант к ней сейчас вернётся), подвигло фельдшерицу изменить своему обычаю и дать лекарство.

Она достала из шкафика порошки и заставила Рубина всё выпить тут же, не отходя (по тюремному медицинскому уставу всякий порошок рассматривался как оружие и не может быть выдан арестанту в руки, а только в рот).

Рубин спросил, который час, узнал, что уже половина четвёртого, и ушёл. Проходя опять двор и оглянувшись на ночные липы, озарённые снизу отсветом пятисот- и двухсотваттных ламп зоны, он глубоко-глубоко вдохнул воздух, пахнущий снегом, наклонился, полной жменею несколько раз захватил звёздчатого пушничка и им, невесомым, бестелесным, льдистым, отёр лицо, шею, набил рот.

И душа его приобщилась к свежести мира.

73

Дверь в столовую из спальни была непритворена, и ясно раздался один полновесный удар, в каких-то вторичных отзвуках не сразу погасший в стенных часах.

Половина какого это часа, Адаму Ройтману хотелось взглянуть на ручные, дружески тикавшие на тумбочке, но он боялся вспышкой света потревожить жену. Жена спала частью на боку, частью ничком, лицом уткнувшись в плечо мужа.

Они были женаты уже пятый год, но даже в полусознании он чувствовал в себе разлитие нежности оттого, что она рядом, что она как-нибудь смешно спит, грея меж его ног свои маленькие вечно мёрзнущие ступни.

Адам только что проснулся от нескладного сна. Хотел заснуть, но успели вспомниться последние вечерние новости, потом неприятности по работе, затолпились мысли, мысли, глаза размежились — установилась та ночная чёткость, при которой бесполезно пытаться уснуть.

Шум, топот и передвигание мебели, с вечера долго слышные над головой, в квартире Макарыгиных, давно уже стихли.

Там, где занавеси не сходились, из окна проступало слабое сероватое свечение ночи.

В ночном белье, плашмя, лишённый сна, Адам Вениаминович Ройтман не чувствовал той твёрдости положения и того подъёма над людьми, которые сообщались ему днём погонами майора МГБ и значком лауреата сталинской премии. Он лежал навзничь и, как всякий

простой смертный, ощущал, что мир многолюден, жесток и что жить в нём — нелегко.

Вечером, когда у Макарыгиных кипело веселье, к Ройтману зашёл один давнишний друг его, тоже еврей. Пришёл он без жены, озабоченный, и рассказывал о новых притеснениях, ограничениях, снятиях с работы и даже высылках.

Это не было ново. Это началось ещё прошлой весной, началось сперва в театральной критике и выглядело как невинная расшифровка еврейских фамилий в скобках. Потом переползло в литературу. В одной газетке-сплетнице, газетёнке-потаскухе, занятой чем угодно, кроме всего прямого дела — литературы, кто-то шепнул ядовитое словцо — *космополит*. И слово было найдено! Прекрасное гордое слово, объединявшее мир, слово, которым венчали гениев самой широкой души — Данте, Гёте, Байрона, — это слово в газетёнке слиняло, сморщилось, зашипело и стало значить — *жид*.

А потом поползло дальше, стыдливо стало прятаться в папках за закрытыми дверьми.

А теперь холодное преддыхание достигло уже и технических кругов. Ройтман, неуклонно и с блеском шедший к славе, ощутил, как пошатнулось его положение именно за последний месяц.

Да неужели изменяет память? Ведь в революцию и ещё долго после неё слово «еврей» было куда благонадёжнее, чем «русский». Русского ещё проверяли дальше — а кто были родители? а на какие доходы жили *до* семнадцатого года? Еврея не надо было проверять: евреи все были за революцию.

И вот... бич гонителя израильтян незаметно, скрываясь за второстепенными лицами, принимал Иосиф Сталин.

Когда группу людей травят за то, что они были раньше притеснителями, или членами касты, или за их политические взгляды, или за круг знакомств, — всегда есть разумное (или псевдо-разумное?) обоснование. Всегда знаешь, что ты сам выбрал свой жребий, что ты мог и не быть в этой группе. Но — национальность?..

(Внутренний ночной собеседник тут возразил Ройтману: но соцпроисхождения тоже не выбирали? А за него гнали.)

Нет, главная обида для Ройтмана в том, что ты от души хочешь быть *своим*, таким, как все, — а тебя не хотят, отталкивают, говорят: ты — чужой. Ты — непрякаянный. Ты — жид.

Очень неторопливо, с большим достоинством, стенные часы в столовой стали бить, но, отбив четыре, смолкли. Ройтман ждал пятого удара и обрадовался, что только четыре. Ещё успеет заснуть.

Он пошевелился. Жена хмыкнула во сне, перекатилась на другой бок, но и спиной инстинктивно прижалась к мужу.

И тихо-тихо спал сын в столовой. Никогда не вскрикнет, не позовёт.

Трехлетний умненький сын был гордостью молодых родителей.

Адам Вениаминович с восхищением рассказывал о его нравах и проделках даже заключённым в Акустической, по обычной нечувствительности счастливых людей не понимая, что им, лишённым отцовства, это больно. (Да это была тема удобная — сближающая, а вместе с тем нейтральная.) Сын бойко тараторил, но произношение его не установилось, он подражал днём — матери (она была волжанка и о́кала), а вечером отцу, пришедшему с работы (Адам же не только картавил, но имел в произношении досадные недостатки).

Как это бывает в жизни, если уж приходит счастье, то оно не знает краёв. Любовь и женитьба, потом рождение сына пришли к Ройтману вместе с концом войны и со сталинской премией. Впрочем, и войну он провёл безбедно: в тихой Башкирии на высоком пайке НКВД Ройтман и его нынешние приятели по Марфинскому институту конструировали первую систему телефонной шифрации. Сейчас та система кажется примитивной, тогда же они стали за неё лауреатами.

Как горячо они делали её! Куда девался теперь тот порыв, те поиски, те взлёты?

С проницательностью тёмного ночного бдения, когда неотвлекаемое зрение обращается вовнутрь, Ройтман вдруг понял сейчас — чего не хватало ему последние годы. Наверное, того не хватало, что делал он теперь всё — не сам.

Ройтман даже не заметил, когда и как он с роли творца сполз на роль начальника над творцами...

Как обожжённый, он отнял руку от жены, подмостил подушку повыше.

Да, да, да! это заманчиво, легко! — в субботу вечером, уезжая домой на полтора суток, когда сам уже охвачен ощущением домашнего уюта и воскресных семейных планов, — сказать: «Валентин Мартыныч! Так вы завтра продумайте, как нам устранить нелинейные искажения? Лев Григорьевич! Вы завтра пробежите эту статью из «Proceedings»? Тезисно основные мысли набросаете?» В понедельник утром, освежённый, он возвращается на работу — на столе у него, как в сказке, лежит по-русски резюме статьи из «Proceedings», а Прянчиков докладывает, как устранить нелинейные искажения, или даже уже устранил их за воскресенье.

Очень удобно!..

И заключённые не обижаются на Ройтмана, больше того — любят. Потому что держится он не как тюремщик их, а как просто хороший человек.

Но творчество, радость блеснувших догадок и горечь непредвиденных поражений — ушли от него!

Высвободясь от одеяла, он сел в кровати, руками охватил колени, поставил на них подбородок.

Чем же он был занят все эти годы? Интригами. Борьбой за пер-

венство в институте. С группой друзей они делали всё, чтоб опорочить и столкнуть Яконова, считая, что он заслоняет их своей маститостью, апломбом и получит сталинскую премию единолично. Пользуясь, что у Яконова подточенное прошлое, и поэтому в партию его не принимают, как он ни бьётся, «молодые» вели атаку через партийные собрания: ставили там его отчёт, потом просили его уйти, или тут же, при нём («голосуют только члены партии») обсуждали и выносили резолюцию. И всегда Яконов по партийным резолюциям оказывался виноват. Ройтману минутами даже было жалко его. Но не было другого выхода.

И как всё враждебно обернулось! В своей травле Яконова «молодые» и думать забыли, что среди них пятерых — четыре еврея. Сейчас Яконов не устаёт с каждой трибуны напоминать, что космополитизм — злейший враг социалистического отечества.

Вчера, после министерского гнева, в роковой день Марфинского института, заключённый Маркушев бросил мысль о слиянии систем клиппера и вокодера. Скорей всего это была чушь, но её можно было изобразить перед начальством как коренную реформу — и Яконов распорядился немедленно перетаскивать стойку вокодера в Семёрку и туда же перевести Прянчикова. Ройтман кинулся в присутствии Селивановского возражать, спорить, но Яконов снисходительно, как слишком горячего друга, похлопал Ройтмана по плечу:

— Адам Вениаминович! Не заставляйте замминистра подумать, что свои личные интересы вы ставите выше интересов Отдела Спецтехники.

В этом и был трагизм теперешней обстановки: били по морде — и нельзя было плакать! Душили средь бела дня — и требовали, чтобы ты аплодировал стоя!

Пробило сразу пять — он не слышал половины.

Спать не только не хотелось — уже и кровать начинала стеснять.

Очень осторожно, нога за ногой, Адам соскользнул с кровати, сунул ноги в туфли. Беззвучно обойдя стоявший на дороге стул, он подошёл к окну и больше расклонил шёлковые занавески.

О-о, сколько снегу напáдало!

Прямо через двор был самый дальний запущенный угол Нескучного Сада — овраг и крутые склоны его в снегу, поросшие торжественными убелёнными соснами. И вдоль оконных переплётов извне тоже прилегли к стеклу пушистые снежные откосики.

Но снегопад уже почти перешёл.

Коленям было горячевато от подоконных радиаторов.

И ещё почему он не успевал в науке за последние годы: его задёргали заседаниями, бумажками. Каждый понедельник — политучёба, каждую пятницу — техучёба, два раза в месяц — партсобрания, два раза — заседания партбюро, да ещё на два-три вечера в месяц вызывают в министерство, раз в месяц специальное совещание о бди-

тельности, ежемесячно составляй план научной работы, ежемесячно посылай отчёт о ней, раз в три месяца пиши зачем-то характеристики на всех заключённых (работы — на полный день). И ещё каждые полчаса подчинённые подходят с накладными — любой конденсаторишка величиной с ириску, каждый метр провода и каждая радиолампа должны получить визу начальника лаборатории, иначе их не выдадут со склада.

Ах, бросить бы всю эту волокиту и всю эту борьбу за первенство! — посидеть бы самому над схемами, подержать в руках паяльник, да в зеленоватом окошке электронного осциллографа поймать свою заветную кривую — будешь тогда беззаботно распевать «Буги-Вуги», как Прянчиков. В тридцать один год какое бы это счастье! — не чувствовать на себе гнетущих эполет, забыть о внешней солидности, быть себе как мальчишка — что-то строить, что-то фантазировать.

Он сказал себе — «как мальчишка» — и по капризу памяти вспомнил себя мальчишкой: с безжалостной ясностью в ночном мозгу всплыл глубоко забытый, много лет не вспоминавшийся эпизод.

Двенадцатилетний Адам в пионерском галстуке, благородно-оскорблённый, с дрожью в голосе стоял перед общешкольным пионерским собранием и обвинял, и требовал изгнать из юных пионеров и из советской школы — агента классового врага. До него выступали Митька Штительман, Мишка Люксембург, и все они изобличали соученика своего Олега Рождественского в антисемитизме, в посещении церкви, в чуждом классовом происхождении, и бросали на подсудимого трясущегося мальчика уничтожающие взоры.

Кончались двадцатые годы, мальчики ещё жили политикой, стенгазетами, самоуправлениями, диспутами. Город был южный, евреев было с половину группы. Хотя были мальчики сыновьями юристов, зубных врачей, а то и мелких торговцев, — все себя остервенело-убеждённо считали пролетариями. А этот избегал всяких речей о политике, как-то немо подпевал хоровому «Интернационалу», явно нехотя вступил в пионеры. Мальчики-энтузиасты давно подозревали в нём контрреволюционера. Следили за ним, ловили. Происхождения доказать не могли. Но однажды Олег попался, сказал: «Каждый человек имеет право говорить всё, что он думает». — «Как — всё? — подскочил к нему Штительман. — Вот Никола меня «жидовской мордой» назвал — так и это тоже можно?»

Из того и начато было на Олега дело! Нашлись друзья-доносчики, Шурик Буриков и Шурик Ворожбит, кто видели, как виновник входил с матерью в церковь и как он приходил в школу с крестиком на шее. Начались собрания, заседания учкома, группкома, пионерские сборы, линейки — и всюду выступали двенадцатилетние робеспьеры и клеймили перед ученической массой пособника антисемитов и проводника религиозного опиума, который две недели уже не ел от

страха, скрывал дома, что исключён из пионеров и скоро будет исключён из школы.

Адам Ройтман не был там заводилой, его втянули — но даже и сейчас мерзким стыдом залились его щёки.

Кольцо обид! кольцо обид! И нет из него выхода, как нет выхода из тяжбы с Яконовым.

С кого начинать исправлять мир? С других? Или с себя?..

В голове уже наросла та тяжесть, а в груди — та опустошённость, которые нужны, чтобы уснуть.

Он пошёл и тихо лёг под одеяло. Пока не пробило шесть, надо непременно заснуть.

С утра — нажимать с фоноскопией! Громадный козырь! В случае успеха это предприятие может разростись в отдельный научно-исследова...

74

Подъём на шарашке бывал в семь часов.

Но в понедельник задолго до подъёма в комнату, где жили рабочие, пришёл надзиратель и толкнул в плечо дворника. Спиридон храпнул тяжело, проснулся и при свете синей лампочки посмотрел на надзирателя.

— Одевайся, Егоров. Лейтенант зовёт, — тихо сказал надзиратель.

Но Егоров лежал с открытыми глазами, не шевелясь.

— Слышь, говорю, лейтенант зовёт.

— Чего там? Ус...лись? — так же не двигаясь, спросил Спиридон.

— Вставай, вставай, — тормошил надзиратель. — Не знаю, чего.

— Э-э-эх! — широко потянулся Спиридон, заложил рыжеволосые руки за голову и с затягом зевнул. — И когда тот день придёт, что с лавки не встанешь!.. Часов-то много?

— Да шесть скоро.

— Шести-и нет?!.. Ну, иди, ладно.

И продолжал лежать.

Надзиратель перемялся, вышел.

Синяя лампочка давала свет на угол подушки Спиридона до косого крыла тени от верхней койки. Так, в свету и в тени, с руками за головой, Спиридон лежал и не двигался.

Ему жалко было, что не досмотрел он сна.

Ехал он на телеге, наложенной сушняком (а под сушняком — прихоронёнными от лесника бревёшками), — ехал будто из своего ж леса к себе в деревню, но дорогою незнакомой. Дорога была незнакома, но каждую подробность её Спиридон обоими глазами (будто оба здоровы!) отчётливо видел во сне: где корни, вздутые

поперёк дороги, где расщеплина от старой молнии, где мелкий сосо́нник и глубокий песок, в котором зажирались колёса. Ещё слышал Спиридон во сне все разнообразные предосенние запахи леса и вбирчиво ими дышал. Он потому так дышал, что помнил во сне отчётливо, что он — зэк, что срок ему — десять лет и пять намордника, что он отлучился с шарашки, его, должно, уже хватились, а пока не дослали псов — надо успеть привезти жене и дочке дровишек.

Но главное счастье сна происходило от того, что лошадь была не какая-нибудь, а самая любимая из перебывавших у Спиридона — розовой масти кобылка Гривна — первая лошадь, купленная им трёхлетком в своё хозяйство после гражданской войны. Она была бы вся серая, если б не шёл у неё по серому равномерный гнеденький перешёрсток, краснинка, отчего и звали её масть «розовой». На этой лошади он и на ноги стал, и её закладал в корень, когда вёз украдом к венцу невесту свою Марфу Устиновну. И теперь Спиридон ехал и счастливо удивлялся, что Гривна до сих пор оказалась жива, и так же молода, так же не осекаясь вымахивала воз в горку и ретиво тянула его по песку. Вся думка Гривны была в её ушах — высоких, серых, чутких ушах, малыми движениями которых она, не оборачиваясь, говорила хозяину, как понимает она, что́ от неё сейчас нужно, и что она справится. Даже издали украдкой показать Гривне кнут было бы обидеть её. Езжая на Гривне, Спиридон николи с собой кнута не брал.

Ему во сне хоть слезь да поцелуй Гривну в храп, такой он был радый, что Гривна молода и, должно теперь дождётся конца его срока, — как вдруг на спуске к ручью заметил Спиридон, что воз-то у него увалян кой-как, и сучья расползаются, грозя вовсе развалиться на броду.

Как толчком его скинуло с воза на земь — и это был толчок надзирателя.

Спиридон лежал теперь и вспоминал не одну свою Гривну, но десятки лошадей, на которых ему приходилось ездить и работать за жизнь (каждая из них ему врезалась как человек живой), и ещё тысячи лошадей, перевиденных со стороны, — и надсадно было ему, что так за зря, безо всякого розума, сжили со свету первых помощников — тех выморив без овса и сена, тех засеча в работе, тех татарам на мясо продав. Что делалось с умом, Спиридон мог понять. Но нельзя было понять, зачем свели лошадь. Баяли тогда, что за лошадь будет работать трактор. А легло всё — на бабьи плечи.

Да одних ли лошадей? Не сам ли Спиридон вырубал фруктовые сады на хуторах, чтоб людям нечего там было терять — чтоб легче они подались до купы?..

— Егоров! — уже громко крикнул надзиратель из двери, разбудя тем ещё двоих спящих.

— Да иду же, мать твоя родина! — проворно отозвался Спири-

донов, спуская босые ноги на пол. И побрёл к радиатору снять высохшие портянки.

Дверь за надзирателем закрылась. Сосед кузнец спросил:

— Куда, Спиридон?

— Господа кличут. Пайку отрабатывать, — в сердцах сказал дворник.

Дома у себя мужик незалёживый, в тюрьме Спиридон не любил подхватываться в темнедь. Из-под палки досвета вставать — самое злое дело для арестанта.

Но в СевУралЛаге подымают в пять часов.

Так что на шараге следовало пригибаться.

Примотав к солдатским ботинкам долгими солдатскими обмотками концы ватных брюк, Спиридон, уже одетый и обутый, влез ещё в синюю шкуру комбинезона, накинул сверху чёрный бушлат, шапку-малахай, перепоясался растеребленным брезентовым ремнем и пошёл. Его выпустили за окованную дверь тюрьмы и дальше не сопровождали. Спиридон прошёл подземным коридором, шаркая по цементному полу железными подковками, и по трапу поднялся во двор.

Ничего не видя в снежной полутьме, Спиридон безошибочно ощутил ногами, что выпало снега на полторы четверти. Значит шёл всю ночь, крупный. Убраживая в снегу, он пошёл на огонёк штабной двери.

На порог штаба тюрьмы как раз выступил дежурняк — лейтенант с плюгавыми усиками. Недавно выйдя от медсестры, он обнаружил непорядок — много нападало снегу, за тем и вызвал дворника. Заложив теперь обе руки за ремень, лейтенант сказал:

— Давай, Егоров, давай! От парадного к вахте прочисть, от штаба к кухне. Ну, и тут... на прогулочном... Давай!

— Всем давать — мужу не останется, — буркнул Спиридон, направляясь через снежную целину за лопатой.

— Что? Что ты сказал? — грозно переспросил лейтенант.

Спиридон оглянулся:

— Говорю — *яволь*, начальник, яво́ль! — (Немцы тоже так вот бывало «гыр-гыр», а Спиридон им — «яволь».) — Там на кухне скажи, чтоб картошки мне подкинули.

— Ладно, чисть.

Спиридон всегда вёл себя благоразумно, с начальством не вздорил, но сегодня было особое горькое настроение от утра понедельника, от нужды, глаз не продравши, опять горбить, от близости письма из дому, в кото́ром Спиридон предчувствовал дурное. И горечь всего его пятидесятилетнего топтанья на земле собралась вся вместе и стояла изжогой в груди.

Сверху уже не сыпало. Без шелоху стояли липы. Они белели. Но то был уже не иней вчерашний, изникший к обеду, а выпавший за

ночь снег. По тёмному небу, по затиши Спиридон определял, что снег этот долго не продержится.

Начал работать Спиридон угрюмо, но после затравы, первой полсотни лопат, пошло ровно и даже как будто в охотку. И сам Спиридон, и жена его были такие: от всего, что сгущалось на сердце, отступ находили в работе. И легчало.

Чистить Спиридон начал не дорогу от вахты для начальства, как ему было велено, а по своему разумению: сперва дорожку на кухню, потом — в три широких фанерных лопаты — круговую дорожку на прогулочном дворе, для своего брата-зэка.

А мысли были о дочери. Жена, как и он, отжили своё. Сыновья, хоть и сидели за колючкой, но были мужики. Молодому крепиться — вперёд пригодится. Но дочь?..

Хотя одним глазом Спиридон ничего не видел, а другим видел только на три десятых, он обвёл весь прогулочный двор как отмеренным ровным продолговатым кругом — ещё и утро не сказалось, как раз к семи часам, когда по трапу поднялись первые любители гулять — Потапов и Хоробров, для того вставшие заранее и умывшиеся до подъёма.

Воздух выдавался пайком и был дорог.

— Ты что, Данилыч, — спросил Хоробров, поднимая воротник истёртого гражданского пальто, в котором был арестован когда-то. — Ты и спать не ложился?

— Рази ж дадут спать, змеи? — отозвался Спиридон. Но давешнего зла уже в нём не было. За этот час молчаливой работы все омрачающие мысли о тюремщиках усторонились из него. Не говоря этого себе словами, Спиридон сердцем уже рассудил, что если дочь и сама набедила в чём, то ей не легче, и ответить надо будет помягче, а не проклинать.

Но и эта самая важная мысль о дочери, снисшедшая на него с недвижимых предутренних лип, тоже начинала утесняться мелкими мыслями дня — о двух досках, где-то занесенных снегом, о том, что метлу надо нынче насадить на метловище потуже.

Между тем надо было идти прочищать дорогу с вахты для легковых машин и для вольняшек. Спиридон перекинул лопату через плечо, обогнул здание шарашки и скрылся.

Сологдин, лёгкий, стройный, с телогрейкой, чуть наброшенной на немёрзнущие плечи, прошёл на дрова. (Когда он шёл так, он думал про себя, но как бы со стороны: «Вот идёт граф Сологдин».) После вчерашней бестолковой колготни с Рубиным, его раздражающих обвинений, он первую ночь за два года на шарашке спал дурно — и теперь утром искал воздуха, одиночества и простора для обдумывания. Напиленные дрова у него были, только коли.

Потапов в красноармейской шинели, выданной ему при взятии Берлина, когда его посадили десантником на танк (до плена он

был офицер, но званий за пленными не признавали), медленно гулял с Хоробровым, немного выбрасывая на ходу повреждённую ногу.

Хоробров едва успел стряхнуть дремоту и умыться, но вечно-бодрствующее ненавидящее внимание уже вступило в его мысли. Слова вырывались из него, но, как бы описав бесплодную петлю в тёмном воздухе, бумерангом возвращались к нему же и терзали грудь:

— Давно ли мы читали, что фордовский конвейер превращает рабочего в машину и что это есть самое бесчеловечное выражение капиталистической эксплуатации? Но прошло пятнадцать лет, и тот же конвейер под именем *потока* славится как высшая и новейшая форма производства! В 45-м году Чан Кай-ши был наш союзник, в 49-м удалось его свалить — значит, он гад и *клика*. Сейчас пытаются свалить Неру, пишут, что его режим в Индии — палочный. Если удастся свалить, будут писать: клика Неру, бежавшая на остров Цейлон. Если не удастся, будет — наш благородный друг Неру. Большевики настолько беззастенчиво приспосабливаются к моменту, что понадобься нынче провести ещё одно повальное крещение Руси — они бы тут же откопали соответствующее указание у Маркса, увязали бы и с атеизмом и с интернационализмом.

Потапов всегда был настроен с утра меланхолически. Утро было единственное время, когда он мог подумать о погубленной жизни, о растущем без него сыне, о сохнущей без него жене. Потом суета работы затягивала, и думать уже было некогда.

Хоробров был как будто и прав, но Потапов ощущал в нём слишком много раздражения и готовность призвать Запад в судьи наших дел. Потапов же считал, что спор народа с властью должен быть решён каким-то (ему неизвестным) путём как спор между *своими*. Поэтому, неловко выбрасывая повреждённую ногу, он шёл молча и старался дышать поглубже и поровней.

Они делали круг за кругом.

Гуляющих прибавлялось. Они ходили по одному, по два, а то и по три. По разным причинам скрывая свои разговоры, они старались не тесниться и не обгонять друг друга без надобности.

Только-только брезжило. Снеговыми тучами закрытое небо опаздывало с отблесками утра. Фонари ещё бросали на снег жёлтые круги.

В воздухе была та свежесть, которою веет только что выпавший снег. Под ногами он не скрипел, а мягко уплотнялся.

Высокий прямой Кондрашёв в фетровой шляпе ходил с маленьким щуплым Герасимовичем в кепочке, соседом своим по комнате, много не достававшим Кондрашёву до плеча.

Герасимович, уничтоженный вчерашним свиданием, до конца воскресенья пролежал в кровати как больной. Прощальный выкрик жены потряс его.

Значит, не мог его срок течь и дальше так, как он тёк. Наташа не могла выдержать трёх последних лет — и что-то надо было предпринимать. «Да у тебя есть что-нибудь и сейчас!» — упрекнула она, зная голову мужа.

А у него не что-нибудь было, а слишком бесценное, чтобы отдавать его за собачью подачку и в *эти* руки.

Вот если бы подвернулось что-нибудь лёгонькое, безделушка для досрочки. Но так не бывает. Ничего не даёт нам бесплатно ни наука, ни жизнь.

Не оправился Герасимович и к утру. На прогулку он вышел через силу, озябший, запахнувшись доплотна, и сразу же хотел вернуться в тюрьму. Но столкнулся с Кондрашёвым-Ивановым, пошёл сделать с ним один круг — и увлёкся на всю прогулку.

— Ка-ак?! Вы ничего не знаете о Павле Дмитриевиче Корине? — поразился Кондрашёв, будто о том знал каждый школьник. — О-о-о! У него, говорят, есть, только не видел никто, удивительная картина «Русь уходящая»! Одни говорят шесть метров длиной, другие — двенадцать. Его теснят, нигде не выставляют, эту картину он пишет тайно, и после смерти, может быть, её тут же и опечатают.

— Что же на ней?

— С чужих слов, не ручаюсь. Говорят — простой среднерусский большак, всхолмлено, перелески. И по большаку с задумчивыми лицами идёт поток людей. Каждое отдельное лицо проработано. Лица, которые ещё можно встретить на старых семейных фотографиях, но которых уже нет вокруг нас. Это — светящиеся старорусские лица мужиков, пахарей, мастеровых — крутые лбы, окладистые бороды, до восьмого десятка свежесть кожи, взора и мыслей. Это — те лица девушек, у которых уши завешены незримым золотом от бранных слов, девушки, которых нельзя себе вообразить в скотской толкучке у танцплощадки. И степенные старухи. Серебряноволосые священники в ризах, так и идут. Монахи. Депутаты Государственной Думы. Перезревшие студенты в тужурках. Гимназисты, ищущие мировых истин. Надменно-прекрасные дамы в городских одеждах начала века. И кто-то, очень похожий на Короленко. И опять мужики, мужики... Самое страшное, что эти люди никак не сгруппированы. Распалась связь времён! Они не разговаривают Они не смотрят друг на друга, может быть и не видят. У них нет дорожного бремени за спиной. Они — и д у т; и не по этому конкретному большаку, а вообще. Они у х о д я т... Последний раз мы их видим...

Герасимович резко остановился:

— Простите, я должен побыть один!

Он круто повернулся и, оставив художника с поднятою рукою, пошёл в обратную сторону.

Он горел. Он не только увидел картину резко, как сам написал, но он подумал, что...

Обутрело.

Ходил надзиратель по двору и кричал, что прогулка окончена.

В подземном коридоре, на возврате, посвежевшие заключённые невольно толкали хмуробородого избольна бледного Рубина, проталкивающегося навстречу. Сегодня он проспал не только дрова (на дрова немыслимо было идти после ссоры с Сологдиным), но и утреннюю прогулку. От короткого искусственного сна Рубин ощущал своё тело тяжёлым, ватно-бесчувственным. Ещё он испытывал кислородный голод, незнакомый тем, кто может дышать, когда хочет. Он пытался теперь выбиться во двор за единым глотком свежего воздуха и за жменею снега для обтирания.

Но надзиратель, стоя у верха трапа, не пустил его.

Рубин стоял у низа трапа, в цементной яме, куда, однако, тоже перепало снега и тянуло свежим воздухом. Здесь, внизу, он сделал три медленных круговых движения руками с глубокими вздохами, затем собрал со дна ямы снегу, натёр им лицо и поплёлся в тюрьму.

Туда же пошёл и проголодавшийся бодрый Спиридон, уже расчистивший дорогу для машин до самой вахты.

В штабе тюрьмы два лейтенанта — сменяющийся, с квадратными усиками, и новозаступающий лейтенант Жвакун, вскрыли пакет и знакомились с оставленным им приказом майора Мышина.

Лейтенант Жвакун — грубый широмордый непроницаемый парень, во время войны в старшинском звании служил палачом дивизии (называлось «исполнитель при военном трибунале») и оттуда выслужился. Он очень дорожил своим местом в Спецтюрьме № 1 и, не блеща грамотностью, дважды перечёл распоряжение Мышина, чтобы ничего не спутать.

Без десяти девять они пошли по комнатам делать поверку и всюду объявили, как было велено:

«Всем заключённым в течении трёх дней сдать майору Мышину перечень своих прямых родственников по форме: номер по порядку, фамилия, имя, отчество родственника, степень родства, место работы и домашний адрес.

Прямыми родственниками считаются: мать, отец, жена зарегистрированная, сын и дочь от зарегистрированного брака. Все остальные — братья, сёстры, тётки, племянницы, внуки и бабушки считаются родственниками непрямыми.

С 1-го января переписка и свидания будут дозволяться только с прямыми родственниками, которых укажет в перечне заключённый.

Кроме того, с 1-го января размер ежемесячного письма устанавливается — не больше одного развёрнутого тетрадного листа».

Это было так худо и так неумолимо, что разум неспособен был охватить объявленное. И поэтому не было ни отчаяния, ни возму-

щения, а только злобно-насмешливые выкрики сопутствовали Жвакуну:

— С Новым годом!

— С новым счастьем!

— Ку-ку!

— Пишите доносы на родственников!

— А сыщики сами найти не могут?

— А размер букв почему не указан? Какой размер буквы?

Жвакун, пересчитывая наличие голов, одновременно старался запомнить, кто что кричал, чтобы потом доложить майору.

Впрочем, заключенные всегда недовольны, делай им хоть хорошо, хоть плохо...

75

Удручённые, расходились на работу зэки.

Даже те из них, кто сидел давно, — и те были ошеломлены жестокостью новой меры. Жестокость здесь была двойная. Одна — что сохранить тонкую живительную ниточку связи с родными отныне можно было только ценой полицейского доноса на них. А ведь многим из них на воле ещё удавалось скрыть, что они имеют родственников за решёткой — и только это обеспечивало им работу и жильё. Вторая жестокость была — что отвергались незарегистрированные жёны и дети, отвергались братья, сёстры, а тем паче двоюродные. Но после войны, её бомбёжек, эвакуаций, голода — иных родственников у многих зэков и не осталось. А так как к аресту не дают приготовиться, к нему не исповедуешься, не причащаешься, не кончаешь своих расчётов с жизнью — то многие оставили на воле верных подруг, но без грязного штампа ЗАГСа в паспорте. И вот такие подруги теперь объявлялись чужими...

Внутри просторного Железного Занавеса, объявшего страну по периметру, опускался вокруг Марфина ещё один — тесный, глухой, стальной.

Даже у самых заклятых энтузиастов казённой работы опустились руки. По звонку выходили долго, толпились в коридорах, курили, разговаривали. Садясь же за свои рабочие столы, опять курили и опять разговаривали, и главный занимавший всех вопрос был: неужели в центральной картотеке МГБ до сих пор не собраны и не систематизированы сведения обо всех родственниках зэков? Новички и наивные почитали ГБ всемогущей, всезнающей и без нужды в этом перечне-доносе. Но старые тёртые зэки солидно качали головами: они объясняли, что госбезопасность — такой же громадный бестолковый механизм, как вся наша государственная машина; что картотека родственников у ГБ в беспорядке; что за кожаными чёр-

ными дверьми отделы кадров и спецотделы «не ловят мышей» (им хватает казённого приварка), не выбирают данных из бесчисленных анкет; что тюремные канцелярии не делают своевременных и нужных выборок из книг свиданий и передач; что, таким образом, список родственников, требуемый Климентьевым и Мышиным, есть самый верный смертельный удар, который ты можешь нанести своим родным.

Так разговаривали зэки — и работать никто не хотел.

Но как раз в это утро начиналась последняя неделя года, в которую, по замыслу институтского начальства, надо было совершить героический рывок, чтобы выполнить годовой план 1949 года и план декабря, а также разработать и принять годовой план 1950 года, квартальный план января — марта и отдельно план января и ещё план первой декады января. Всё, что было здесь бумага, — предстояло свершить самому начальству. Всё, что было здесь работа, — предстояло исполнить заключённым. Поэтому энтузиазм заключённых был сегодня особенно важен.

Командованию институтскому совершенно была неизвестна разрушительная утренняя анонсация тюремного командования, произведенная в соответствии со *своим* годовым планом.

Никто бы не мог обвинить министерство госбезопасности в евангельском образе жизни! Но одна евангельская черта в нём была: правая рука его не знала, что делала левая.

Майор Ройтман, на лице которого, освеженном после бритья, не осталось следа ночных сомнений, как раз для информации о планах и собрал на производственное совещание всех зэков и всех вольных Акустической лаборатории. У Ройтмана были негритянски-оттопыренные губы на продолговатом умном лице. На худой груди Ройтмана, поверх широковатой гимнастерки, как-то особенно некстати висела ненужная ему портупея. Он хотел храбриться сам и подбодрять подчиннёных, но дыхание развала уже проникло под своды комнаты: середина её пустынно сиротела без унесенной стойки вокодера; не было Прянчикова, жемчужины акустической короны; не было Рубина, запершегося со Смолосидовым на третьем этаже; наконец, и сам Ройтман торопился поскорее здесь кончить и идти туда.

А из вольняшек не было Симочки, опять дежурившей с обеда взамен кого-то. Хоть не было её! хоть это одно облегчало сейчас Нержина! — не объясняться с нею знаками и записками.

В кружке совещания Нержин сидел, откинувшись на податливую пружинящую спинку своего стула и поставив ноги на нижний обруч другого стула. Смотрел он по большей части в окно.

За окнами поднялся западный и, видимо, сырой ветер. От него посвинцовело облачное небо, стал рыхлеть и сжиматься нападавший снег. Наступала ещё одна бессмысленная гнилая оттепель.

Нержин сидел невыспанный, обвислый, с резкими при сером свете

морщинами. Он испытывал знакомое многим арестантам чувство утра понедельника, когда, кажется, нет сил двигаться и жить.

Что значат свидания раз в год! Вот только вчера было свидание. Казалось: самое срочное, самое необходимое всё высказано надолго вперёд! И уже сегодня... ?

Когда теперь это скажешь ей? Написать? Но как об этом напишешь? Можно ли сообщить твоё место работы?.. После вчерашнего и так ясно: нельзя.

Объяснить: так как не могу сообщить о тебе сведений, то переписку надо оборвать? Но адрес на конверте и будет доносом!

Не написать совсем ничего? Но что она станет думать? Ещё вчера я улыбался — а сегодня замолчу навеки?

Ощущение тисков не каких-то поэтически-переносных, а громадных слесарных с насеченными губами, с прожерлиной для зажимания человеческой шеи, ощущение сходящихся на туловище тисков спирало дыхание.

Невозможно было найти выход! Плохо было — всё.

Воспитанный близорукий Ройтман мягкими глазами смотрел сквозь очки-анастигматы и голосом не начальническим, а с оттенком усталости и мольбы говорил о планах, о планах, о планах.

Однако сеял он — на камне.

Тесно окружённый стульями, столами, без воздуха и без движения, зажатый слесарными челюстями, Нержин сидел внешне подавленный, с уроненными углами губ. Суженные глаза его были безразлично уставлены на тёмный забор, на вышку с *попкой*, торчащую прямо против его окна.

Но за лицом его, безобидно неподвижным, метался гнев.

Пройдут годы, и все эти люди, кто вместе с ним слышал сегодняшнее утреннее объявление, все эти люди, сейчас омрачённые, негодующие, упавшие ли духом, клокочущие от ярости — одни лягут в могилы, другие смягчатся, отсыреют, третьи всё забудут, отрекутся, облегчённо затопчут своё тюремное прошлое, четвёртые вывернут и даже скажут, что это было разумно, а не безжалостно, — и, может быть, никто из них не соберётся напомнить сегодняшним палачам, что́ они делали с человеческим сердцем!

Крута гора да обминчива, лиха беда да избывчива.

Это поразительное свойство людей — забывать! Забывать, о чём клялись в Семнадцатом. Забывать, что обещали в Двадцать Восьмом. Что ни год — отуплённо, покорно спускаться со ступеньки на ступеньку — и в гордости, и в свободе, и в одежде, и в пище, — и от этого ещё короче становится память и смирней желание забиться в ямку, в расщелинку, в трещинку — и как-нибудь там прожить.

Но тем сильнее за всех за них Нержин чувствовал свой долг и своё призвание. Он знал в себе дотошную способность никогда не сбиться, никогда не остыть, никогда не забыть.

И за всё, за всё, за всё, за пыточные следствия, за умирающих лагерных доходяг и за сегодняшнее утреннее объявление — четыре гвоздя их памяти! Четыре гвоздя их вранью, в ладони и в голени — и пусть висит и смердит, пока Солнце погаснет, пока жизнь окоченеет на планете Земля.

И если больше никого не найдётся — эти четыре гвоздя Нержин вколотит сам.

Нет, зажатому в слесарных тисках — не до скептической улыбки Пиррона.

Уши Нержина слышали, хотя и не слушали, что́ говорил Ройтман. Только когда тот стал повторять «соцобязательства», «соцобязательства», Глеб дрогнул от гадливости. С *планами* он как-то примирился. Планы он составлял с изворотливостью. Он норовил, чтобы десяток увесистых пунктов годового плана не таили за собою большой работы: чтобы работа была или уже частично сделана, или не требовала усилий, или мираж. Но всякий раз после того, как отлично выструганный и отфугованный им план представлялся на утверждение, утверждался и считался пределом его возможностей — тут же, в противоречие с этим признанным пределом и в издевательство над чувствами политзаключённого, Нержину всякий месяц предлагали выдвинуть добавочно к плану собственное же встречное научное социалистическое обязательство.

Вслед Ройтману выступил один вольный, потом один зэк. Адам Вениаминович спросил:

— А что скажете вы, Глеб Викентьич?

Четыре гвоздя!! — что мог сказать им Нержин?

Он не вздрогнул при вопросе. Он не выронил из тёмного лона мозга затаённо зажатых железных гвоздей. На их звериную беспощадность — и хитрость должна быть звериной! Словно только и ждав этого вызова, Нержин с готовностью встал, изображая на лице простодушный интерес:

— План за сорок девятый год артикуляционной группой по всем показателям полностью выполнен досрочно. Сейчас я занят математической разработкой теоретико-вероятностных основ фразово-вопросной артикуляции, которую и планирую закончить к марту, что даст возможность научно-обоснованно артикулировать на фразах. Кроме того, в первом квартале, даже в случае отсутствия Льва Григорьича, я разверну приборно-объективную и описательно-субъективную классификацию человеческих голосов.

— Да-да-да, голосов! Это очень важно! — перебил Ройтман, отвечая своим замыслам фоноскопии. Строгая бледность лица Нержина под распавшимися волосами говорила о жизни мученика науки, науки артикуляции.

— И соревнование надо оживить, верно, это поможет, — убеждённо заключил он. — Социалистические обязательства мы тоже да-

дим, к первому января. Я считаю, что наш долг работать в наступающем году больше и лучше, чем в истекшем. — (А в истекшем он ничего не делал.)

Выступили ещё двое зэков. И хотя естественнее всего было бы им открыться перед Ройтманом и перед собранием, что не могут они думать о планах, а руки их не могут шевельнуться к работе, потому что сегодня у них отнят последний призрак семьи, — но не этого ждало начальство, настроенное на трудовой рывок. И даже выскажи кто-нибудь это, — растерялся бы и обиженно заморгал Ройтман, — но собрание всё равно пошло бы тем же начертанным путём.

Оно закрылось — и Ройтман через одну ступеньку молодо побежал на третий этаж и постучался в совсекретную комнату к Рубину.

Там уже пламенели догадки. Магнитные ленты сравнивались.

76

Оперчекистская часть на объекте Марфино подразделялась на майора Мышина — тюремного *кума*, и майора Шикина — производственного кума. Вращаясь в разных ведомствах и получая зарплату из разных касс, они не соперничали друг с другом. Но и сотрудничать им мешала какая-то леность: кабинеты их были в разных зданиях и на разных этажах; по телефону об оперчекистских делах не разговаривают; будучи же в равных чинах, каждый почитал обидным идти первому как бы кланяться. Так они и работали: один над ночными душами, другой — над дневными, месяцами не встречаясь друг с другом, хотя в поквартальных отчётах и планах каждый писал о необходимости тесной увязки всей оперативной работы на объекте Марфино.

Как-то читая «Правду», майор Шикин задумался над заголовком статьи «Любимая профессия». (Статья была об агитаторе, который больше всего на свете любил разъяснять что-нибудь другим: рабочим — важность повышения производительности, солдатам — необходимость жертвовать собой, избирателям — правильность политики блока коммунистов и беспартийных.) Шикину понравилось это выражение. Он заключил, что и сам, кажется, не ошибся в жизни: ни к какой другой профессии его отроду не тянуло; он любил свою, и она его любила.

В своё время Шикин кончил училище ГПУ, позже — курсы усовершенствования следователей, но на работе собственно следовательской состоял мало, поэтому не мог назвать себя следователем. Он работал оперативником в транспортном ГПУ; он был особонаблюдающим от НКВД за враждебными избирательными бюллетенями при тайных выборах в Верховный Совет; во время войны был начальником армейского отделения военной цензуры; потом был в комиссии по репатриации, потом в проверочно-фильтрационном лагере, потом специнструктором

по высылке греков с Кубани в Казахстан и наконец — оперуполномоченным в исследовательском институте Марфино. Все эти занятия охватывались единым словом: оперчекист.

Оперчекизм и был подлинно любимой профессией Шикина. Да и кто из его сотоварищей не любил её!

Эта профессия была неопасна: во всякой операции обеспечивался перевес сил: двое и трое вооружённых оперчекистов против одного безоружного непредупреждённого, иногда только что проснувшегося врага.

Затем, она высоко оплачивалась, давала права на лучшие закрытые распределители, на лучшие квартиры, конфискованные у осуждённых, на пенсии выше, чем у военных, и на первоклассные санатории.

Она не изматывала сил: в ней не было норм выработки. Правда, друзья рассказывали Шикину, что в тридцать седьмом и сорок пятом годах следователи тянули, как лошади, но сам Шикин не попадал в такой круговорот и не очень верил. В добрую пору можно было месяцами дремать за письменным столом. Общий стиль работы МВД — МГБ был — неторопливость. К естественной неторопливости всякого сытого человека добавлялась ещё неторопливость по инструкциям, чтобы лучше воздействовать на психику заключённого и добиться от него показаний — медленная зачинка карандашей, подбор перьев, выбор бумаги, терпеливая запись всяких протокольных ненужностей и установочных данных. Эта проникающая неторопливость работы очень здорово отзывалась на нервах чекистов и вела к долголетию работников.

Не менее дорог был Шикину и сам порядок оперчекистской работы. Вся она, по сути, состояла из учёта в голом виде, пронизывающего учёта (и тем выражала характернейшую черту социализма). Ни один разговор не кончался попросту как разговор, а обязательно завершался написанием доноса, или подписанием протокола, или расписки о недаче ложных показаний, о неразглашении, о невыезде, об осведомлении, о вручении. Требовалось именно то терпеливое внимание, именно та аккуратность, которые отличали характер Шикина, чтобы не создать в этих бумажках хаоса, а распределить их, подшить и всегда найти любую. (Сам Шикин, как офицер, не мог производить физической работы подшития бумаг, и это делала приглашаемая из общего секретариата особая засекреченная девица, долговязая и подслеповатая.)

А больше всего была приятна оперчекистская работа Шикину тем, что она давала власть над людьми, сознание всемогущества, в глазах же людей окружала своих работников загадочностью.

Шикину лестно было то почтение, та даже робость, которые он встречал к себе со стороны сослуживцев — тоже чекистов, но не оперчекистов. Все они — и инженер-полковник Яконов, по первому требованию Шикина должны были давать ему отчёт о своей деятель-

ности, Шикин же не отчитывался ни перед кем из них. Когда он, темнолицый, с седеющим короткостриженным ёжиком, с большим портфелем подмышкой, поднимался по коврам широкой лестницы, и девушки-лейтенантки МГБ застенчиво сторонились его даже на просторе этой лестницы, спеша первыми поздороваться, — Шикин гордо ощущал свою ценность и особенность.

Если бы Шикину сказали — но ему никогда этого никто не говорил, — что он якобы заслужил к себе ненависть, что он — мучитель других людей, — он бы непритворно возмутился. Никогда мучение людей не составляло для него удовольствия или цели. Правда, вообще такие люди бывают, он видел их в театре, в кино, это садисты, страстные любители пыток, в них нет ничего человеческого, но это всегда или белогвардейцы, или фашисты. Шикин же только выполнял свой долг, и единственная цель его была — чтобы никто ничего вредного не делал и ни о чём вредном не думал.

Однажды на главной лестнице шарашки, по которой ходили и вольные и зэки, найден был свёрток, а в нём — сто пятьдесят рублей. Нашедшие два техника-лейтенанта не могли его скрыть или тайно разыскать хозяина именно потому, что их было двое. Поэтому они сдали находку майору Шикину.

Деньги на лестнице, где ходят заключённые, деньги, оброненные под ноги тем, кому иметь их строжайше запрещено — да это равнялось чрезвычайному государственному событию! Но Шикин не стал его раздувать, а повесил на лестнице объявление:

«Кто потерял деньги 150 руб. на лестнице, может
получить их у майора Шикина в любое время».

Деньги были не малые. Но таково было всеобщее почтение к Шикину и робость перед ним, что шли дни, шли недели — никто не являлся за проклятой пропажей, объявление блекло, запыливалось, оторвалось с одного угла, и наконец кто-то дописал синим карандашом печатными буквами:

«Лопай сам, собака!»

Дежурный отодрал объявление и принёс его майору. Долго после этого Шикин ходил по лабораториям и сравнивал оттенки синих карандашей. Грубое ругательство незаслуженно оскорбило Шикина. Он вовсе не собирался присваивать чужих денег. Ему гораздо больше хотелось, чтобы пришёл этот человек, и можно было бы оформить на него поучительное дело, проработать на всех совещаниях о бдительности — а деньги, пожалуйста, отдать.

Но, конечно, не выбрасывать же их зря! — через два месяца май-

ор подарил их той долговязой девице с бельмом, которая подшивала у него раз в неделю бумаги.

Образцового до тех пор семьянина, Шикина как чёрт попутал и приковал к этой секретарше с её запущенными тридцатью восемью годами, с грубыми толстыми ногами и которой он доходил только до плеча. Что-то неиспытанное он в ней для себя открыл. Он едва дожидался дня её прихода и настолько потерял осторожность, что при ремонте, во временном помещении, не уберёгся: их слышали и даже в щёлку видели двое заключённых — плотник и штукатур. Это разнеслось, и зэки между собой потешались над духовным пастырем и хотели писать письмо жене Шикина, да не знали адреса. Вместо того донесли начальству.

Но свалить оперуполномоченного им не удалось. Генерал-майор Осколупов выговаривал тогда Шикину не за сношения с секретаршей (это была область моральных принципов секретарши) и не за то, что сношения происходили в рабочее время (ибо день у майора Шикина был ненормированный), а лишь за то, что узнали заключённые.

В понедельник двадцать шестого декабря майор Шикин пришёл на работу немногим позже девяти часов утра, хотя если б он пришёл и к обеду — никто б ему не мог сделать замечания.

На третьем этаже против кабинета Яконова было в стене углубление или тамбур, никогда не освещаемый электрической лампочкой, и из тамбура вели две двери — одна в кабинет Шикина, другая — в партком. Обе двери были обтянуты чёрной кожей и не имели надписей. Такое соседство дверей в тёмном тамбуре было весьма удобно для Шикина: со стороны нельзя было доследить, куда именно заныривали люди.

Сегодня, подходя к кабинету, Шикин встретился с секретарём парткома Степановым, больным худым человеком в свинцово-поблескивающих очках. Обменялись рукопожатием. Степанов тихо предложил:

— Товарищ Шикин! — Он никого не называл по имени-отчеству. — Заходи, шаров погоняем!

Приглашение относилось к парткомовскому настольному биллиарду. Шикин иногда-таки заходил погонять шары, но сегодня много важных дел ждало его, и он с достоинством покачал своею серебрящейся головой.

Степанов вздохнул и пошёл гонять шары сам с собой.

Войдя в кабинет, Шикин аккуратно положил портфель на стол. (Все бумаги Шикина были секретные и совсекретные, держались в сейфе и никуда не выносились, — но ходить без портфеля не воздействовало на умы. Поэтому он носил в портфеле домой читать «Огонёк», «Крокодил» и «Вокруг света», на которые самому подписываться обошлось бы в копеечку.) Затем прошёлся по коврику, по-

стоял у окна — и назад к двери. Мысли будто ждали его, притаясь тут, в кабинете, за сейфом, за шкафом, за диваном — и теперь все разом обступили и требовали к себе внимания.

Де́л было!.. Дел было!..

Он растёр ладонями свой короткий седеющий ёжик.

Во-первых, надо было проверить важное начинание, обдуманное им в течении многих месяцев, утверждённое недавно Яконовым, принятое к руководству, разъяснённое по лабораториям, но ещё не налаженное. Это был новый порядок ведения секретных журналов. Пытливо анализируя постановку бдительности в институте Марфино, майор Шикин установил, и очень гордился этим, что по сути настоящей секретности всё ещё нет! Правда, в каждой комнате стоят несгораемые стальные шкафы в рост человека, в количестве пятидесяти штук привезенные от растрофеєнной фирмы Лоренц; правда, все документы секретные, полусекретные и лежавшие около секретных запираются в присутствии специальных дежурных в эти шкафы на обеденный перерыв, на ужинный перерыв и на ночь. Но трагическое упущение состоит в том, что запираются только законченные и незаконченные работы. Однако в стальные шкафы всё ещё не запираются проблески мысли, первые догадки, неясные предположения — именно то, из чего рождаются работы будущего года, то есть самые перспективные. Ловкому шпиону, разбирающемуся в технике, достаточно проникнуть через колючую проволоку в зону, найти где-нибудь в мусорном ящике клочок промокательной бумаги с таким чертежом или схемой, потом выйти из зоны — и уже американской разведкой перехвачено направление нашей работы. Будучи человеком добросовестным, майор Шикин однажды заставил дворника Егорова в своём присутствии разобрать весь мусорный ящик во дворе. При этом нашлись две промоклых, смёрзшихся со снегом и с золой бумажки, на которых явно были когда-то начерчены схемы. Шикин не побрезговал взять эту дрянь за уголки и принести на стол к полковнику Яконову. И Яконову некуда было деваться! Так был принят проект Шикина об учреждении индивидуальных именных секретных журналов. Подходящие журналы были немедленно приобретены на писчебумажных складах МГБ: они содержали по двести больших страниц каждый, были пронумерованы, прошнурованы и просургучены. Журналы предполагалось теперь раздать всем, кроме слесарей, токарей и дворника. Вменялось в обязанность не писать ни на чём, кроме как на страницах своего журнала. Помимо упразднения гибельных черновиков здесь было ещё второе важное начинание: осуществлялся контроль за мыслью! Так как каждый день в журнале должна проставляться дата, то теперь майор Шикин мог проверить любого заключённого: много ли он думал в среду и сколько нового придумал в пятницу. Двести пятьдесят таких журналов будут ещё двумястами пятьюдесятью Шикиными, неотступно висящими над головой каждого арестанта. Арестанты всегда хитры и ленивы, они всегда стараются не работать, если

это возможно. Рабочего проверяют по его продукции. А вот проверить инженера, проверить учёного — в этом и состояло изобретение майора Шикина! (Увы, оперчекистам не дают сталинских премий.) Сегодня как раз и требовалось проконтролировать, розданы ли журналы на руки и начато ли их заполнение.

Другая сегодняшняя работа Шикина была — укомплектовать до конца список заключённых на этап, намечаемый тюремным управлением на этих днях, и уточнить, когда же именно обещают транспорт.

Ещё владело Шикиным грандиозно начатое им, но пока плохо продвигавшееся «Дело о поломке токарного станка», — когда десятеро заключённых перетаскивали станок из 3-й лаборатории в мехмастерские, и станок дал трещину в станине. За неделю следствия уже было исписано до восьмидесяти страниц протоколов, но истина никак не выяснялась: арестанты попались все не новички.

Ещё нужно было произвести следствие по поводу того, откуда взялась книга Диккенса, о которой Доронин донёс, что её читали в полукруглой комнате, в частности Абрамсон. Вызывать на допрос самого Абрамсона, повторника, было бы потерей времени. Значит, надо было вызывать вольных из его окружения и сразу пугануть их, что всё раскрыто, что он признался.

Так много было сегодня у Шикина дел! (И ведь он ещё не знал, что́ нового ему расскажут осведомители! Он не знал, что ему предстояло разбираться в глумлении над правосудием в форме спектакля «Суд над князем Игорем»!) Шикин в отчаянии растёр себе виски и лоб, чтобы всё это множество мыслей как-нибудь уложилось, осело.

Колеблясь с чего начать, Шикин решил выйти в массы, то есть пройтись немного по коридору в надежде встретить какого-нибудь осведомителя, который движением бровей даст понять, что у него донесение срочное, не ждущее явки по графику.

Но едва он вышел к столу дежурного, как услышал разговор того по телефону о какой-то новой группе.

Как? Возможна ли такая стремительность? За воскресенье, пока Шикина не было, на объекте образовалась новая группа?

Дежурный рассказал.

Удар был крепок! — приезжал замминистра, приезжали генералы — а Шикина на объекте не было! Досада овладела майором. Дать замминистра повод думать, что Шикин не терзается о бдительности! И не предупредить, не отсоветовать вовремя: нельзя же включать в столь ответственную группу этого проклятого Рубина — двурушника, человека насквозь фальшивого: клянётся, что верит в победу коммунизма — и отказывается стать осведомителем! Ещё эту демонстративную бороду носит, мерзавец! Сбрить!

Спеша медленно, делая ножками в мальчиковых ботинках осторожные шажки, крупноголовый Шикин направился к комнате 21.

Была, впрочем, управа и на Рубина: на днях он подал очередное

прошение в Верховный Суд о пересмотре дела. От Шикина зависело — сопроводить прошение похвальной характеристикой или гнусно-отрицательной (как прошлые разы).

Дверь № 21 была сплошная, без стеклянных шибок. Майор толкнул, она оказалась запертой. Он постучал. Не было слышно шагов, но дверь вдруг приоткрылась. В её растворе стоял Смолосидов с недобрым чёрным чубом. Видя Шикина, он не пошевельнулся и не раскрыл дверь шире.

— Здравствуйте, — неопределённо сказал Шикин, не привыкший к такому приёму. Смолосидов был ещё более оперчекист, чем сам Шикин.

Чёрный Смолосидов с чуть отведенными кривыми руками стоял пригнувшись, как боксёр. И молчал.

— Я... Мне... — растерялся Шикин. — Пустите, мне нужно познакомиться с вашей группой.

Смолосидов отступил на полшага и, продолжая загораживать собою комнату, поманил Шикина. Шикин втиснулся в узкий раствор двери и оглянулся вслед пальцу Смолосидова. На второй половинке двери изнутри была приколота бумажка:

«Список лиц, допущенных в комнату 21.

1. Зам. министра МГБ — Селивановский
2. Нач. Отдела — генерал-майор Бульбанюк
3. Нач. Отдела — генерал-майор Осколупов
4. Нач. группы — инженер-майор Ройтман
5. Лейтенант Смолосидов
6. Заключённый Рубин

Утвердил

министр Госбезопасности

Абакумов»

Шикин в благоговейном трепете отступил в коридор.

— Мне бы... Рубина вызвать... — шёпотом сказал он.

— Нельзя! — так же шёпотом отклонил Смолосидов.

И запер дверь.

77

Утром на свежем воздухе, коля дрова, Сологдин проверял в себе ночное решение. Бывает, что мысли, безусловные ночью в полусне, оказываются несостоятельными при свете утра.

Он не запомнил ни одного полена, ни одного удара — он думал.

Но недоспоренный спор мешал ему размышлять с ясностью. Всё новые и новые хлёсткие доводы, вчера не высказанные Льву, сейчас с опозданием приходили в голову.

Главная же осталась досада и горечь от вчерашнего нелепого поворота спора, что Рубин как бы получал право быть судьёю в поступках Сологдина — именно в том решении, которое сегодня предстояло принять. Можно было вычеркнуть Лёвку Рубина из скрижали друзей, но нельзя было вычеркнуть брошенный вызов. Он оставался и язвил. Он отнимал у Сологдина право на его изобретение.

А вообще спор был очень полезен, как всякая борьба. Похвала — это выпускной клапан, она сбрасывает наше внутреннее давление, и потому всегда нам вредна. Напротив, брань, даже самая несправедливая — это всё топка нашему котлу, это очень нужно.

Конечно, всему цветущему хочется жить. Дмитрий Сологдин, с незаурядными способностями ума и тела, имел право на свою жатву, на свой отстой молочных благ.

Но он сам вчера сказал: к высокой цели ведут только высокие средства.

Тюремное объявление за чаем Сологдин принял со светящейся усмешкой. Вот ещё одно доказательство его предвидения. Он сам прервал переписку вовремя, и жена не будет метаться в неизвестности.

А вообще крепчание тюремного режима лишний раз предупреждало, что вся обстановка будет суроветь, и выхода из тюрьмы в виде так называемого «конца срока» — не будет.

Только если кто получит досрочку.

Или изобретение и досрочка, или — не жить никогда.

В девять часов Сологдин одним из первых прошёл в толпе арестантов на лестницу и поднялся в конструкторское бюро бравый, налитый молодостью, с завивом белокурой бородки («вот идёт граф Сологдин»).

Его победно-сверкающие глаза встретили втягивающий взгляд Ларисы.

Как она рвалась к нему всю ночь! Как она радовалась сейчас иметь право сидеть возле и любоваться им! Может быть, переброситься записочкой?

Но не таков был момент. Сологдин скрыл глаза в любезном поклоне и тут же дал Еминой работу: надо сходить в мехмастерские и уточнить, сколько уже выточено крепёжных болтиков по заказу 114. При этом он очень просил её поспешить.

Лариса в тревоге и недоумении смотрела на него. Ушла.

Серое утро давало так мало света, что горели верхние лампы и зажигались у кульманов.

Сологдин отколол со своего кульмана покрывающий грязный лист — и ему открылся главный узел шифратора.

Два года жизни ушло у него на эту работу. Два года строгого распорядка ума. Два года лучших утренних часов — потому что среди дня человек не создаёт великого.

А выходит — всё ни к чему?

Вот обнажающая плоскость: можно ли любить столь дурную страну? Этот обезбожевший народ, наделавший столько преступлений, и безо всякого раскаяния — этот народ рабов достоин ли жертв, светлых голов, анонимно ложащихся под топор? Ещё сто и ещё двести лет этот народ будет доволен своим корытом — для кого же жертвовать факелом мысли?

Не важней ли сохранить факел? Позже нанесёшь удар сильней.

Он стоял и впитывал своё творение.

У него осталось несколько часов или минут, чтобы безошибочно решить задачу всей жизни.

Он открепил главный лист. Лист издал полоскающий звук, как парус фрегата.

Одна из чертёжниц, как заведено было у них по понедельникам, обходила конструкторов и спрашивала старые ненужные листы на уничтожение. Листы не полагалось рвать и бросать в урны, а составлялся акт и они сжигались во дворе.

(Вообще это было упущение майора Шикина: так доверять огню. Отчего они не создали наряду с конструкторским бюро ещё оперконструкторского, которое сидело и разбирало бы все чертежи, уничтожаемые первым бюро?)

Сологдин взял жирный мягкий карандаш, несколько раз небрежно перечеркнул свой узел и напачкал по нему.

Потом отколол, надорвал его с одной стороны, положил на него покрывающий грязный, подсунул снизу ещё один ненужный, всё вместе скрутил и протянул чертёжнице:

— Три листа, пожалуйста.

Потом он сидел, открыв для чернухи справочник, и поглядывал, что делается с его листом дальше. Сологдин следил, не подойдёт ли кто-нибудь из конструкторов просмотреть листы.

Но тут объявили совещание. Все стягивались и садились.

Подполковник, начальник бюро, не поднимаясь со стула и не очень напирая, стал говорить о выполнении планов, о новых планах и о встречных социалистических обязательствах. Он вставил в план, но сам не верил, что к концу будущего года удастся дать технический проект абсолютного шифратора — и теперь обговаривал это всё так, чтоб оставить своим конструкторам запасные лазейки к отступлению.

Сологдин сидел в заднем ряду и ясным взглядом смотрел мимо голов в стену. Кожа лица его была гладка, свежа, нельзя было предположить, чтоб он сейчас о чём-то думал или был озабочен, а скорее пользовался совещанием как случаем передохнуть.

Но, напротив, — он напряжённейше думал. Как в оптических устройствах кружатся многогранники зеркал, попеременно разными гранями принимая и отражая лучи, так и в нём, на осях непересекающихся и непараллельных, кружились и сыпали брызгами мысли.

И вдруг самое простое, простое из простых влетело камешком подозрение: да не следят ли за ним с позавчерашнего дня, с тех пор, как Антон повидал этот лист? Девушки только за дверь вынесут — и там у них сейчас же отнимут его шифратор.

Он стал вертеться, как подколотый. Он еле дождался конца совещания — и быстро подошёл к чертёжницам. Они уже писали акт.

— Я один лист по ошибке вам дал... Простите... Вот этот. Вот этот.

Он понёс его к себе. Ничкой кверху положил на стол. Огляделся. Ларисы не было, никто не видел. Большими ножницами он быстро неровно разрезал лист пополам, ещё пополам, и каждую четвертушку на четыре части.

Вот так будет верней. Ещё одно упущение майора Шикина: не заставил он чертить чертежи в пронумерованных просургученных книгах!

Отвернувшись от комнаты в угол, все шестнадцать листиков пачкой Сологдин заложил себе за пазуху, под мешковатый комбинезон.

А коробку спичек он всегда держал в столе — для мелких сожжений.

Озабоченным шагом он вышел из конструкторского. Из главного коридора свернул в боковой, к уборной.

В переднем помещении зэк Тюнюкин, хорошо известный стукач, мыл руки под краном. В заднем помещении кроме писсуаров шли подряд четыре отгороженные кабины. Первая была заперта (Сологдин проверил, потянув дверь), две средних полуоткрыты и, значит, пусты, четвёртая опять закрыта, но поддалась его руке. На ней была хорошая задвижка. Сологдин вступил туда, запер и замер.

Он вынул из-за пазухи два листа, достал спички «победа» — и ждал. Не зажигал, боясь, что пламя можно будет увидеть через озарение на потолке, что запах гари быстро разойдётся по уборной.

Кто-то пришёл ещё. Потом ушёл и он, и тот, из первой кабины. Сологдин чиркнул. Сера вспыхнула и отлетела на грудь. Со второй спички сера не сорвалась, но огонёк её бессилен был объять скрученное коричневатое тело спички. Попыхав, он погас с обиженной струйкой дыма.

Сологдин про себя выругался ходовым лагерным ругательством. Невоспламеняемые несгораемые спички! — в какой стране есть подобные? Ведь таких и нарочно не сделаешь! «Победа»! Как они вообще одержали победу?

Третья спичка при нажатии сломалась. Четвёртую он ещё из ко-

робки достал сломанную. На пятой с трёх сторон головка была без серы.

В бешенстве Сологдин выковырнул сразу несколько спичек и чиркнул их сплоткой. Зажглись. Он подставил бумагу. Ватман загорался нехотя. Сологдин нагнул его огнём вниз. Разгоревшись, огонь стал жечь пальцы. Сологдин осторожно поставил горящие листы стоймя в унитаз, у края воды. Вынул ещё пачку и стал подпаливать от первых, поправляя, чтобы первые сгорели до конца. Чёрный пепел их съёжился и корабликом поплыл по воде.

Разгорелась вторая пачка. Опустив её, Сологдин клал на неё сверху ещё и ещё листы. Новая бумага придавила пламя, и потянулся кверху едкий дым тления.

Тут вошёл кто-то и заперся в кабине через одну от Сологдина. А дым шёл!

Это мог быть и друг.

Мог быть и враг.

Может быть, дым туда совсем не попадал. А может быть, тот человек уже заметил запах гари и сейчас поднимет тревогу.

В горле дрогнул кашель, но Сологдин сумел удержать.

И вдруг вся бумага вспыхнула и жёлтым столбом света ударила в потолок. Пламя яро горело, суша стенки унитаза, и можно было опасаться, что он расколется от огня.

Оставалось ещё два листика, но Сологдин не подкладывал. Догорело. Он с грохотом спустил воду. Она смяла и унесла весь ворох чёрного пепла.

И неподвижно ждал.

Пришли ещё двое за пустым делом, разговаривая:

— Он только и смотрит, как на чужом... в рай ехать.

— А ты проверяй на осциллографе — и бабец кооперации!

Ушли. Но сразу пришёл кто-то и заперся.

Сологдин стоял, унизительно затаясь. Вдруг сообразил посмотреть — что на оставшихся листах. Один был угловой и захватывал чертёж только краешком. Оторвав деловое, Сологдин выбросил остальное в корзину. Второй же листик захватывал самое сердце узла. Сологдин стал очень терпеливо изрывать его на мельчайшие кусочки, еле удерживаемые в ногтях.

Спустил воду — и в её рёве порывисто вышел в коридор.

Никто не заметил его.

В большом коридоре он пошёл медленно. И тут подумал: сжигаешь фрегат надежды, а боишься только, чтоб не лопнул унитаз да не заметили гари.

Он вернулся в бюро, рассеянно выслушал от Еминой насчёт крепёжных болтиков и попросил её ускорить копирование.

Она не понимала.

И не могла бы понять.

Он сам ещё не понял. Тут ещё многое было неясно. Ничуть не заботясь о показном «рабочем виде», не раскрывая ни готовальни, ни книг, ни чертежей, Сологдин подпер голову и с невидящими открытыми глазами сидел.

Вот-вот должны были подойти к нему и позвать к инженер-полковнику.

И действительно позвали — но к подполковнику.

Пришли жаловаться из фильтровой лаборатории, что до сих пор не выдали им заказанного чертежа двух кронштейнов. Подполковник не был грубый человек и, поморщась, только сказал:

— Дмитрий Алексаныч, неужели такая сложность? Заказано было в четверг.

Сологдин подтянулся:

— Виноват. Я уже кончаю их. Через час будут готовы.

Он ещё их не начинал, но нельзя же было признаться, что там всей работы ему на час.

78

Поначалу в жизни марфинских вольных имел большое принципиальное значение профсоюз.

Кому неизвестен этот рычаг социалистического производства? Кто благороднее профсоюзов мог попросить правительство об удлинении рабочего дня и недели? о повышении норм выработки и снижении оплаты за труд? Не было у горожан пищи или не было у них жилищ (часто — ни того, ни другого) — кто приходил на помощь, как не профсоюз, разрешая своим членам по выходным дням копать коллективные огороды и в часы досуга строить государственные дома? И все завоевания революции и всё прочнеющее положение начальства зиждилось тоже на профсоюзах. Никто лучше общего профсоюзного собрания не мог потребовать от администрации изгнания своего сослуживца, жалобщика и искателя справедливости, которого администрация не смела уволить в иной форме. Ничья подпись на актах о списании имущества, негодного для государственного использования, но ещё годного в домашнем быту директора, не была так кристально-наивна, как подпись председателя месткома. А жили профсоюзы на свои средства — на тот тридцатый процент из зарплаты трудящихся, который государство всё равно не могло удержать сверх двадцати девяти процентов займовых и налоговых удержаний.

И в большом и в малом профсоюзы воистину становились повседневной школой коммунизма.

И тем не менее в Марфино профсоюз отменили. Это так случилось: один высокопоставленный товарищ из московского горкома

партии узнал и только ахнул: «Да вы что? — и даже не добавил «товарищи». — Да это троцкизмом пахнет! Марфино — воинская часть, какой такой профсоюз?»

И в тот же день профсоюз в Марфине был упразднён.

Но это нисколько не потрясло основ марфинской жизни! Только ещё возросло и возросло значение организации партийной, бывшее немалым и прежде. И в обкоме партии признали необходимым иметь в Марфине освобождённого секретаря. Просмотрев несколько анкет, представленных отделом кадров, бюро обкома постановило рекомендовать на эту должность

> Степанова Бориса Сергеевича, 1900 года рождения, уроженца села Лупачи, Бобровского уезда, социальное происхождение — из батраков, после революции — сельский милиционер, профессии не имеет, социальное положение — служащий, образование — 4 класса и двухгодичная партшкола, член партии с 1921 года, на партийной работе — с 1923 года, колебаний в проведении линии партии не было, в оппозициях не участвовал, в войсках и учреждениях белых правительств не служил, в революционном и партизанском движении участия не принимал, под оккупацией не был, за границей не был, иностранных языков не знает, языков народностей СССР не знает, имеет контузию в голову, орден «Красной Звезды» и медаль «За победу в Отечественной войне над Германией».

В те дни, когда обком рекомендовал Степанова, сам он находился в Волоколамском районе агитатором на уборочной. Используя каждую минуту отдыха колхозников на полевом стане, садились ли они обедать или просто покурить, он тотчас собирал их (а вечерами ещё созывал и в правление) и неустанно разъяснял им в свете всепобеждающего учения Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина важность того, чтобы земля каждый год засевалась и притом доброкачественным зерном; чтобы посеянное зерно было выращено в количестве желательно большем, чем посеяно; чтобы затем оно было убрано без потерь и хищений и как можно быстрее сдано государству. Не зная отдыху, он тут же переходил к трактористам и объяснял им в свете всё того же бессмертного учения важность экономии горючего, бережного отношения к материальной части, совершенную недопустимость простоев, а также нехотя отвечал на их вопросы о плохом качестве ремонта и отсутствии спецодежды.

Тем временем общее собрание парторганизации Марфина горячо присоединилось к рекомендации обкома и единодушно избрало Степанова своим освобождённым секретарём, так и не повидав его. В те же дни агитатором в Волоколамский район был послан некий кооперативный работник, снятый за воровство в Егорьевском районе, а

в Марфине Степанову обставили кабинет рядом с кабинетом оперуполномоченного — и он приступил к руководству.

Руководство он начал с принятия дел от прежнего, не освобождённого секретаря. Прежним секретарём был лейтенант Клыкачёв. Клыкачёв был сухопар, как борзая, очень подвижен и не знал отдыха. Он успевал и руководить в лаборатории дешифрирования, и контролировать криптографическую и статистическую группы, и вести комсомольский семинар, и быть душой «группы молодых», и сверх всего быть секретарём парткома. И хотя начальство называло его требовательным, а подчинённые — въедливым, новый секретарь сразу заподозрил, что партийные дела в марфинском институте окажутся запущенными. Ибо партийная работа требует всего человека без остатка.

Так и оказалось. Начался приём дел. Он длился неделю. Не выйдя ни разу из кабинета, Степанов просмотрел все до единой бумаги, каждого партийца узнав сперва по личному делу, а лишь позже — в натуре. Клыкачёв почувствовал на себе нелёгкую руку нового секретаря.

Упущение вскрывалось за упущением. Не говоря уже о неполноте анкетных данных, неполноте подбора справок в личных делах, не говоря уже об отсутствии развёрнутых характеристик на каждого члена и кандидата, — наблюдалось по отношению ко всем мероприятиям общее порочное направление: проводить их, но не фиксировать документально, отчего сами мероприятия становились как бы призрачными.

— Но кто же поверит? Кто же поверит вам теперь, что мероприятия эти действительно проводились?! — возглашал Степанов, держа руку с дымящейся папиросой над лысой головой.

И он терпеливо разъяснял Клыкачёву, что всё это сделано *на бумаге* (потому что — только на словесных уверениях), а не *на деле* (то есть не на бумаге, не в виде протоколов).

Например, что толку, что физкультурники института (речь шла, разумеется, не о заключённых) каждый обеденный перерыв режутся в волейбол (даже имея манеру прихватывать часть рабочего времени)? Может быть, это и так. Может быть, они действительно играют. Но ни мы с вами, ни любые проверяющие не станут же выходить во двор и смотреть, прыгает ли там мяч. А почему бы тем же волейболистам, сыграв столько игр, приобретя столько опыта, — почему не поделиться этим опытом в специальной физкультурной стенгазете «Красный мяч» или, скажем, «Честь динамовца»? Если бы затем Клыкачёв такую стенгазетку аккуратненько снял бы со стеночки и приобщил к партийной документации — ни у какой инспекции никогда не закралось бы сомнение в том, что мероприятие «игра в волейбол» реально проводилось и руководила им партия. А в настоящее время кто же поверит Клыкачёву на слово?

И так во всём, так во всём. «Слова к делу не подошьёшь!» — с этой глубокомысленной пословицей Степанов вступил в должность.

Как ксёндз бы не поверил, что можно солгать в исповедальне, — так Степанову не приходило в голову, что можно солгать и в письменной документации.

Однако сухопарый Клыкачёв с постоянною запышкою боков не стал спорить со Степановым, но открыто благодарно соглашался с ним и учился у него. И Степанов быстро помягчел к Клыкачёву, проявляя тем самым, что он человек не злой. Он со вниманием выслушал опасения Клыкачёва о том, что во главе такого важного секретного института стоит инженер-полковник Яконов, человек не только с шаткими анкетными данными, но попросту *не наш* человек. Степанов и сам предельно насторожился. Клыкачёва же он сделал своей правой рукой, велел заходить в партком почаще и благодушно поучал его из сокровищницы своего партийного опыта.

Так Клыкачёв скорее и ближе всех узнал нового парторга. С его язвительного языка «молодые» стали звать парторга «Пастух». Но именно благодаря Клыкачёву отношения с Пастухом у «молодых» сложились неплохие. Они быстро поняли, что им гораздо удобнее иметь парторгом не открыто своего человека, а постороннего беспристрастного законника.

А Степанов был законник! Если ему говорили, что кого-то жаль, что к кому-то не надо проявлять всей строгости закона, но проявить снисхождение, — борозда боли прорезала лоб Степанова, увышенный отсутствием волос на темени, плечи же Степанова сутулились, как бы ещё под новой тяжестью. Но, сжигаемый пламенным убеждением, он находил в себе силы распрямиться и резко повернуться к одному и к другому собеседнику, отчего беленькие квадратики — отражения окон, метались на свинцовых стёклах его очков:

— Товарищи! Товарищи! Что я слышу? Да как у вас поворачивается язык? Запомните: поддерживай закон всегда! поддерживай закон, как бы тебе ни было тяжело!! поддерживай закон из последних сил!! — и только так, и только этим ты в действительности поможешь тому, ради кого собирался закон нарушить! Потому что закон именно так составлен, чтобы служить обществу и человеку, а мы этого часто не понимаем и по слепости хотим закон обойти!

Со своей стороны и Степанов был доволен «молодыми» с их тяготением к партийным собраниям и партийной критике. В них он видел ядро того здорового коллектива, который он старался создавать на каждом новом месте своей работы. Если коллектив не открывал руководству нарушителей закона из своей среды, если коллектив отмалчивался на собраниях — такой коллектив Степанов с полным основанием считал нездоровым. Если же коллектив всем скопом набрасывался на одного своего члена и именно на того, на кого указывал

парткорм, — такой коллектив по понятиям людей и выше Степанова был здоровый.

У Степанова много было таких установившихся понятий, с которых сойти ему было невозможно. Например, он не представлял себе собрания без принятия в его конце громовой резолюции, бичующей отдельных членов коллектива и мобилизующей весь коллектив на новые производственные победы. Особенно он любил за это «открытые» партсобрания, куда в добровольно-обязательном порядке являлись и все беспартийные, и где можно было вдребезги разносить их, они же не имели права защищаться и голосовать. Если же перед голосованием раздавались обиженные или даже возмущённые голоса: «Что это? Собрание? Или суд?»

— Позвольте, товарищи, позвольте! — властно прерывал Степанов любого выступавшего или даже председателя собрания. Дрожащей рукой наскоро высыпав в рот порошок (после контузии у него жестоко разбаливалась голова от всякого волнения, а волновался он всегда, если нападали на партийную истину), он выходил на середину комнаты под самый свет верхних ламп, так что видны были крупные капли пота на его высоком лысом темени, — вы что же, получается, против критики и самокритики? — И решительно размахивая кулаком, как бы заколачивая свои мысли в головы слушателям, разъяснял: — Самокритика есть высший движущий закон советского общества, главный двигатель его прогресса! Пора понять, что когда мы критикуем наших членов коллектива, то не для того, чтобы отдать их под суд, но чтобы держать каждого работника каждую минуту в постоянном творческом напряжении! И тут не может быть двух мнений, товарищи! Конечно, не всякая критика нам нужна, это верно! Нам нужна *деловая* критика, то есть, критика, не затрагивающая испытанных руководящих кадров! Не будем смешивать свободу критики со свободой мелкобуржуазного анархизма!

И отойдя к графину с водой, глотал ещё один порошок.

Так торжествовала генеральная линия партии. И всегда случалось, что весь здоровый коллектив, включая и тех членов, кого бичевала и уничтожала резолюция («преступно-халатное отношение к работе», «граничащее с саботажем невыполнение сроков») — единогласно голосовали *за* резолюцию.

Иногда даже сходилось так, что Степанов, любящий резолюции разработанные, развёрнутые, Степанов, счастливым образом всегда заранее знающий смысл ожидаемых выступлений и окончательное мнение собрания, не успевал, однако, впопыхах, целиком составить резолюцию *до* собрания. Тогда после объявления председательствующего:

— Слово для оглашения проекта резолюции имеет товарищ Степанов! — освобождённый секретарь вытирал пот со лба и с лысины и говорил так:

— Товарищи! Я был очень занят, и поэтому в проекте резолюции не успел уточнить некоторых обстоятельств, фамилий и фактов,

или:

— Товарищи! Меня вызывали в Управление, и сегодня проекта резолюции я ещё не написал,

и в обоих случаях:

— Прошу поэтому голосовать резолюцию *в целом*, а завтра на досуге я её *подработаю.*

И марфинский коллектив оказывался настолько здоровым, что без ропота поднимал руки, так и не зная (и не узная), кого именно будут в этой резолюции поносить, кого превозносить.

Очень укрепляло положение нового парторга ещё и то, что он не ведал слабостей интимных отношений. Все уважительно звали его «Борис Сергеич». Принимая это как должное, он, однако, никого на всём объекте по имени-отчеству не звал, и даже в азарте настольного биллиарда, сукно которого неизменно зеленело в комнате парткома, восклицал:

— Выставляй шара́, товарищ Шикин!

— От борта, товарищ Клыкачёв!

Вообще, Степанов не любил, чтобы люди взывали к его высшим и лучшим побуждениям. Одновременно и сам он к подобным побуждениям в людях не взывал. Поэтому, едва почувствовав в коллективе какое-то неудовольствие или сопротивление своим мероприятиям, он не разглагольствовал, не убеждал, но брал большой чистый лист бумаги, крупно писал вверху: «Предлагается нижепоименованным товарищам к такому-то сроку выполнить то-то и то-то», затем графил по форме: № по порядку, фамилия, расписка в извещении — и давал секретарше обойти с листом. Указанные товарищи читали, как угодно расплескивали своё ожесточение над белым равнодушным листом, но не могли не расписаться — а расписавшись, не могли не выполнить.

Был Степанов секретарём *освобождённым* также и от сомнений и блужданий во тьме. Довольно было объявить по радио, что нет больше героической Югославии, а есть клика Тито, как уже через пять минут Степанов разъяснял решение Коминформа с таким настоянием, с такой убеждённостью, будто годами вынашивал его в себе сам. Если же кто-нибудь робко обращал внимание Степанова на противуречие инструкций сегодняшних и вчерашних, на плохое снабжение института, на низкое качество отечественной аппаратуры или трудности с жильём, — освобождённый секретарь даже улыбался, и очки его светлели, ибо знали то словечко, которое он сейчас скажет:

— Ну, что ж поделать, товарищи. Это — ведомственная неразбериха. Но прогресс и в этом вопросе несомненен, вы не станете спорить!

Всё же некоторые человеческие слабости были присущи и Степанову, но в очень ограниченных размерах. Так, ему нравилось, когда высшее начальство хвалило его и когда рядовые партийцы восхищались его опытностью. Нравилось потому, что это было справедливо.

Ещё он пил водку — но только если его угощали или выставляли на столы, и всякий раз жаловался при этом, что водка смертельно вредна его здоровью. По этой причине сам он её никогда не покупал и никого не угощал. Вот, пожалуй, были и все его недостатки.

«Молодые» между собой иногда спорили, что такое Пастух. Ройтман говорил:

— Друзья мои! Он — пророк глубокой чернильницы. Он — душа отпечатанной бумажки. Такие люди неизбежны в переходный период.

Но Клыкачёв улыбался с оскалом:

— Желторотые! Попадись мы ему между зубами — он нас с дерьмом схамает. Не думайте, что он глуп. Он за пятьдесят лет тоже жить научился. По-вашему, это зря: каждое собрание — разносную резолюцию? Он историю Марфина этим пишет! Он пре-ду-смо-трительно материальчики накопляет: при любом обороте любая инспекция пусть убедится, что освобождённый секретарь сигнализировал, внимание общественности — приковывал.

В недобросовестном освещении Клыкачёва Степанов представал человеком кляузным, скрытным, всеми правдами и неправдами выращивающим трёх сыновей.

Три сына у Степанова действительно были и непрерывно требовали с отца денег. Всех трёх он определил на исторический факультет, зная, что история для марксиста наука не трудная. Расчёт у него был как будто и верен, но не учёл он (как и единый государственный план просвещения), что внезапно наступит полное насыщение историками-марксистами всех школ, техникумов и кратковременных курсов сперва Москвы, потом Московской области, а потом и до Урала. Первый сын закончил и не остался кормить родителей, а поехал в Ханты-Мансийск. Второму предлагали при распределении Улан-Удэ, когда же окончит третий — вряд ли он сумеет найти что-нибудь ближе острова Борнео.

Тем более цепко отец держался за свою работу и за маленький домик на окраине Москвы с двенадцатью сотками огорода, бочками квашеной капусты и откормом двух-трёх свиней. Жена Степанова, женщина трезвая и может быть несколько отсталая, видела в выращивании свиней основной интерес жизни и опору семейного бюджета. У неё неуклонно было намечено на минувшее воскресенье ехать с мужем в район и там покупать поросёнка. Из-за этой (удавшейся) операции Степанов и не приходил вчера, в воскресенье, на работу, хотя у него сердце было не на месте после субботнего разговора и рвалось в Марфино.

В субботу в Политуправлении Степанова постиг удар. Один работник, очень ответственный, но, несмотря на свои ответственные тревоги, и очень упитанный, так примерно пудиков на шесть — на семь, посмотрел на худой заезженный очками нос Степанова и спросил ленивым баритоном:

— Да, Степанов, — а как у тебя с иудеями?

— С иу... кем? — навострился дослышать Степанов.

— С иудеями. — И видя непонимание собеседника, пояснил: — Ну, с жидами, значит.

Захваченный врасплох и боясь повторить это обоюдоострое слово, за которое так недавно давали десять лет как за антисоветскую агитацию, а когда-то и к стенке ставили, Степанов неопределённо пробормотал:

— Е-есть...

— Ну, и что ты там с ними думаешь?..

Но зазвонил телефон, ответственный товарищ взял трубку и больше не разговаривал со Степановым.

В смятеньи Степанов перечёл в Управлении всю пачку директив, инструкций и указаний — но чёрные буквы на белой бумаге лукаво обходили иудейский вопрос.

Весь воскресный день, в езде за поросёнком, он думал, думал и в отчаянии скрёб грудь. Видно, от старости притупела его догадливость! А теперь — позор! — испытанный работник, Степанов прохлопывал какую-то важную новую кампанию и даже косвеино сам оказался замешан в интригах врагов, потому что вся эта группа Ройтмана — Клыкачёва...

Растерянный, приехал Степанов в понедельник утром на работу. После отказа Шикина погонять в биллиард (Степанов имел умысел выведать что-нибудь от Шикина), задыхающийся от отсутствия инструкций освобождённый секретарь заперся в парткоме и два часа кряду лихо гонял металлические шары сам с собой, иногда перебивая и через борт. Громадный настенный бронзированный барельеф из четырёх голов Основоположников внакладку был свидетелем нескольких блестящих ударов, когда в лузу клалось по два и по три шара зараз. Но силуэты на барельефе оставались бронзово-бесстрастны. Гении смотрели друг другу в затылок и не подсказывали Степанову решения, как ему не погубить здоровый коллектив и даже укрепить его в новой обстановке.

Изнурённый, он наконец услышал телефонный звонок и припал к трубке.

Ему звонили, во-первых, чтобы сегодня вечером не проводить обычных комсомольской и партийной политучёб, но собрать всех людей на лекцию «Диалектический материализм — передовое мировоззрение», которую прочтёт лектор обкома. Во-вторых, что в Марфино уже выехала машина с двумя товарищами, которые дадут соответст-

вующие установки по вопросу борьбы с низкопоклонством перед заграницей.

Освобождённый секретарь воспрял духом, повеселел, загнал дуплет в лузу и убрал биллиард за шкаф.

Ещё то повышало его настроение, что купленный вчера розовоухий поросёнок очень охотно, не привередничая, кушал запарку и вечером и утром. Это давало надежду дёшево и хорошо его откормить.

79

В кабинете инженер-полковника Яконова был майор Шикин.

Они сидели и беседовали как равный с равным, вполне приязненно, хотя каждый из них презирал и терпеть не мог другого.

Яконов любил говаривать на собраниях: «мы, чекисты». Но для Шикина он всё равно оставался тем прежним — врагом народа, ездившим за границу, отбывавшим срок, прощённым, даже принятым в лоно госбезопасности, но не невиновным! Неизбежно, неизбежно должен был наступить тот день, когда Органы разоблачат Яконова и снова арестуют. С наслаждением Шикин сам бы тогда сорвал с него погоны! Старательного большеголового коротышку-майора задевала раскошная снисходительность инженер-полковника, та барская самоуверенность, с которой он нёс бремя власти. Шикин всегда поэтому старался подчеркнуть значение своё и недооцениваемой инженер-полковником оперативной работы.

Сейчас он предлагал на следующем развёрнутом совещании о бдительности поставить доклад Яконова о состоянии бдительности в институте, с жестокой критикой всех недостатков. Такое совещание хорошо было бы связать с этапированием недобросовестных зэ-ка и с введением новой формы секретных журналов.

Инженер-полковник Яконов, после вчерашнего приступа замученный, с синими подглазными мешками, но всё же сохраняя приятную округлость черт лица и кивая словам майора, — там, в глубине, за стенами и рвами, куда не проникал ничей взгляд, может быть только взгляд жены, думал, какая гадкая сероволосая поседевшая над анализом доносов вошь этот майор Шикин, как идиотски ничтожны его занятия, какой кретинизм все его предложения.

Яконову дали единственный месяц. Через месяц могла лечь на плаху его голова. Надо было вырваться из брони командования, из оскорузлости высокого положения — самому сесть за схемы, подумать в тишине.

Но полуторное кожаное кресло, в котором сидел инженер-полковник, в самом себе уже несло своё отрицание: за всё ответствен-

ный, полковник ни к чему не мог прикоснуться сам, а только поднимать телефонную трубку да подписывать бумаги.

Ещё эта мелкая бабья война с группой Ройтмана забирала душевные силы. Войну эту он вёл по нужде. Он не был в состоянии вытеснить их из института, а только хотел принудить к безусловному подчинению. Они же хотели — изгнать его, и способны были — погубить его.

Шикин говорил. Яконов смотрел чуть мимо Шикина. Физически он не закрывал глаз, но духовно закрыл их — и покинул своё рыхлое тело в кителе и перенёсся к себе домой.

Дом мой! Мой дом — моя крепость! Как мудры англичане, первые понявшие эту истину. На твоей маленькой территории существуют только твои законы. Четыре стены и крыша прочно отделяют тебя от любимой отчизны. Внимательные, с тихим сиянием глаза жены встречают тебя на пороге твоего дома. Весело щебечут девочки (увы, уже и их заглатывает школа, как казённая задуривающая служба), потешают и освежают тебя, уставшего от травли, от дёрганий. Жена уже научила обоих тараторить по-английски. Подсев к пианино, она сыграет приятный вальсик Вальдтейфеля. Коротки часы обеда и потом самого позднего вечера, уже на пороге ночи — но нет в твоём доме ни сановных надутых дураков, ни прицепчивых злых юношей.

То, что составляло работу инженер-полковника, включало в себя столько мук, унизительных положений, насилий над волей, административной толкотни, да и настолько уже немолодым чувствовал себя Яконов, что он охотно бы пожертвовал этой работой, если бы мог — а оставался бы только в своём маленьком уютном мирке, в своём доме.

Нет, это не значит, что внешний мир его не интересовал — интересовал и очень живо. Даже трудно было найти в мировой истории время, завлекательнее нашего. Мировая политика была для него род шахмат — усотерённых Шахмат. Только Яконов не претендовал играть в них или, того хуже, быть в них пешкой, головкой пешки, подстилкой под пешку. Яконов претендовал наблюдать игру со стороны, смаковать её — в покойной пижаме, в старинной качалке, среди многих книжных полок.

Все условия для таких занятий у Яконова были. Он владел двумя языками, и иностранное радио наперебой предлагало ему информацию. Иностранные журналы первым в Союзе получало МГБ и по своим институтам рассылало без цензуры технические и военные. А они все любили тиснуть статейку о политике, о будущей глобальной войне, о будущем политическом устройстве планеты. Вращаясь среди видных гебистов, Яконов нет-нет да и слышал подробности, не доступные печати. Не брезговал он и переводными книгами о дипломатии, о разведке. И ещё у него была собственная голова с отточенными мыслями. Его игра в Шахматы в том и состояла, что он из

качалки следил за партией Восток — Запад и по делаемым ходам пытался угадать будущие.

За кого же был он? Душою — за Запад. Но он верно знал победителя и не ставил ни фишки против него: победителем будет Советский Союз. Яконов понял это ещё после поездки в Европу в 1927 году. Запад был обречён именно потому, что хорошо жил — и не имел воли рисковать жизнью, чтоб эту жизнь отстоять. И виднейшие мыслители и деятели Запада, оправдывая перед собой эту нерешительность, эту жажду оттяжки боя — обманывали себя верою в пустые звуки обещаний Востока, в самоулучшение Востока, в его светлую идейность. Всё, что не подходило под эту схему, они отметали как клевету или как черты временные.

Здесь был общий мировой закон: побеждает тот, кто жесточе. В этом, к сожалению, вся история и все пророки.

Рано в молодости подхватил Антон и усвоил ходячую фразу: «все люди — сволочи». И сколько жил он потом — истина эта лишь подтверждалась и подтверждалась. И чем прочней он в ней укоренялся, тем больше он находил ей доказательств, и тем легче ему становилось жить. Ибо если все люди — сволочи, то никогда не надо делать «для людей», а только для себя. И никакого нет «общественного алтаря», и никто не смеет спрашивать с нас жертв. И всё это очень давно и очень просто выражено самим народом: «своя рубаха ближе к телу».

Поэтому блюстители анкет и душ напрасно опасались его прошлого. Размышляя над жизнью, Яконов понял: в тюрьму попадают лишь те, у которых в какой-то момент не хватило ума. Настоящие умники предусмотрят, извернутся, но всегда уцелеют на воле. Зачем же существование наше, данное нам лишь покуда мы дышим — проводить за решёткой? Нет! Яконов не для видимости только, но и внутренне отрёкся от мира зэков. Четырёх просторных комнат с балконом и семи тысяч в месяц он не получил бы из других рук или получил бы не сразу. Власть причинила ему зло, она была взбалмошна, бездарна, жестока — но в жестокости и была ведь сила, её вернейшее проявление!

И не имея возможности совсем забросить службу, Яконов готовился вступить в коммунистическую партию, как только (если) примут.

Шикин тем временем протягивал ему список зэков, обречённых на завтрашний этап. Согласованных ранее кандидатур было шестнадцать, и теперь Шикин с одобрением дописал туда ещё двоих из настольного блокнота Яконова. Договорённость же с тюремным управлением была на двадцать. Недостающих двух надо было срочно «подработать» и не позже пяти часов вечера сообщить подполковнику Климентьеву.

Однако кандидатуры сразу на ум не шли. Как-то так всегда по-

лучалось, что лучшие специалисты и работники были ненадёжны по оперативной линии, а любимчики оперуполномоченного — шалопаи и бездельники. Из-за этого трудно было согласовывать списки на этапы.

Яконов развёл пальцами.

— Оставьте список мне. Я ещё подумаю. И вы подумайте. Созвонимся.

Шикин неторопливо поднялся и (надо было сдержаться, да не сдержался) человеку недостойному пожаловался на действия министра: в 21-ю комнату пускали заключённого Рубина, пускали Ройтмана — а его, Шикина, да и полковника Яконова на их собственном объекте не пускают, каково?

Яконов поднял брови и совершенно опустил веки, так что лицо его сделалось на мгновение слепым. Он выражал немо:

«Да, майор, да, друг мой, мне больно, мне очень больно, но поднимать глаза на солнце я не смею».

На самом деле отношение к двадцать первой комнате у Яконова было сложное. Когда в кабинете Абакумова в ночь на воскресенье он услышал от Рюмина об этом телефонном звонке, Яконова захватила острота этих двух новых ходов в мировых Шахматах. Потом своя буря заставила забыть всё. Вчера утром, отходя после сердечного припадка, он охотно поддержал Селивановского в намерении поручить всё Ройтману (дело хлипкое, мальчик горячий, может и шею свернёт). Но любопытство к этому дерзкому телефонному звонку осталось у Яконова, и ему-таки было обидно, что его в 21-ю комнату не пускают.

Шикин ушёл. Яконов же вспомнил самое приятное из дел, которое его сегодня ждало — а вчера он не успел. А между тем, если резко двинуть вперёд абсолютный шифратор — это спасёт его перед Абакумовым через месяц.

И, позвонив в конструкторское бюро, он велел прийти Сологдину с его новым проектом.

Через две минуты, постучав, вошёл с пустыми руками Сологдин — стройный, с курчавой бородкой, в засаленном комбинезоне.

Яконов и Сологдин почти не разговаривали раньше: вызывать Сологдина в этот кабинет надобностей не было, в конструкторском же бюро и при встречах в коридоре инженер-полковник не замечал личности, столь незначительной. Но сейчас (скосясь на список имён-отчеств под стеклом) со всем радушием хлебосольного барина Яконов одобрительно посмотрел на вошедшего и широко пригласил:

— Садитесь, Дмитрий Александрович, очень рад вас видеть.

Держа руки прикованными к телу, Сологдин подошёл ближе, молча поклонился и остался стоять неподвижно-прямой.

— Так вы, значит, тайком приготовили нам сюрприз?— рокотал Яконов. — На днях, да чуть ли не в субботу, я у Владимира Эра-

стовича видел ваш чертёж главного узла абсолютного шифратора... Да что же вы не садитесь?.. Просмотрел его бегло, горю желанием поговорить подробнее.

Не опуская глаз перед взглядом Яконова, полным симпатии, стоя вполоборота, недвижно, как на дуэли, когда ждут выстрела в себя, Сологдин ответил раздельно:

— Вы ошибаетесь, Антон Николаевич. Я, действительно, сколько умел, работал над шифратором. Но то, что мне удалось и что вы видели, есть создание уродливо несовершенное, в меру моих весьма посредственных способностей.

Яконов откинулся в кресле и доброжелательно запротестовал:

— Ну-у, нет, батенька, уж пожалуйста без ложной скромности! Я хоть смотрел вашу разработку мельком, но составил о ней весьма уважительное представление. А Владимир Эрастович, который обоим нам с вами высший судия, высказался с определённой похвалой. Сейчас я велю никого не принимать, несите ваш лист, ваши соображения — будем думать. Хотите, позовём Владимира Эрастовича?

Яконов не был тупым начальником, которого интересует только результат и выход продукции. Он был — инженер, когда-то даже азартный, и сейчас предощущал то тонкое удовольствие, которое нам может доставить долговыношенная человеческая мысль. То единственное удовольствие, которое ещё оставляла ему работа. Он смотрел почти просительно, лакомо улыбался.

Инженером был и Сологдин, уже лет четырнадцать. А арестантом — двенадцать.

Ощущая на себе приятный холодок закрытого забрала, он выговорил чётко:

— И тем не менее, Антон Николаевич, вы ошиблись. Это был набросок, недостойный вашего внимания.

Яконов нахмурился и, уже немного сердясь, сказал:

— Ну, хорошо, посмотрим, посмотрим, несите лист.

А на погонах его, золотых с голубой окаёмкой, было три звезды. Три больших крупных звезды, расположенных треугольником. У старшего лейтенанта Камышана, оперуполномоченного Горной Закрытки, в месяцы, когда он избивал Сологдина, тоже появились вместо кубиков такие — золотые, с голубой окаёмкой и треугольником три звезды, только мельче.

— Наброска этого больше нет, — дрогнул голос Сологдина. — Найдя в нём глубокие, непоправимые ошибки, я его... сжёг.

(Он вонзил шпагу и дважды её повернул.)

Полковник побледнел. В зловещей тишине послышалось его затруднённое дыхание. Сологдин старался дышать беззвучно.

— То есть... Как?.. Своими руками?

— Нет, зачем же. Отдал на сожжение. Законным порядком. У нас

сегодня сжигали. — Он говорил глухо, неясно. Ни следа не было его обычной звонкой уверенности.

— Сегодня? Так может он ещё цел? — с живой надеждой подвинулся Яконов.

— Сожжён. Я наблюдал в окно, — ответил, как отвесил, Сологдин.

Одной рукой вцепившись в поручень кресла, другой ухватясь за мраморное пресс-папье, словно собираясь размозжить им голову Сологдина, полковник трудно поднял своё большое тело и переклонился над столом вперёд.

Чуть-чуть запрокинув голову назад, Сологдин стоял синей статуей.

Между двумя инженерами не нужно было больше ни вопросов, ни разъяснений. Меж их сцепленными взглядами метались разряды безумной частоты.

«Я уничтожу тебя!» — налились глаза полковника.

«Хомутай третий срок!» — кричали глаза арестанта.

Должно было что-то с грохотом разорваться.

Но Яконов, взявшись рукою за лоб и глаза, будто их резало светом, отвернулся и отошёл к окну.

Крепко держась за спинку ближнего стула, Сологдин измученно опустил глаза.

«Месяц. Один месяц. Неужели я погиб?» — до мелкой чёрточки прояснилось полковнику.

«Третий срок. Нет, я его не переживу», — обмирал Сологдин.

И снова Яконов обернулся на Сологдина.

«Инженер-инженер! Как ты мог?!» — пытал его взгляд.

Но и глаза Сологдина слепили блеском:

«Арестант-арестант! Ты всё забыл!»

Взглядом ненавистным и зачарованным, взглядом, видящим себя самого, каким не стал, они смотрели друг на друга и не могли расцепиться.

И призрак желтокрылой Агнии второй раз за эти дни пропорхнул перед Антоном.

Теперь Яконов мог кричать, стучать, звонить, сажать — у Сологдина заготовлено и на это.

Но Яконов вынул чистый мягкий белый платок и вытер им глаза.

И ясно посмотрел на Сологдина.

Сологдин старался выстоять ровно ещё эти минуты.

Одной рукою инженер-полковник опёрся о подоконник, а другой тихо поманил к себе заключённого.

В три твёрдых шага Сологдин подошёл к нему близко.

Немного горбясь по-старчески, Яконов спросил:

— Сологдин, вы — москвич?

— Да.

— Вон, посмотрите, — сказал ему Яконов. — Вы видите на шоссе автобусную остановку?

Её хорошо было видно из этого окна.

Сологдин смотрел туда.

— Отсюда полчаса езды до центра Москвы, — тихо рассказывал Яконов. — На этот автобус вы могли бы садиться в июне — в июле этого года. А вы не захотели. Я допускаю, что в августе вы получили бы уже первый отпуск — и поехали бы к Чёрному морю. Купаться! Сколько лет вы не входили в воду, Сологдин? Ведь заключённых не пускают никогда!

— Почему? На лесоповале, — возразил Сологдин.

— Хорошенькое купанье! Но вы попадёте на такой север, где реки никогда не вскрываются...

Ведь тут как? Жертвуешь будущим, жертвуешь именем — мало. Отдай им хлеб, покинь кров, кожу сними, спускайся в каторжный лагерь...

— Сологди-ин! — нараспев и с мучением выстонал Яконов и две руки, как падая, положил на плечи арестанта. — Вы наверно можете всё восстановить! Слушайте, я не могу поверить, чтобы жил на свете человек, не желающий блага самому себе. Зачем вам погибать? Объясните мне: зачем вы сожгли чертёж??

Была всё так же невзмучаема, неподкупна, непорочна голубизна глаз Дмитрия Сологдина. А в чёрном зрачке его Яконов видел свою дородную голову. Голубой кружочек, чёрная дырочка посередине — а за ними целый неожидаемый мир одного единственного человека.

Хорошо иметь сильную голову. Ты владеешь исходом до последней минуты. Все пути событий починены тебе. Зачем тебе погибать? Для кого? Для безбожного потерянного развращённого народа?

— А как вы думаете? — вопросом ответил Сологдин. Его розовые губы между усами и бородкой чуть-чуть изогнулись как будто даже в насмешке.

— Не понимаю, — Яконов снял руки и пошёл прочь. — Самоубийц — не понимаю.

И услышал из-за спины звонкое, уверенное:

— Гражданин полковник! Я слишком ничтожен, никому неизвестен. Я не хотел отдать свою свободу ни за так.

Яконов резко повернулся.

—... Если бы я не сжёг чертежа, а положил его перед вами готовым — наш подполковник, вы, Фома Гурьянович, кто угодно, могли бы завтра же толкнуть меня на этап, а под чертежом поставить любое имя. Такие примеры были. А с пересылок, я вам скажу, очень неудобно жаловаться: карандаши отнимают, бумаги не дают, заявления доходят не туда... Арестант, отосланный на этап, не может оказаться прав ни в чём.

Яконов дослушивал Сологдина почти с восхищением. (Этот человек понравился ему, как он вошёл!)

— Так вы... берётесь восстановить чертёж?! — Это не инженер-полковник спросил, а отчаявшийся измученный безвластный человек.

— То, что было на моём листе — в три дня! — сверкнул глазами Сологдин. — А за пять недель я сделаю вам полный эскизный проект с расчётами в объёме технического. Вас устроит?

— Месяц! Месяц!! Нам месяц и нужен!! — не ногами по полу, а руками по столу возвращался Яконов навстречу этому чёртову инженеру.

— Хорошо, получите в месяц, — холодно подтвердил Сологдин.

Но тут Яконова отбросило в подозрение.

— Погодите, — остановил он. — Вы только что сказали, что это был недостойный набросок, что вы нашли в нём глубокие, непоправимые ошибки...

— О-о! — открыто засмеялся Сологдин. — Со мной иногда играет шутки нехватка фосфора, кислорода и жизненных впечатлений, находит какая-то полоса мрака. А сейчас я присоединяюсь к профессору Челнову: там всё верно!

Яконов тоже улыбнулся, от облегчения зевнул и сел в кресло. Он любовался, как Сологдин владеет собой, как он провёл этот разговор.

— Рискованно же вы сыграли, сударь. Ведь это могло кончиться иначе.

Сологдин слегка развёл пальцами.

— Вряд ли, Антон Николаич. Я, кажется, ясно оценил положение института и... ваше. Вы, конечно, владеете французским? Le hasard est roi! Его величество Случай! Он очень редко мелькает нам в жизни — и надо прыгнуть в него вовремя, и точно на середину спины!

Сологдин так просто говорил и держался, будто это было с Нержиным на дровах.

Теперь он тоже сел, продолжая смотреть на Яконова весело.

— Так что́ будем делать? — дружелюбно спросил инженер-полковник.

Сологдин отвечал как по-печатному, как о решённом давно:

— Фому Гурьяновича я бы хотел на первом же шаге миновать. Это как раз та личность, которая любит быть соавтором. С вашей стороны я не предполагаю такого приёмчика. Я ведь не ошибаюсь?

Яконов радостно покачал головой. О, как он был облегчён и без этого!

— К тому ж напоминаю, что и лист пока сожжён. Теперь, если вы дорожите моим проектом — найдите способ доложить обо мне прямо министру. В крайнем случае — замминистру. И пусть приказ

о моём назначении ведущим конструктором подпишет именно он. Это будет для меня гарантия — и я принимаюсь за работу. И мы формируем специальную группу.

Вдруг распахнулась дверь. Без стука вошёл лысый худой Степанов с мёртво-поблескивающими стёклами очков.

— Так, Антон Николаевич, — сказал он строго. — Есть важный разговор.

Степанов обращался к человеку по имени-отчеству! Это было невероятно.

— Значит, я жду приказа? — встал Сологдин.

Инженер-полковник кивнул. Сологдин вышел легко и твёрдо.

Яконов даже не сразу вник, о чём это так оживлённо говорил парторг.

— Товарищ Яконов! Только что у меня были товарищи из Политуправления и очень-таки намылили голову. Я допустил большие и серьёзные ошибки. Я допустил, что в нашей парторганизации гнездилась группа, будем говорить — безродных космополитов. А я проявил политическую близорукость, я не поддержал вас, когда они пытались вас затравить. Но мы должны быть бесстрашными в признании своих ошибок! Вот мы сейчас с вами вдвоём подработаем резолюцию, потом соберём открытое партсобрание — и крепко ударим по низкопоклонству.

Дела Яконова, столь безнадёжные ещё вчера, круто поправлялись.

80

Перед обеденным перерывом в коридоре спецтюрьмы дежурный Жвакун вывесил список лиц, вызываемых в перерыв к майору Мышину. Официально считалось, что по такому списку зэки вызывались за получением писем и извещений о переводах на лицевой счёт.

Процедура выдачи арестанту письма была в спецтюрьмах обставлена таинственно. Её нельзя было так пошло, как на воле, поручить бродяге-почтальону. За глухою дверью, с глазу на глаз, духовный отец — кум, сам прочетший это письмо и убедившийся, что в нём нет греховных смутных мыслей, — передавал его арестанту, сопровождая поучениями. Письмо выдавалось откровенно распечатанным, в нём была убита последняя интимность мысли, летящей от родного к родному. Письмо, прошедшее многие руки, расхватанное на цитаты в досье, получившее внутри себя чёрную размазанную печать цензуры, — теряло ничтожный личный смысл и приобретало важное значение государственного документа. (На иных шарашках это понимали настолько хорошо, что вообще не отдавали письма арестанту, а раз-

решали ему лишь прочесть его, редко дважды, в кабинете у кума и отбирали в конце письма расписку о прочтении; если же, читая письмо жены или матери, зэк пытался сделать выписки для памяти, — это вызывало подозрение, как если б он покушался скопировать документы Генерального Штаба. На присылаемых из дому фотографиях тамошний зэк тоже расписывался, что их смотрел, — и их подшивали в его тюремное дело.)

Итак, список был вывешен — и становились в очередь за письмами. Ещё становились в очередь те, кто хотел не получить, а отправить своё письмо за декабрь — его тоже полагалось сдать лично в руки куму. Под видом всех этих операций майор Мышин имел возможность беспрепятственно беседовать со стукачами и вызывать их вне графика. Но дабы не было явно, с кем он беседует дольше, тюремный кум иногда задерживал в кабинете и честных зэков, сбивая остальных с толку.

Так в очереди подозревали друг друга, а иногда и знали точно, кто *закладывает* их жизни, но заискивающе улыбались им, чтобы не рассердить.

Хотя советское тюрьмоведение и не опиралось прямо на опыт Катона Старшего, но верно следовало его завету: не допускать, чтобы рабы жили между собою слишком дружно.

По обеденному звонку взбежав из подвала во двор, зэки пересекали его, неодетые и без шапок, при сыром нехолодном ветре и шмыгали в дверь тюремного штаба. Из-за того, что утром был объявлен новый порядок переписки, очередь собралась особенно большая — человек сорок, и в коридоре не помещалась. Помощник дежурного, *шебутной* старшина, ретиво распоряжался во всю силу своего пышущего здоровья. Он отсчитал двадцать пять человек, остальным велел гулять и прийти в ужинный перерыв, запущенных же в коридор разместил вдоль стенки поодаль от кабинетов начальства и сам всё время ходил по проходу, наблюдая порядок. Очередной зэк миновал несколько дверей, стучался в кабинет майора Мышина и, получив разрешение, вступал. По его возврату пускался другой. Весь обеденный перерыв шебутной старшина руководил движением.

Как ни домогался Спиридон с утра получить письмо, Мышин твёрдо сказал ему, что будет выдавать в перерыв, когда и всем. Но за полчаса до обеда Спиридона вызвал к себе на допрос майор Шикин. Спиридону бы дать требуемые показания, признаться во всём — и он, глядишь, успел бы получить письмо. Но он запирался, упорствовал — и майор Шикин не мог отпустить его в таком нераскаянном виде. Поэтому, жертвуя своим перерывом (в столовую вольных он ходил всё равно не в перерыв, чтоб не толкаться), — Шикин продолжал допрашивать Спиридона.

А первым в очереди за письмами оказался Дырсин, заморенный инженер из Семёрки, один из основных её работников. Больше трёх

месяцев он не получал писем. Тщетно он осведомлялся у Мышина, ответы были: «нет», «не пишут». Тщетно он просил Мамурина, чтобы слали розыск — розыска не слали. И вот сегодня он увидел свою фамилию в списке и, перемогая боль в груди, успел прибежать первый. Осталась у него из семьи одна жена, изведенная десятилетним ожиданием, как и он.

Старшина махнул Дырсину идти — и первым в очереди стал озорно-сияющий Руська Доронин с волнисто-дрожащим взбитком светлых волос. Увидев рядом в очереди латыша Хуго, одного из своих доверенных, он тряхнул волосами и шепнул, подмигивая:

— Иду деньги получать. Заработанные.

— Пройдите! — скомандовал старшина.

Доронин рванул вперёд навстречу пониклому возврату Дырсина.

— Ну, что? — уже во дворе спросил у Дырсина его друг по работе Амантай Булатов.

Всегда небритое, всегда унылое лицо Дырсина ещё вытянулось:

— Не знаю. Говорит — письмо есть, но зайдите после перерыва, будем разговаривать.

— ...я́ди они! — уверенно заключил Булатов, и через роговые очки его вспыхнуло. — Я тебе давно говорю — зажимают письма. Откажись работать!

— Второй срок припаяют, — вздохнул Дырсин. Всегда он был пригорблен и голову втягивал в плечи, как будто стукнули его хорошо один раз сзади чем-то большим.

Вздохнул и Булатов. Он потому был такой воинственный, что ему ещё было сидеть и сидеть. Но решительность зэка тем более падает, чем меньше ему остаётся до освобождения. Дырсин же *разменял* последний год.

Небо было равномерно серое, без сгущений и без просветов. Не было в нём ни высоты, ни куполообразности — грязная брезентовая крыша, натянутая над землёй. Под резким влажным ветром снег оседал, ноздреватеп, исподволь рыжела его утренняя белизна. Под ногами гуляющих он сбивался в буроватые скользкие бугорки.

А прогулка шла, как обычно. Нельзя придумать такой мерзкой погоды, чтобы вянущие без воздуха арестанты шарашки отказались от прогулки. Засидевшимся в комнатах, им были даже приятны эти резкие порывы сырого ветра — они выдували из человека застойный воздух и застойные мысли.

Среди гуляющих метался гравёр-оформитель. То одного, то другого зэка он брал под руку, совершал с ним петлю-две и просил совета. Его положение было особенно ужасно, как считал он: ведь, находясь в заключении, он не мог вступить в брак со своей первой женой, и она теперь рассматривалась как незаконная; он не имел права дольше ей писать; и даже написать о том, что не будет писать — не мог, исчерпавши декабрьский месячный лимит. Ему со-

чувствовали. Его положение, в самом деле, было нелепо. Но у каждого своя боль пересиливала чужие.

Склонный к ощущениям крайним, Кондрашёв-Иванов, высокий, прямой, как со вставленной жердью, медленно шёл, глядя поверх голов гуляющих и в мрачном упоении высказывал профессору Челнову, что когда так попрано человеческое достоинство, жить дальше — значит унижать себя. У каждого мужественного человека есть простой выход из этой цепи издевательств.

Профессор Челнов в неизменной вязаной шапочке и пледе, обёрнутом вокруг плеч, со сдержанностью цитировал художнику «Тюремные утешения» Боэция.

У дверей штаба сбилась группа добровольных охотников на стукачей — Булатов, чей голос разносился на весь двор; Хоробров; беззлобный вакуумщик Земеля; старший вакуумщик Двоетёсов, принципиально в лагерном бушлате; юркий, во всё сующийся Прянчиков; лидер немцев Макс; и один из латышей.

— Страна должна знать своих стукачей! — повторял Булатов, поддерживая их в намерении не расходиться.

— Да мы их в основном и так знаем, — отвечал Хоробров, став на порог и пробегая глазами вереницу очереди. О некоторых он мог с вероятностью сказать, что они стоят за получением своей иудиной платы. Но подозревали, конечно, наименее ловких.

Руська вернулся к компании весёлый, едва удерживаясь, чтобы над головой не помахивать денежным переводом. Соткнувшись головами, они все быстро осмотрели перевод: он был от мифической Клавдии Кудрявцевой Ростиславу Доронину на 147 рублей!

Идя с обеда и становясь в хвост очереди, эту группу оглядел своим омутнённым взглядом обер-стукач, премьер стукачей, Артур Сиромаха. Он оглядел группу по привычке замечать всё, но ещё не придал ей значения.

Руська забрал свой перевод и по уговору отошёл от группы.

Третьим к куму зашёл инженер-энергетик, сорокалетний мужчина, вчера вечером в запертом ковчеге предлагавший приравнять министров к ассенизаторам, а потом как ребёнок устроивший потасовку подушками на верхних койках.

Четвёртым быстрой лёгкой походкой прошёл Виктор Любимичев — парень «свой в доску». В улыбке он обнажал крупные ровные зубы и молодых ли, старых ли арестантов — всех подкупающе звал «братцы». Через это сердечное обращение сквозила его чистая душа.

Энергетик вышел на порог с раскрытом письмом. Углублённый в него, он не сразу нащупал ногой обрыв ступеньки. Так же не видя, сошёл с неё в сторону — и никто из группы «охотников» не потревожил его. Неодетый, без шапки, под ветром, трепавшим его волосы, ещё молодые вопреки всему пережитому, он читал после восьми лет

разлуки первое письмо от дочери Ариадны, которую, уходя в 41-м году на фронт (а оттуда — в плен, а из плена — в тюрьму), оставил светленькой шестилетней девчушкой, цеплявшейся за его шею. И когда в бараке военнопленных ходили с хрустом по слою тифозных вшей, и когда по четыре часа он стоял в очереди за черпаком мутно-вонючей баланды, — дорогой светленький клубочек всё тянул его ниточкой Ариадны — как-нибудь пережить и вернуться. Но вернувшись на родину, сразу в тюрьму, он так и не увидел дочери: они с матерью остались в Челябинске, где были в эвакуации. И мать Ариадны, видимо уже с кем-то сойдясь, долго не хотела открывать дочери существование отца.

Наклонным, старательно-ученическим почерком без помарок дочь теперь писала:

«Здравствуй, дорогой папа!

Я не отвечала потому, что не знала, с чего начать и что писать. Это простительно мне, так как я тебя очень давно не видела и привыкла к тому, что отец мой погиб. Мне даже странно, что у меня и вдруг папа.

Ты спрашиваешь, как я живу. Живу как все. Можешь поздравить — поступила в Комсомол. Ты просишь написать тебе, в чём я нуждаюсь. Хочется мне, конечно, очень много. Сейчас коплю деньги на боты и на пошивку демисезонного пальто. Папа! Ты просишь, чтоб я к тебе приехала на свидание. Но разве это такая срочность? Ехать где-то так далеко тебя разыскивать — согласись сам, не очень приятно. Когда сможешь — приедешь сам. Желаю тебе успехов в работе. Пока до свиданья.

Целую.

Ариадна.

Папа, ты видел картину «Первая перчатка»? Вот замечательная! Я не пропускаю ни одной картины».

— Любимичева будем проверять? — спросил Хоробров в ожидании его выхода.

— Что ты, Терентьич! Любимичев — парень наш! — ответили ему.

Но Хоробров глубоким чутьём что-то чувствовал в этом человеке. И вот сейчас он как раз задерживался у кума.

У Виктора Любимичева были открытые крупные глаза. Природа наградила его гибким телом спортсмена, солдата и любовника. Жизнь вырвала его сразу с беговых дорожек юношеского стадиона в концлагерь, в Баварию. В этом тесном пространстве смерти, куда загнали русских солдат враги, а своя советская власть не допустила международного Красного Креста, — в этом маленьком плотном пространстве ужаса выживали только те, кто наиболее отрешился от ограниченных относительных классовых понятий добра и совести; те, кто мог продавать своих, став переводчиком; те, кто мог палкой по лицу бить соотечественников, став лагерным надзирателем; те, кто мог есть хлеб голодающих, став хлеборезом или поваром. И ещё было две возможности выжить — могильщиком и золотарём. За рытьё могил и за чистку уборных нацисты положили лишний черпак баланды. Но с уборными справлялись двое. На могилы же выходило каждый день полсотни. Что ни день, десяток дрог вывозили мёртвых на свалку. К лету сорок второго года подходила очередь и самих могильщиков. Со всей жаждой ещё нежившего тела Виктор Любимичев хотел жить. Он решил, что если умрёт, то последним, и уже договаривался в надзиратели. Но выпала счастливая возможность — приехал в лагерь какой-то гнусавый бывший политрук — и стал уговаривать идти бить коммунистов. Записывались. Среди них — и комсомольцы... За воротами лагеря стояла немецкая военная кухня, и волонтёров тут же кормили кашей «от пуза». После этого в составе легиона Любимичев воевал во Франции: ловил по Вогёзам партизан «движения сопротивления», потом отбивался на Атлантическом Валу от союзников. В сорок пятом году во времена великого лова он както просеялся сквозь решето, приехал домой, женился на девушке с такими же ясными глазами, таким же юным гибким телом и, оставив её на первом месяце, был арестован за прошлое. Тюрьмы как раз в это время проходили русские участники того самого «движения сопротивления», за которыми он гонялся по Вогёзам. В Бутырках резались в домино, вспоминали проведенные во Франции дни и бои и ждали передач от домашних. Потом всем дали поровну — по десять лет. Так всей своей жизнью Любимичев был воспитан и приучен, что ни у кого, от рядового парня до члена Политбюро, никаких «убеждений» никогда не было и быть не может — и у тех, кто их судит — тоже.

Ничего не подозревая, с простодушными глазами, держа в руке листик, сильно похожий на почтовый денежный перевод, Виктор не только не пытался миновать группу «охотников», но сам подошёл к ней и спросил:

— Братцы! Кто обедал? Что там на второе? Стоит идти?

Кивая на бланк перевода в опущенной руке Виктора, Хоробров спросил:

— Что, много денег получил? Уже в обеде не нуждаешься?

— Да где много! — отмахнулся Любимичев и хотел спрятать бланк в карман. Он потому не удосужился его спрятать раньше, что все боялись его силы и никто бы не посмел спрашивать отчёта. Но пока он разговаривал с Хоробровым, — Булатов словно в шутку наклонился, искособочился и прочёл:

— Фу-у! Тысяча четыреста семьдесят рублей! Наплевать тебе теперь на Климентиадисов харч!

Сделай это любой другой зэк, Виктор шутливо двинул бы его в лоб и бланка не показал. Но с Амантаем не следовало, чтоб он предполагал у своего подчинённого изобилие денег, это общее лагерное правило. И Любимичев оправдался:

— Да где тысяча, смотри!

И все увидели: 147 р. 00 к.

— Во, чудно́! Не могли полтораста прислать! — невозмутимо заметил Амантай. — Тогда иди, на второе шницель.

Но Любимичев не успел тронуться, и не успел замолкнуть голос Булатова, — как затрясся Хоробров. Хоробров потерял свою роль. Он забыл, что надо сдерживаться, улыбаться и ловить дальше. Он забыл, что главное — это стукачей узнать, уничтожить же их невозможно. Сам настрадавшийся от стукачей, видевший гибель многих — и всё от стукачей, он ненавидел этих скрывчивых предателей больше, чем открытых палачей. По возрасту — сын Хороброву, юноша, годный для лепки статуй, — оказался такая добровольная гадина!

— С-сволочь ты! — проговорил Хоробров дрожащими губами. — На нашей крови досрочки ищешь? Чего тебе не хватало?

Боец, всегда готовый к бою, Любимичев передёрнулся и отвёл руку для короткого боксёрского удара.

— Ух ты, падаль вятская! — предупредил он.

— Что́ ты, Терентьич! — ещё раньше кинулся Булатов отвести Хороброва.

Громадный неуклюжий Двоетёсов в лагерном бушлате перехватил своей левой отведённую правую руку Любимичева и впился в неё.

— Мальчик, мальчик! — сказал он с пренебрежительной усмешкой, с той почти ласковой тихостью, которая даётся напряжением всего тела. — Что, как партиец с партийцем поговорим?

Любимичев круто обернулся к Двоетёсову, и его открытые ясные глаза почти сошлись с близорукими выкаченными глазами Двоетёсова.

И Любимичев не отвёл второй руки для удара. В этих совиных глазах и в перехвате его руки мужицкою рукой он понял, что один из двоих сейчас не опрокинется, а упадёт мёртвым.

— Мальчик, мальчик, — залаженно повторял Двоетёсов. — На второе шницель. Пойди покушай шницель.

Любимичев вырвался и, гордо запрокинув голову, пошёл к трапу. Его атласные щёки пылали. Он искал, как рассчитаться с Хоробровым. Он сам ещё не знал, что обвинение пронзило его. Хоть он с любым готов был спорить, что понимает жизнь, а оказывалось — ещё не понимает.

И как могли догадаться? Откуда?

Булатов проводил его взглядом и взялся за голову:

— Мать моя родная! Кому ж теперь верить?

Вся эта сцена прошла на мелких движениях, во дворе её не заметили ни гуляющие зэки, ни два неподвижных надзирателя по краям прогулочной площадки. Только Сиромаха, смежив устало-неподвижные глаза, из очереди всё видел сквозь дверь и, припомнив Руську — понял до конца!

Он заметался.

— Ребята! — обратился он к передним, — у меня схема под током осталась. Вы меня без очереди не пропустите? Я быстро.

— У всех схема под током!

— У всех ребёнок! — ответили ему и рассмеялись.

Не пустили.

— Пойду выключу! — озабоченно объявил Сиромаха и, обегая стороной охотников, скрылся в главном здании. Не переводя дыхания, он взлетел на третий этаж. Но кабинет майора Шикина был заперт изнутри, и скважина закрыта ключом. Это мог быть допрос. Могло быть и свидание с долговязой секретаршей. Сиромаха в бессилии отступил.

С каждой минутой проваливались кадры и кадры — и ничего нельзя было сделать!

Следовало идти стать снова в очередь, но инстинкт гонимого зверя сильней желания выслужиться: было страшно идти опять мимо этой распалённо-злой кучки. Они могли зацепить Сиромаху и безо всякого повода. Его слишком знали на шарашке.

Тем временем во дворе вышедший от Мышина доктор химических наук Оробинцев, маленький, в очках, в богатой шубе и шапке, в которых ходил и на воле (он не побывал даже на пересылках, и его не успели ещё *раскурочить*), собрал вокруг себя таких же простаков, как сам, в том числе лысого конструктора, и давал им интервью. Известно, что человек верит главным образом тому, чему он хочет верить. Те, кто хотели верить, что подаваемый список родственников не является доносом, а разумной регулирующей мерой, и собрались теперь вокруг Оробинцева. Оробинцев уже отнёс аккуратно расчерченный на графы список, сдал его, сам говорил с майором Мышиным и авторитетно повторял его разъяснения: куда писать несовершеннолетних детей, и как быть, если отец неродной. В одном только майор Мышин оскорбил воспитанность Оробинцева. Оробинцев пожаловался, что не помнит точно место рождения же-

ны. Мышин раззявил пасть и засмеялся: «Что вы сё — из бардака взяли?»

Теперь доверчивые кролики слушали Оробинцева, не приставая к другой компании — в заветрии у стволов трёх лип, вокруг Абрамсона.

Абрамсон, после сытного обеда лениво покуривая, рассказывал слушателям, что все эти запрсты переписки не новы, и бывали даже хуже, что и этот запрет не навечно, а до смены какого-нибудь министра или генерала, поэтому духом падать не следует, по возможности от подачи списка пока воздержаться, а там и минует. Глаза Абрамсона имели от рождения узкий долгий разрез, и, когда он снимал очки, усиливалось впечатление, что он скучающе смотрит на мир заключённых: всё повторялось, ничем новым не мог его поразить Архипелаг ГУЛаг. Абрамсон столько уже сидсл, что как будто разучился чувствовать, и то, что для других было трагедия, он воспринимал не более, как мелкую бытовую новость.

Между тем охотники, увеличившиеся в числе, поймали ещё одного стукача — с шутками вытащили бланк на 147 рублей из кармана Исаака Кагана. До того, как у него вытащили перевод, на вопрос, что́ он получил у кума, он ответил, что не получил ничего, сам удивляется, по какой ошибке его вызвали. Когда же перевод вытащили силой и стали срамить — Каган не только не покраснел, не только не торопился уйти, но, всех своих разоблачителей по очереди цепляя за одежду, клялся неотвязчиво, назойливо, что это чистое нсдоразумение, что он покажет им письмо от жены, где она писала, как на почте у неё не хватило трёх рублей, и пришлось послать 147. Он даже тянул их идти с ним сейчас в аккумуляторную — и он там достанет это письмо и покажет. И ещё, тряся своей кудлатой головой и не замечая сползшего с шеи, почти волочащегося по земле кашне, он очень правдоподобно объяснял, почему он вскрыл вначале, что получил перевод. У Кагана было особое прирождённое свойство вязкости. Начав с ним говорить, никак нельзя было от него отцепиться, иначе как полностью признав его правоту и уступив ему последнее слово. Хоробров, его сосед по койке, знающий историю его пасадки за недоносительство, и уже не имея сил на него как следует рассердиться, только сказал:

— Ах, Исак, Исак, сволочь ты, сволочь! — на воле за тысячи не пошёл, а здесь на сотни польстился!

Или уж так напугали его лагерем?..

Но Исаак, не смущаясь, продолжал оправдываться и убедил бы их всех — если б не поймали ещё одного стукача, на этот раз латыша. Внимание отвлеклось, и Каган ушёл.

Кликнули на обед вторую смену, а первая выходила на прогулку. По трапу поднялся Нержин в шинели. Он сразу увидел Руську Доронина, стоящего на черте прогулочного двора. Торжествующим

блестящим взором Руська то посматривал на им подстроенную охоту, то откидывал дорожку на двор вольных и просвет на шоссе, где должна была вскоре сойти с автобуса Клара, приехав на вечернее дежурство.

— Ну?! — усмехнулся он Нержину и кивнул в сторону охоты. — А про Любимичева слышал?

Нержин остановился близ него и слегка приобнял.

— Качать тебя, качать! Но — боюсь за тебя.

— Хо! Я только разворачиваюсь, подожди, это цветики!

Нержин покрутил головой, усмехнулся, пошёл дальше. Он встретил спешащего на обед сияющего Прянчикова, накричавшегося вдоволь своим тонким голосом вокруг стукачей.

— Ха-ха, парниша! — приветствовал тот. — Вы всё представление пропустили! А где Лев?

— У него срочная работа. На перерыв не вышел.

— Что? Срочней Семёрки? Ха-ха! Такой не бывает.

Убежал.

Ни с кем не смешиваясь, уйдя в разговор, прорезали свои круги большой Бобынин со стриженой головой, в любую погоду без шапки, и маленький Герасимович в нахлобученной замызганной кепочке, в коротеньком пальтишке с поднятым воротником. Кажется, Бобынин мог всего Герасимовича заглотнуть и поместить в себе.

Герасимович ёжился от ветра, держал руки в боковых карманах — и, щуплый, походил на воробья.

На того из народной пословицы воробья, у которого сердце с кошку.

81

Бобынин отдельно крупно шагал по главному кругу прогулки, не замечая или не придавая значения кутерьме со стукачами, когда к нему наперехват, как быстрый катер к большому кораблю, сближая и изгибая курс, подошёл маленький Герасимович.

— Александр Евдокимыч!

Вот так подходить и мешать на прогулке не считалось среди шарашечных очень вежливым.

К тому ж они друг друга и знали мало, почти никак.

Но Бобынин дал стоп:

— Слушаю вас.

— У меня к вам один научно-исследовательский вопрос.

— Пожалуйста.

И они пошли рядом, со средней скоростью.

Однако полкруга Герасимович промолчал. И лишь тогда сформулировал:

— Вам не бывает стыдно?

Бобынин от удивления крутанул чугунцом головы, посмотрел на спутника (но они шли). Потом — вперёд по ходу, на липы, на сарай, на людей, на главное здание.

Добрых три четверти круга он продумал и ответил:

— И даже как!

Четверть круга.

— А — зачем тогда?

Полкруга.

— Чёрт, всё-таки жить хочется...

Четверть круга

— ...Сам недоумеваю.

Ещё четверть.

— ...Разные бывают минуты... Вчера я сказал министру, что у меня ничего не осталось. Но я соврал: а — здоровье? а — надежда? Вполне реальный первый кандидат... Выйти на волю не слишком старым и встретить именно ту женщину, которая... И дети... Да и потом это проклятое *интересно*, вот сейчас интересно... Я, конечно, презираю себя за это чувство... Разные минуты... Министр хотел на меня навалиться — я его отпёр. А так, само по себе, втягиваешься... Стыдно, конечно...

Помолчали.

— Так не корите, что система плоха. Сами виноваты.

Полный круг.

— Александр Евдокимыч! Ну а если бы за скорое освобождение вам предложили бы делать атомную бомбу?

— А вы? — с интересом быстро метнул взгляд Бобынин.

— Никогда.

— Уверены?

— Никогда.

Круг. Но какой-то другой.

— Та́к вот задумаешься иногда: что это за люди, которые делают *им* атомную бомбу?! А потом к нам присмотришься — да такие же, наверно... Может, ещё на политучёбу ходят...

— Ну уж!

— А почему нет?.. Для уверенности им это очень помогает.

Осьмушка.

— Я думаю так, — развивал малыш. — Учёный либо должен в с ё знать о политике — и разведданные, и секретные замыслы, и даже быть уверенным, что возьмёт политику в руки сам! — но это невозможно... Либо вообще о ней не судить, как о мути, как о чёрном ящике. А рассуждать чисто этически: могу ли я вот эти силы природы отдать в руки столь недостойных, даже ничтожных людей? А то делают по болоту один наивный шаг: «нам грозит Америка»... Это — детский ляпсус, а не рассуждение учёного.

— Но,— возразил великан, — а как будут рассуждать за океаном? А что там за американский президент?

— Не знаю, может быть — тоже. Может быть — никому... Мы, учёные, лишены собраться на всемирный форум и договориться. Но превосходство нашего интеллекта над всеми политиками мира даёт возможность каждому и в тюремной одиночке найти правильное вполне общее решение и действовать по нему.

Круг.

— Да...

Круг.

— Да, может быть...

Четвертушка.

— Давайте завтра в обед продолжим этот коллоквиум. Вас... Илларион...?

— Павлович.

Ещё незамкнутый круг, подкова.

— И особо — в применении к России. Мне сегодня рассказали о такой картине — «Русь уходящая». Вы ничего не слышали?

— Нет.

— Ну, да она ещё не написана. И может быть совсем не так. Тут — название, идея. На Руси были консерваторы, реформаторы, государственные деятели — их нет. На Руси были священники, проповедники, самозванные домашние богословы, еретики, раскольники — их нет. На Руси были писатели, философы, историки, социологи, экономисты — их нет. Наконец, были революционеры, конспираторы, бомбометатели, бунтари — нет и их. Были мастеровые с ремешками в волосах, сеятели с бородой по пояс, крестьяне на тройках, лихие казаки, вольные бродяги — никого, никого их нет! Мохнатая чёрная лапа сгребла их всех за первую дюжину лет. Но один родник просочился черезо всю чуму — это мы, техно-элита. Инженеров и учёных, нас арестовывали и расстреливали всё-таки меньше других. Потому что идеологию им накропают любые проходимцы, а физика подчиняется только голосу своего хозяина. Мы занимались природой, наши братья — обществом. И вот мы остались, а братьев наших нет. Кому ж наследовать неисполненный жребий гуманитарной элиты — не нам ли? Если *мы* не вмешаемся, то кто?.. И неужели не справимся? Не держа в руках, мы взвесили Сириус-Б и измерили перескоки электронов — неужели заплутаемся в обществе? Но что мы делаем? Мы на этих шарашках преподносим им реактивные двигатели! ракеты фау! секретную телефонию! и, может быть, атомную бомбу? — лишь бы только было нам хорошо? И *интересно*? Какая ж мы элита, если нас так легко купить?

— Это очень серьёзно, — кузнечным мехом дохнул Бобынин. — Продолжим завтра, ладно?

Уже был звонок на работу.

Герасимович увидел Нержина и договорился встретиться с ним после девяти часов вечера на задней лестнице в ателье художника.

Он ведь обещал ему — о разумно построенном обществе.

82

По сравнению с работой майора Шикина в работе майора Мышина была своя специфика, свои плюсы и минусы. Главный плюс был — чтение писем, их отправка или неотправка. А минусы — что не от Мышина зависели этапирование, невыплата денег за работу, определение категории питания, сроки свиданий с родственниками и разные служебные придирки. Во многом завидуя конкурирующей организации — майору Шикину, который даже внутритюремные новости узнавал первый, майор Мышин налегал также на подсматривание через прозрачную занавеску: что делалось на прогулочном дворе. (Шикин, из-за неудачного расположения своего окна на третьем этаже, был лишён такой возможности.) Наблюдения за заключёнными в их обычной жизни тоже давали Мышину кое-какой материал. Из своей засады он дополнял сведения, получаемые от осведомителей, — видел, кто с кем ходил, говорил ли оживлённо или равнодушно. А затем, выдавая или беря письмо, любил внезапно огорошить:

— Кстати, о чём вы вчера в обеденный перерыв говорили с Петровым?

И иногда получал таким образом от растерянного арестанта небесполезные сведения.

Сегодня в обеденный перерыв Мышин на несколько минут велел очередному зэку подождать и тоже подглядывал во двор. (Но охоты на стукачей он не увидел — она шла у другого конца здания.)

В три часа дня, когда обеденный перерыв закончился, и неуспевших попасть на приём рассеял шебутной старшина, — велено было допустить Дырсина.

Иван Феофанович Дырсин был награждён от природы углоскулым впалым лицом, неразборчивостью речи, и даже фамилией, будто данной в насмешку. В институт когда-то он был принят *от станка*, через вечерний рабфак, учился скромно, упорно. Способности были в нём, но не умел он их выставлять, и всю жизнь его затирали и обижали. В Семёрке сейчас его не эксплуатировал только кто не хотел. Именно потому, что десятка его, немного смягчённая зачётами, теперь кончалась, он особенно робел перед начальством. Он больше всего боялся получить второй срок, которых навиделся в военные годы немало.

Он и первый-то срок получил несуразно. В начале войны его посадили за «антисоветскую агитацию» — по доносу соседей, метивших

на его квартиру (и потом получивших её). Правда, выяснилось, что агитации такой он не вёл, но м о г её вести, так как слушал немецкое радио. Правда, немецкого радио он не слушал, но м о г его слушать, так как имел дома запрещённый радиоприёмник. Правда, такого приёмника он не имел, но вполне м о г его иметь, так как по специальности был инженер-радист, а по доносу у него нашли в коробочке две радиолампы.

Дырсину пришлось вдосыть хватить лагерей военных лет — и тех, где люди ели сырое зерно, украв его у лошади, и тех, где муку замешивали со снегом под дощечкой «Лагерный Пункт», прибитой на первой таёжной сосне. За восемь лет, что Дырсин пробыл в стране ГУЛаг, умерли два их ребёнка, стала костлявой старухой жена, — об эту пору вспомнили, что он — инженер, привезли сюда и стали выдавать ему сливочное масло, да ещё сто рублей в месяц он посылал жене.

И вот от жены теперь необъяснимо не было писем. Она могла и умереть.

Майор Мышин сидел, сложив на столе руки. Был свободен от бумаг перед ним стол, закрыта чернильница, сухо перо, и не было никакого (как и никогда не бывало) выражения на его налитом искрасна-лиловом лице. Лоб его был такой налитой, что ни морщина старости, ни морщина размышления не могли пробиться в его коже. И щёки его были налитые. Лицо Мышина было как у обожжённого глиняного идола с добавлением в глину розовой и фиолетовой красок. А глаза его были профессионально невыразительны, лишены жизни, пусты той особенной надменной пустотой, которая сохраняется у этого разряда при переходе на пенсию.

Никогда такого не случалось! Мышин предложил сесть (Дырсин уже стал перебирать, какую беду он мог нажить и о чём будет протокол). Затем майор помолчал (по инструкции) и, наконец, сказал:

— Вот вы всё жалуетесь. Ходите и жалуетесь. Писем вам нет два месяца.

— Больше трёх, гражданин начальник! — робко напомнил Дырсин.

— Ну три, какая разница? А подумали вы о том, что за человек ваша жена?

Мышин говорил неторопливо, ясно выговаривая слова и делая приличные остановки между фразами.

— Что за человек ваша жена. А?

— Я... не понимаю...— пролепетал Дырсин.

— Ну, чего не понимать? Политическое лицо её — какое?

Дырсин побледнел. Не ко всему ещё, оказывается, он притерпелся и приготовился. Что-то написала жена в письме, и теперь её, накануне его освобождения...

Он про себя тайно помолился за жену. (Он научился молиться в лагере.)

— Она — нытик, а нытики нам не нужны, — твёрдо разъяснил майор. — И какая-то странная у неё слепота: она не замечает хорошего в нашей жизни, а выпячивает одно плохое.

— Ради Бога! Что с ней случилось?! — болтая головой, воскликнул умоляюще Дырсин.

— С ней? — ещё с большими паузами говорил Мышин. — С ней? Ничего. — (Дырсин выдохнул.) — Пока.

Очень не торопясь, он вынул из ящика письмо и подал его Дырсину.

— Благодарю вас! — задыхаясь, сказал Дырсин. — Можно идти?

— Нет. Прочтите здесь. Потому что такого письма я вам дать в общежитие не могу. Что будут думать заключённые о *воле* по таким письмам? Читайте.

И застыл лиловым истуканом, готовый на все тяготы своей службы.

Дырсин вынул лист из конверта. Ему незаметно было, но посторонний глаз письмо неприятно поражало, как бы заключая в себе образ написавшей его женщины: оно было на бумаге корявой, почти обёрточной, и ни одна строка с края до края листа не проходила ровно, но все строки прогибались и безвольно падали направо вниз, вниз. Письмо было помечено 18 сентября:

«Дорогой Ваня! Села писать, а сама спать хочу, не могу. Прихожу с работы и сразу на огород, копаем с Манюшкой картошку. Уродила мелкая. В отпуск я никуда не ездила, не в чем было, вся оборвалась. Хотела денег скопить да к тебе поехать — ничего не выходит. Ника тогда к тебе ездила, ей сказали — такого здесь нету, а мать и отец её ругали — зачем поехала, теперь, мол, и тебя на заметку взяли, будут следить. Вообще мы с ними в отношениях натянутых, а с Л.В. они совсем даже не разговаривают.

Живём мы плохо. Бабушка, ведь, третий год лежит, не встаёт, вся высохла, умирать не умирает и не выздоравливает, всех нас замучила. Тут от бабушки вонь ужасная, а тут постоянно идут ссоры, с Л.В. я не разговариваю, Манюшка совсем разошлась с мужем, здоровье её плохое, дети её не слушаются, как приходим с работы, то ужас, висят одни проклятья, куда убежать, когда это кончится?

Ну, целую тебя крепко. Будь здоров.»

И даже не было подписи или слова «твоя».

Терпеливо дождавшись, пока Дырсин прочтёт и перечтёт это

письмо, майор Мышин пошевелил белыми бровями и фиолетовыми губами и сказал:

— Я не отдал вам этого письма, когда оно пришло. Я понимал, что это минутное настроение, а вам надо работать бодро. Я ждал, что она пришлёт хорошее письмо. Но вот какое она прислала в прошлом месяце.

Дырсин безмолвно вскинулся на майора — но даже упрёка не выражало, а только боль его нескладное лицо. Он принял и вздрагивающими пальцами развернул второй распечатанный конверт и достал письмо с такими же перешибленными, заблудившимися строчками, в этот раз на листе из тетради.

«30 октября.

Дорогой Ваня! Ты обижаешься, что я редко пишу, а я с работы прихожу поздно и почти каждый день иду за палками в лес, а там вечер, я так устаю, что прямо валюсь, ночь сплю плохо, не даёт бабушка. Встаю рано, в пять утра, а к восьми должна быть на работе. Ещё, слава Богу, осень тёплая, а вот зима нагрянет! Угля на складе не добьёшься, только начальству или по блату. Недавно вязанка свалилась со спины, тащу её прямо по земле за собой, уж нет сил поднять, и думаю: «Старушка, везущая хворосту воз»! Я в паху нажила грыжу от тяжести. Ника приезжала на каникулы, она стала интересная, к нам даже не зашла. Я не могу без боли вспомнить про тебя. Мне не на кого надеяться. Пока силы есть, буду работать, а только боюсь, не слечь бы и мне, как бабушка. У бабушки совсем отнялись ноги, она распухла, не может ни лечь сама, ни встать. А в больницу таких тяжёлых не берут, им невыгодно. Приходится мне и Л.В. её каждый раз поднимать, она под себя ходит, у нас вонь ужасная, это не жизнь, а каторга. Конечно, она не виновата, но нет сил больше терпеть. Несмотря на твои советы не ругаться, мы ругаемся каждый день, от Л.В. только и слышишь сволочь да стерва. А Манюшка на своих детей. Неужели б и наши такие выросли? Знаешь, я часто рада, что их уже нет. Валерик в этом году поступил в школу, ему всего нужно много, а денег нет. Правда, с Павла алименты Манюшке платят, по суду. Ну, пока писать нечего. Будь здоров. Целую тебя.

Хоть на праздниках бы отоспалась — так на демонстрацию переться...»

Над этим письмом Дырсин замер. Он приложил ладони к лицу, как будто умываться хотел и не умывался.

— Ну? Вы прочли или что? Вроде, не читаете. Вот, вы человек взрослый. Грамотный. В тюрьме посидели, понимаете, что это за

письмо. За такие письма во время войны срока́ давали. Демонстрация всем — радость, а ей — «переться»? Уголь! Уголь — не начальству, а всем гражданам, но в порядке очереди, конечно. В общем я и этого письма вам не знал, давать ли, нет — но пришло третье, опять такое же. Я подумал-подумал — надо это дело кончать. Вы сами должны это прекратить. Напишите ей такое, знаете, в оптимистическом тоне, бодрое, поддержите женщину. Разъясните, что не надо жаловаться, что всё наладится. Вон, там разбогатели, наследство получили. Читайте.

Письма шли по системе, хронологически. Третье было от 8 декабря.

> «Дорогой Ваня! Сообщаю тебе горестную новость: 26 ноября 1949 года в 12 часов пять минут дня умерла бабушка. Умерла, а у нас ни копейки, спасибо Миша дал 200 руб., всё обошлось дёшево, но, конечно, похороны бедные, ни попа, ни музыки, просто на телеге гроб отвезли на кладбище и свалили в яму. Теперь в доме стало немного потише, но пустота какая-то. Я сама болею, ночью пот страшный, даже подушка и простыня мокрые. Мне предсказывала цыганка, что я умру зимой, и я рада избавиться от такой жизни. У Л.В., наверно, туберкулёз, она кашляет и даже горлом идёт кровь, как придёт с работы — так в ругань, злая как ведьма. Она и Манюшка меня изводят. Я какая-то несчастливая — вот ещё зуба четыре испортилось, а два выпало, нужно бы вставить, но тоже денег нет, да и в очереди сидеть.
>
> Твоя зарплата за три месяца триста рублей пришла очень вовремя, уж мы замерзали, очередь на складе подошла (была 4576-я) — а дают одну пыль, ну зачем её брать? К твоим триста Манюшка своих двести добавила, заплатили от себя шофёру, уж он привёз крупного угля. А картошки до весны не хватит — с двух огородов, представь, и ничего не нарыли, дождей не было, неурожай.
>
> С детьми постоянные скандалы. Валерий получает двойки и колы, после школы шляется неизвестно где. Манюшку директор вызывал, что же, мол, вы за мать, что не можете справиться с детьми. А Женьке, тому шесть лет, а оба уже ругаются матом, одним словом шпана. Я все деньги отдаю на них, а Валерий недавно меня обругал сукой, и это приходится выслушивать от какой-то дряни мальчишки, что же вырастут? Нам в мае месяце придётся вводиться в наследство, говорят, это будет стоить две тысячи, а где их брать? Елена с Мишей затевают суд, хотят отнять у Л.В. комнату. Бабушка при жизни, сколько раз ей говорили, не хотела распределить, кому что. Миша с Еленой тоже болеют.

А я тебе осенью писала, да по-моему даже два раза, неужели ты не получаешь? Где ж они пропадают?

Посылаю тебе марочку 40 коп. Ну, что там слышно, освободят тебя или нет?

Очень красивая посуда продаётся в магазине, алюминиевая, кастрюльки, миски.

Крепко тебя целую. Будь здоров».

Мокрое пятнышко расплылось на бумаге, распуская в себе чернила.

Опять нельзя было понять — Дырсин всё ещё читает или уже кончил.

— Так вот, — спросил Мышин, — вам ясно?

Дырсин не шелохнулся.

— Напишите ответ. Бодрый ответ. Разрешаю — свыше четырёх страниц. Вы как-то писали ей, чтоб она в бога верила. Да уж лучше пусть в бога, что ли... А то что ж это?.. Куда это?.. Успокойте её, что скоро вернётесь. Что будете зарплату большую получать.

— Но разве меня отпустят домой? Не сошлют?

— Это там как начальству нужно будет. А жену поддержать — ваша обязанность. Всё-таки, ваш друг жизни. — Майор помолчал. — Или, может, вам теперь молоденькую хочется? — сочувственно предположил он.

Он не сидел бы так спокойно, если бы знал, что в коридоре, изводясь от нетерпения к нему попасть, перетаптывается его любимый осведомитель Сиромаха.

83

В те редкие минуты, когда Артур Сиромаха не занят был борьбой за жизнь, не делал усилий нравиться начальству или работать, когда он расслаблял свою постоянную напруженность леопарда, — он оказывался вялый молодой человек со стройной впрочем фигурой, с лицом артиста, утомлённого ангажементами, с неопределимыми серомутно-голубыми глазами, как бы овлажнёнными печалью.

Два человека в запальчивости уже обозвали Сиромаху в лицо стукачом — и обоих этапировали вскоре. Больше ему не повторяли этого вслух. Его боялись. Ведь на очную ставку с доносчиком не вызывают. Может быть, зэк обвинён в подготовке побега? террора? восстания? — он этого не знает, ему велят собирать вещи. Ссылают ли его просто в лагерь? или везут в следственную тюрьму?

Такова человеческая природа, и её хорошо используют тираны и тюремщики: пока человек ещё мог бы разоблачать предателей или

звать толпу к мятежу, или смертью своей добыть спасение другим — в нём не убита надежда, он ещё верит в благополучный исход, он ещё цепляется за жалкие остатки благ — и потому молчалив, покорен. Когда же он схвачен, низвергнут, когда терять ему больше нечего, и он способен на подвиг — только каменная коробка одиночки готова принять на себя его позднюю ярость. Или дыхание объявленной казни уже делает его равнодушным к земным делам.

Не обличив прямо, не поймав на доносе, но и не сомневаясь, что он стукач, — одни Сиромаху избегали, иные считали безопаснее с ним дружить, играть в волейбол, говорить «о бабах». Так жили и с другими стукачами. Так — мирно выглядела жизнь шарашки, где шла подземная смертельная война.

Но Артур мог говорить вовсе не только о бабах. «Сага о Форсайтах» была из его любимых книг, и он довольно умно рассуждал о ней. (Правда, без затруднения он чередовал Голсуорси с затрёпанными детективами.) У Артура был и музыкальный слух, он любил в музыке испанские и итальянские темы, верно мог насвистывать из Верди, из Россини, а на воле, ощущая неполноту жизни, раз в год заходил и в консерваторию.

Род Сиромах был дворянский, хотя худой. В начале века один из Сиромах был композитором, другой по уголовному делу сослан на каторгу. Ещё один Сиромаха решительно пристал к революции и служил в ЧК.

Когда Артур достиг совершеннолетия, он по своим наклонностям и потребностям почувствовал необходимость иметь постоянные независимые средства. Равномерная копотная жизнёнка с ежедневным корпением «от» и «до» с подсчитыванием два раза в месяц зарплаты, отягощённой вычетами налогов и займов, никак была не по нему. Ходя в кино, он серьёзно примерял к себе всех знаменитых киноартисток, он вполне представлял, как с Диною Дурбин закатился бы в Аргентину.

Конечно, не институт, не образование было путём к такой жизни. Артур нащупывал какую-то другую службу, с лёгким перебрасыванием, с порханием — и та служба тоже нащупывала его. Так они встретились. Служба эта, хотя и не дала ему всех средств, сколько он хотел, но во время войны избавила от мобилизации, значит — спасла ему жизнь. И пока там дураки кисли в глиняных траншеях, Артур непринуждённо входил в ресторан «Савой» с приятно-гладкими щеками кремового цвета на удлинённом лице. (О, этот момент переступа через ресторанный порог, когда тёплый, с запахами кухни воздух и музыка разом обдают тебя, и ты выбираешь столик!)

Всё пело в Артуре, что он — на верном пути. Его возмущало, что служба эта считалась между людьми — подлой. Это шло от непонимания или от зависти! Эта служба была для талантливых людей, она требовала наблюдательности, памяти, находчивости, умения

притворяться, играть — это была артистическая работа. Да, её надо было скрывать, она не существовала без тайны — но лишь по её технологическому принципу, ну, как требуется защитное стекло электросварщику. Иначе Артур ни за что бы не таился — этически в этой работе не было ничего позорного!

Однажды, не уместясь в своём бюджете, Артур примкнул к компании, польстившейся на государственное имущество. Его посадили. Артур ничуть не обиделся: сам виноват, не попадайся. С первых же дней за колючей проволокой он естественно ощутил себя на прежней службе, само пребывание здесь было лишь новой формой её.

Не оставили его и оперуполномоченные: он не послан был на лесоповал, ни в шахты, а устроен при Культурно-Воспитательной Части. Это был единственный в лагере огонёк, единственный уголок, куда можно было на полчасика зайти перед отбоем и почувствовать себя человеком: перелистать газету, взять в руки гитару, вспомнить стихи или свою прежнюю неправдоподобную жизнь. Лагерные *Укропы Помидоровичи* (как звали воры неисправимых интеллигентов) сюда тянулись — и очень у места был тут Артур с его артистической душою, понимающими глазами, столичными воспоминаниями и умением скользя, скользя поговорить о чём угодно.

И так Артур быстро *оформил* несколько одиночных *агитаторов*; одну антисоветски-настроенную *группу*; два побега, ещё не подготовлявшихся, но уже якобы задуманных; и лагпунктовское *дело врачей*, якобы затягивавших с целью саботажа лечение заключённых — то есть, дававших им отдыхать в больнице. Все эти кролики получили вторые сроки, Артуру же по линии Третьего Отдела сброшено было два года.

Попавши в Марфино, Артур и здесь не пренебрегал своей проверенной службой. Он стал любимцем и душой обоих майоров-кумовей и самым грозным доносчиком на шарашке.

Но, пользуясь его доносами, майоры не открывали ему своих секретов, и теперь Сиромаха не знал, кому из двоих важнее знать новость о Доронине, чьим стукачом был Доронин.

Много писано, что люди в массе своей удивляют неблагодарностью и неверностью. Но ведь бывает и иначе! Не одному, не трём — двадцати с лишним зэкам с безумной неосторожностью, с расточительным безрассудством доверил Руська Доронин свой замысел двойника. Каждый из узнавших рассказал ещё нескольким, тайна Доронина стала достоянием почти половины жителей шарашки, о ней едва что не говорили в комнатах вслух, — и хотя через пятого — через шестого жил на шарашке стукач — ни один из них ничего не узнал, а может быть, не донёс, узнавши! И самый наблюдательный, самый чутконосый премьер-стукач Артур Сиромаха тоже ничего не знал до сегодняшнего дня!

Теперь была задета и его честь осведомителя — пусть оперы в

своих кабинетах прохлопали, но он?? И прямая его безопасность — так же точно, как и других, могли поймать с переводом и его самого. Измена Доронина была для Сиромахи выстрелом чуть-чуть мимо головы. Доронин оказался проворный враг — так и ударить его надо было проворно! (Впрочем, ещё не осознавая размеров беды, Артур подумал, что Доронин раскрылся только-только, сегодня или вчера.)

Но Сиромаха не мог прорваться в кабинеты! Нельзя было терять голову, ломиться в запертую дверь Шикина или даже слишком часто подбегать к его двери. А к Мышину стояла очередь! Её разогнали по трёхчасовому звонку, но пока самые надоедливые и упрямые зэки препирались в коридоре штаба с дежурным (Сиромаха со страдающим видом, держась за живот, пришёл к фельдшеру и стоял в ожидании, пока группа разойдётся), — уже к Мышину был вызван Дырсин. По расчётам Сиромахи Дырсину нечего было задерживаться у кума — а он там сидел, и сидел, и сидел. Рискуя заслужить неудовольствие Мамурина своей часовой отлучкой из Семёрки, где стоял чад от паяльников, канифоли и проектов, Сиромаха тщетно ждал, когда же Мышин отпустит Дырсина.

Но и перед простыми надзирателями, глазевшими в коридоре, нельзя было расшифровывать себя! Потеряв терпение, Сиромаха ходил опять на третий этаж к Шикину, возвращался в коридор штаба к Мышину, опять поднимался к Шикину. В последний раз в тёмном тамбуре у двери Шикина ему повезло: сквозь дверь он услышал неповторимый скрипучий голос дворника, единственный такой на шарашке.

Тогда он сразу же условно постучал. Дверь отперлась — и Шикин показался в нешироком растворе двери.

— Очень срочно! — шёпотом сказал Сиромаха.

— Минуту, — ответил Шикин.

И лёгкой походкой, чтоб не встретиться с выпускаемым дворником, Сиромаха ушёл далеко по длинному коридору, тотчас деловито вернулся и без стука толкнул дверь к Шикину.

84

После недельного следствия по «Делу о токарном станке» суть происшествия всё ещё оставалась майору Шикину загадочной. Установлено было только, что станок этот с открытым ступенчатым шкивом, ручной подачей задней бабки, а подачей супорта как ручной, так и от главного привода, станок, выпущенный отечественной промышленностью в разгар первой мировой войны, в 1916 году, был по приказу Яконова отъят от электромотора и передан в таком виде из лаборатории № 3 в механические мастерские. При этом, так как стороны не могли договориться о транспортировке, приказано было си-

лами лаборатории спустить станок в подвальный коридор, а оттуда силами мастерских ручным волоком поднять по трапу и через двор доставить в здание мастерских (был путь короче, без спускания станка в подвал, но тогда пришлось бы выпускать зэков на парадный двор, просматриваемый с шоссе и из парка, что было, конечно, недопустимо с точки зрения бдительности).

Разумеется, теперь, когда непоправимое уже произошло, Шикин внутренне мог упрекнуть и самого себя: не придав значения этой важнейшей производственной операции, он не проследил за нею лично. Но ведь в исторической перспективе ошибки деятелей всегда видней — а поди их не сделай!

Сложилось так, что лаборатория № 3, имеющая в своём составе одного начальника, одного мужчину, одного инвалида и одну девушку, собственными силами перетащить станка не могла. И поэтому, совершенно безответственно, из разных комнат был собран случайный народ в количестве десяти заключённых (даже списка их никто не составил! — и майору Шикину стоило немалого труда уже потом, с полумесячным опозданием, сличая показания, восстановить полный список подозреваемых) — и эти десять зэков спустили-таки тяжёлый станок по лестнице из бельэтажа в подвал. Однако мастерские (по каким-то техническим соображениям их начальник не гнался за этим станком) не только вовремя не выставили рабочей силы на смычку, но даже не прислали к месту встречи контролёра-приёмщика. Десять же мобилизованных зэков, стащив станок в подвал, никем не руководимые, разошлись. А станок, загораживая проход, ещё несколько дней стоял в подвальном коридоре (сам же Шикин и спотыкался об него). Наконец, пришли за ним люди из мехмастерских, но увидели трещину в станине, придрались к этому и ещё три дня не брали станка, пока их всё-таки не заставили.

Вот эта-то роковая трещина в станине и была основой к тому, чтобы завести «Дело». Может быть и не из-за этой трещины станок до сих пор не работал (Шикин слышал и такое мнение), но значение трещины было гораздо шире, чем сама трещина. Трещина означала, что в институте орудуют ещё не разоблачённые враждебные силы. Трещина означала также, что руководство института слепо-доверчиво и преступно-халатно. При удачном проведении следственного дела, вскрытии преступника и истинных мотивов преступления, можно было не только кое-кого наказать, а кое-кого предупредить, но и вокруг этой трещины провести большую воспитательную работу с коллективом. Наконец, профессиональная честь майора Шикина требовала разобраться в этом зловещем клубке!

Но это было не легко. Время было упущено. Среди арестантов-переносчиков станка успела возникнуть круговая порука, преступный сговор. Ни один вольный (ужасное упущение!) не присутствовал при переноске. Среди десяти носильщиков попался только один осведо-

митель, и то затруханный, самым большим достижением которого был донос о простыне, разрезанной на манишки. И единственно, в чём он помог, это восстановить полный список десяти человек. В остальном же все десять зэков, нагло рассчитывая на свою безнаказанность, утверждали, что они донесли станок до подвала в целости, по лестнице станиною не полозили, об ступеньки её не били. И ещё как-то так получилось по их показаниям, что именно за то место, где потом возникла трещина, за станину под задней бабкой, никто из них не держался, а все держались за станину под шкивами и шпинделем. В погоне за истиной майор даже несколько раз рисовал схему станка и расстановку носильщиков вокруг него. Но легче было в ходе допросов овладеть токарным мастерством, чем найти виновника трещины. Единственно, кого можно было обвинить хоть и не во вредительстве, но в намерении вредительства, — это инженера Потапова. Разозлясь от трёхчасового допроса, он проговорился:

— Да если б я вам это корыто хотел испортить, так я просто бы песку горсть сыпанул в подшипники, и всё! Какой смысл станину колотить?!

Эту фразу матёрого диверсанта Шикин сейчас же занёс в протокол, но Потапов отказался подписать.

Трудность нынешнего расследования залегала именно в том, что в руках Шикина не было обычных средств добывания истины: одиночки, карцера, мордобоя, перевода на карцерный паёк, ночных допросов и даже элементарного разделения подследственных по разным камсрам: здесь надо было, чтоб они продолжали полноценно работать, а для того нормально питаться и спать.

И всё-таки уже в субботу Шикину удалось вырвать у одного зэка признание, что когда они спускались по последним ступенькам и загораживали узкую дверь, — навстречу им попался дворник Спиридон и с криком: «Стой, братки, поднесём!» — тоже взялся одиннадцатым и донёс до места. И из схемы никак иначе не получалось, что взялся он за станину под задней бабкой.

Эту новую богатую нить Шикин и решил разматывать сегодня, в понедельник, пренебрегши двумя поступившими с утра доносами о суде над князем Игорем. Перед самым обедом он вызвал к себе рыжеволосого дворника — и тот пришёл, как был, со двора в бушлате, перепоясанном драным брезентовым поясом, снял свою большеухую шапку и виновато мял её в руках, подобно классическому мужику, пришедшему просить у барина землицы. При этом он не сходил с резинового коврика, чтоб не наследить на полу. Неодобрительно покосясь на его непросохшие ботинки и строго поглядя на него самого, Шикин так и оставил его стоять, а сам сидел в кресле и молча просматривал разные бумаги. Время от времени, словно по прочтённому поражённый преступностью Егорова, он вскидывал на него изумлённый взгляд как на кровожадного зверя, наконец-то попавшего в клет-

ку (всё это полагалось по их науке, чтобы разрушительно подействовать на психику арестанта). Так прошло в запертом кабинете в ненарушимом молчании полчаса, явственно прозвенел и обеденный звонок, по которому Спиридон надеялся получить письмо из дому, — но Шикин даже и слыхом не слыхал того звонка: он молча всё перекладывал толстые папки, что-то доставал из одних ящиков, клал в другие, хмуро перечитывал разные бумаги и опять с изумлением коротко взглядывал на угнетённого, поникшего, виноватого Спиридона.

Последняя вода с ботинок Спиридона, наконец, сошла на коврик, ботинки обсохли, и Шикин сказал:

— А ну, подойди ближе! — (Спиридон подошёл.) — Стой. Вот этого — знаешь, нет? — И он протянул ему из своих рук фотографию какого-то парня в немецком мундире без шапки.

Спиридон изогнулся, сощурился, приглядываясь, и извинился:

— Я, вишь, гражданин майор, слеповат маленько. Дай я её облазю.

Шикин разрешил. Всё так же в одной руке держа свою мохнатую шапку, Спиридон другой рукой обхватил карточку кругом всеми пятью пальцами за рёбра и, по-разному наклоняя её к свету окна, стал водить мимо левого глаза, рассматривая как бы по частям.

— Не, — облегчённо вздохнул он. — Не видал.

Шикин принял фотокарточку назад.

— Очень плохо, Егоров, — сокрушённо сказал он. — От запирательства будет только хуже для вас. Ну, что ж, садитесь, — он указал на стул подальше. — Разговор у нас долгий, на ногах не простоишь.

И опять смолк, углубясь в бумаги.

Спиридон, пятясь, отошёл к стулу, сел. Шапку сперва положил на соседний стул, но покосился на чистоту этого мягкого, обтянутого кожей стула и переложил шапку на колени. Круглую голову свою он вобрал в плечи, наклонил вперёд и всем видом своим выражал раскаяние и покорность.

Про себя же он совсем спокойно думал:

«Ах ты, змей! Ах ты, собака! Когда ж я теперь письмо получу? Да не у тебя ль оно?»

Спиридону, видавшему в своей жизни и два следствия и одно переследствие, и тысячи арестантов, прошедших следствие, игра Шикина была яснее стёклышка. Однако он знал, что надо притворяться, будто веришь.

— В общем, пришли на вас новые материалы, — тяжело вздохнул Шикин. — В Германии-то вы, оказывается, штучки отка́-а-лывали!..

— Может, то ещё не я! — успокоил его Спиридон. — Нас-то, Егоровых, поверите, гражданин майор, в Германии было как мух. Даже, говорят, генерал один был Егоров!

— Ну, ка́к не вы! как не вы! Спиридон Данилович, пожалуйста, — ткнул Шикин пальцем в папку. — И год рождения, всё.

— И год рождения? Тогда не я! — убеждённо говорил Спиридон. — Я-то ведь себе у немцев для спокоя три года прибрёхивал.

— Да! — вспомнил Шикин, и лицо его просветлело, и с голоса спала обременительная необходимость вести следствие, и он отодвинул все бумаги. — Пока не забыл. Ты, Егоров, дней десять назад, помнишь, токарный станок перетаскивал? С лестницы в подвал.

— Ну-ну, — сказал Спиридон.

— Так вот, трахнули вы его где? — ещё на лестнице или уже в коридоре?

— Кого? — удивился Спиридон. — Мы не дрались.

— Станок! — кого!

— Да Бог с вами, гражданин майор, — зачем же станок бить? Что он, кому досадил или что?

— Вот я и сам удивляюсь — зачем разбили? Может — обронили?

— Что вы, обронили! Прямо за лапки, с осторожкою, как ребёнка малого.

— Да ты-то сам — где держал?

— Я? Отсюдова, значит.

— Откуда?

— Ну, с моей стороны.

— Ну, ты брал — под заднюю бабку или под шпиндель?

— Гражданин майор, я этих бабков не понимаю, я вам так покажу! — Он хлопнул шапку на соседний стул, встал и повернулся, как будто втаскивая станок через дверь в кабинет. — Я, значит, спустёвшись, так? Задом. А их, значит, двое в двери застряли — ну?

— Кто — двое?

— Да шут их знает, я с ними детей не крестил. У меня аж дух загорелся. Стой! — кричу, — дай перехвачу! А тюлька-то во́!

— Какая тюлька?

— Ну, что́ не понимаешь? — через плечо, уже сердясь, спросил Спиридон. — Ну, несли которую.

— Станок, что ли?

— Ну, станок! Я — враз и перехвати! Вот так. — Он показал и напрягся, приседая. — Тут один протискался сбочь, другой пропихнулся, а втрою́ — чего не удержать? фу-у! — Он распрямился. — Да у нас по колхозной поре не такую тяже́ль таскают. Шесть баб на твой станок — золотое дело, версту пронесут. Где той станок? — пойдём, сейчас за потеху подымем!

— Значит, не уроняли? — угрожающе спросил майор.

— Не ж, говорю!

— Так кто разбил?

— Всё ж таки ухайдакали? — поразился и Спиридон. — Да-а-а... —

Перестав показывать, как несли, он снова сел на свой стул и был весь внимание.

— С места-то его взяли — целый был?

— Вот, чего не видал — не скажу, могёт и поломанный.

— Ну, а когда ставили — какой был?

— Вот тут уж — целый!

— Да трещина в станине была?

— Никакой трещины не было́, — убеждённо ответил Спиридон.

— Да как же ты разглядел, чёрт слепой? Ты же — слепой?

— Я, гражданин майор, по бумажному делу слепой, верно, — а по хозяйству всё вижу. Вы вот, и другие граждане офицеры, через двор проходя, окурочки-то разбрасываете, а я всё чисто согребаю, хоть со снега белого — а всё согребаю. У коменданта — спросите.

— Так что вы? Станок поставили и специально осматривали?

— А как же? После работы перекур у нас был, не без этого. Похлопали станочек.

— Похлопали? Чем?

— Ну, ладошкой так вот, по боку, как коня горячего. Один инженер ещё сказал: «Хорош станочек! Мой дед токарем был — на таком работал».

Шикин вздохнул и взял чистый лист бумаги.

— Очень плохо, что ты и тут не́ сознаёшься, Егоров. Будем писать протокол. Ясно, что станок разбил ты. Если бы не ты — ты бы указал виновника.

Он сказал это голосом уверенным, но внутреннюю уверенность потерял. Хотя господин положения был он, и допрос вёл он, а дворник отвечал со всей готовностью и с большими подробностями, но зря пропали первые следовательские часы, и долгое молчание, и фотографии, и игра голоса, и оживлённый разговор о станке, — этот рыжий арестант, с лица которого не сходила услужливая улыбка, а плечи так и оставались пригнутыми, — если сразу не поддался, то теперь — тем более.

Про себя Спиридон, ещё когда говорил о генерале Егорове, уже прекрасно догадался, что вызвали его не из-за какой Германии, что фотография была *тухта*, кум темнил, а вызвал именно из-за токарного станка — вдиви бы было, если б его не вызвали — тех десятерых неделю полную трясли, как груш. И целую жизнь привыкнув обманывать власти, он и сейчас без труда вступил в эту горькую забаву. Но все эти пустые разговоры ему были как тёркой по коже. Ему то́ досаждало, что письмо опять откладывалось. И ещё: хоть в кабинете Шикина было сидеть тепло и сухо, но работу во дворе никто не́ делал за Спиридона, и она вся громоздилась на завтра.

Так шло время, давно отзвенел звонок с перерыва, а Шикин велел Спиридону расписаться об ответственности по статье 95-й за дачу

ложных показаний и записывал вопросы и, как мог, искажал в записи ответы Спиридона.

Тогда-то раздался чёткий стук в дверь.

Выпроводив Егорова, надоевшего ему своей бестолковостью, Шикин встретил змеистого деловитого Сиромаху, умевшего всегда в два слова высказать главное.

Сиромаха вошёл мягкими быстрыми шагами. Принесённая им потрясающая новость и особое положение Сиромахи среди стукачей шарашки равняла его с майором. Он закрыл за собой дверь и, не давая Шикину взяться за ключ, драматически выставил руку. Он играл. Внятно, но так тихо, что никак его нельзя было подслушать сквозь дверь, сообщил:

— Доронин ходит-показывает перевод на сто сорок семь рублей. Провалил Любимичева, Кагана, ещё человек пять. Собрались кучкой и ловили во дворе. Доронин — ваш?..

Шикин схватился за воротник и растянул его, высвобождая шею. Глаза его как будто выдавились из глубины. Толстая шея побурела. Он бросился к телефону. Его лицо, всегда превосходяще самодовольное, сейчас выражало безумие.

Сиромаха не шагами, но как бы мягкими прыжками опередил Шикина и не дал снять телефонной трубки.

— Товарищ майор! — напомнил он (как арестант он не смел сказать «товарищ», но должен был сказать как друг!), — не прямо! Не дайте ему приготовиться!

Это была элементарная тюремная истина! — но даже её пришлось напомнить!

Отступая спиной и лавируя, как будто видя мебель позади себя, Сиромаха отошёл к двери. Он не спускал глаз с майора.

Шикин выпил воды.

— Я — пойду, товарищ майор? — почти не спросил Сиромаха. — Что узнаю ещё — к вечеру или утром.

В растаращенные глаза Шикина медленно возвращался смысл.

— *Девять грамм* ему, гаду! — с сипением вырвались его первые слова. — Оформлю!

Сиромаха беззвучно вышел, как из комнаты больного. Он сделал то, что полагалось по его убеждениям, и не спешил просить о награде.

Он не совсем был уверен, что Шикин останется майором МГБ.

Не только на шарашке Марфино, но во всей истории Органов это был случай чрезвычайный. Кролики имели право умереть, но не имели права бороться.

Не от самого Шикина, а через дежурного по институту, чей стол стоял в коридоре, было позвонено начальнику Вакуумной лабора-

рии и велено Доронину немедленно явиться к инженер-полковнику Яконову.

Хотя было четыре часа дня, но в Вакуумной, всегда тёмной, давно горел верхний свет. Начальник Вакуумной отсутствовал, и трубку взяла Клара. Она позже обычного, только сейчас, пришла на вечернее дежурство, разговаривала с Тамарой, а на Руську не посмотрела ни разу, хотя Руська не спускал с неё пламенного взгляда. Трубку телефона она взяла рукою в ещё не снятой алой перчатке, отвечала в трубку потупясь, а Руська стал за своим насосом, в трёх шагах от неё, и впился в её лицо. Он думал, как сегодня вечером, когда все уйдут на ужин, охватит эту голову и будет целовать. От близости Клары он терял ощущение окружающего.

Она подняла глаза (не искала его, чувствовала, что он здесь!) и сказала:

— Ростислав Вадимович! Вас Антон Николаевич вызывает срочно.

Их видели и слышали, и нельзя было сказать иначе, — но глаза её были уже не те глаза! Их подменили! Какой-то безжизненный туск наплыл на них...

Подчиняясь механически и не думая, что́ бы мог значить неожиданный вызов к инженер-полковнику, — Руська шёл и думал только о её выражении. Ещё из дверей он обернулся на неё — увидел, что она смотрела ему вслед и тотчас отвела глаза.

Неверные глаза. Испуганно отвела.

Что могло случиться с ней?..

Думая только о ней, он поднялся к дежурному, совсем покинув свою обычную настороженность, совсем забыв готовиться к неожиданным вопросам, к нападению, как того требовала арестантская хитрость, — а дежурный, преградив ему дверь Яконова, показал в углубление чёрного тамбура на дверь майора Шикина.

Если бы не совет Сиромахи, если бы Шикин позвонил в Вакуумную сам, — Руська бы сразу ждал худшего, он обежал бы десяток друзей, предупредил, — наконец он добился бы поговорить с Кларой, узнать, что́ с ней, увезти с собой или восторженную веру в неё или самому освободиться от верности, — а сейчас, перед дверью кума, поздно посетила его догадка. Перед дежурным по институту уже нельзя было колебаться, возвращаться, — чтобы не вызвать подозрения, если его ещё нет, — и всё-таки Руська повернулся сбежать по лестнице — но отнизу уже поднимался вызванный по телефону тюремный дежурный лейтенант Жвакун, бывший палач.

И Руська вошёл к Шикину.

Он вошёл, за несколько шагов приструня себя, преобразясь лицом. Тренировкой двух лет жизни под розыском, особой авантюрной гениальностью своей натуры, — он безо всякой инерции сломил всю бурю в себе, стремительно перенёсся в круг новых мыслей и опас-

ностей, — и с выражением мальчишеской ясности, беззаботной готовности, доложил, входя:

— Разрешите? Я вас слушаю, гражданин майор.

Шикин странно сидел, грудью привалясь к столу, одну руку свесивши и как плетью помахивая ею. Он встал навстречу Доронину и этой рукой-плетью снизу вверх ударил его по лицу.

И замахнулся другой! — но Доронин отбежал к двери, стал в оборону. Изо рта его сочилась кровь, взбиток белых волос свалился к глазу.

Не дотягиваясь теперь до его лица, коротенький оскаленный Шикин стоял против него и угрожал, брызгая слюной:

— Ах ты, сволочь! Продаёшь? Прощайся с жизнью, Иуда! Расстреляем, как собаку! В подвале расстреляем.

Уже два с половиной года, как в гуманнейшей из стран была навечно отменена смертная казнь. Но ни майор, ни его разоблачённый осведомитель не строили иллюзий: с неугодным человеком что ж было делать, если его не расстрелять?

Руська выглядел дико, лохмато, кровь стекала по подбородку с губы, пухнущей на глазах.

Однако он выпрямился и нагло ответил:

— Насчёт расстрелять — это надо подумать, гражданин майор. *Посажу* я и вас. Четыре месяца над вами все куры смеются — а вы зарплату получаете? Снимут погончики! Насчёт расстрелять — это подумать надо...

85

Наша способность к подвигу, то есть к поступку, чрезвычайному для сил единичного человека, отчасти создаётся нашею волей, отчасти же, видимо, уже при рождении заложена или не заложена в нас. Тяжелей всего даётся нам подвиг, если он добыт неподготовленным усилием нашей воли. Легче — если был последствием усилия многолетнего, равномерно-направленного. И с благословенной лёгкостью, если подвиг был нам прирождён: тогда он происходит просто, как вдох и выдох.

Так жил Руська Доронин под всесоюзным розыском — с простотой и детской улыбкой. В его кровь, должно быть, от рождения уже был впрыснут пульс риска, жар авантюры.

Но для чистенького благополучного Иннокентия недоступно было бы — скрываться под чужим именем, метаться по стране. Ему даже в голову не могло прийти, что он может что-либо противопоставить своему аресту, если арест назначен.

Он звонил в посольство — порывом, плохо обдуманным. Он узнал внезапно — и было поздно откладывать на те несколько дней, когда

он сам поедет в Нью-Йорк. Он звонил в одержимости, хотя знал, что все телефоны прослушиваются, и их только несколько человек в министерстве, кто знает секрет Георгия Коваля.

Он просто бросился в пропасть, потому что осветилось ему, как это невыносимо, что так бессовестно уворуют бомбу — и начнут ею трясти через год. Он бросился в пропасть быстрым подхватом чувства, но всё же он не представлял ударяющего, мозжащего каменного дна. Он, может быть, таил ещё где-то дерзкую надежду выпорхнуть, уйти от ответа, перелететь за океан, отдышаться, рассказывать корреспондентам.

Но ещё и дна не достигнув, он упал в опустошение, в изнеможение духа. Оборвался натяг его короткой решимости — и страх разорял и выжигал его.

Это особенно сказалось с утра понедельника, когда надо было через силу опять начинать жить, ехать на работу, с тревогой ловить, не изменились ли взгляды и голоса вокруг него, не таят ли они угрозу.

Иннокентий ещё держался, сколько мог, с достоинством, но внутри уже был разрушен, у него отнялись все способности сопротивляться, искать выход, спасаться.

Ещё не было одиннадцати утра, когда секретарша, не допустившая Иннокентия к шефу, сказала, что, как она слышала, назначение Володина задержано заместителем министра.

Новость эта, хотя и не до конца проверенная, так сотрясла Иннокентия, что он не имел даже сил добиваться приёма и убедиться в истине. Ничто другое не могло задержать уже разрешённый его отъезд! На его назначение в ООН уже была виза Вышинского, место резервировано за Советским Союзом... Значит он раскрыт...

Как-то видя всё потемневшим и плечи чувствуя как бы оттянутыми полными вёдрами, он вернулся в свою комнату и только мог сделать одно: запереть дверь на ключ и ключ вынуть (чтоб думали — он вышел). Он мог сделать так потому, что сосед, сидящий за вторым столом, не вернулся из командировки.

Всё внутри Иннокентия противно обмякло. Он ждал стука. Было страшно, раздирающе страшно, что сейчас войдут и арестуют. Мелькала мысль — не открывать дверей. Пусть ломают.

Или повеситься до того, как войдут.

Или выпрыгнуть из окна. С третьего этажа. Прямо на улицу. Две секунды полёта — и всё разорвалось. И погашено сознание.

На столе лежал пухлый отчёт экспертов — задолженность Иннокентия. Прежде чем уезжать, надо сдать проверенным этот отчёт. Но тошно было даже смотреть на него.

В натопленном кабинете казалось холодно, знобко.

Мерзкое внутреннее бессилие! Так и ждать в бездействии своей гибели...

Иннокентий лёг на кожаный диван пластом, ничком. Только так, всей длиной тела, он принял от дивана род поддержки или успокоения.

Мысли мешались в нём.

Неужели это он? он! осмелился звонить в посольство?! И — зачем? Позвоните — оф Кэнеда... А кто такой *ви*? А откуда я знаю, что ви говорить правду?.. О, самонадеянные американцы! Они дождутся-таки сплошной коллективизации фермеров! Они — заслужили...

Не надо было звонить. Жаль — себя. В тридцать лет кончать жизнь. Может быть в пытках.

Нет, он не жалел, что звонил. Очевидно, так надо было. Будто кто-то вёл его тогда, и не было страшно.

Не то, что не жалел, — а у него не оставалось воли жалеть или не жалеть. Под расслабляющей угрозой он бездыханно лежал, придавленный к дивану, и хотел только, чтобы скорей это всё кончилось, чтобы скорей уж брали его, что ли.

Но счастливым образом никто не стучал, не пробовал потянуть двери. И телефон его не звонил ни разу.

Он забылся. Налезали друг на друга давящие несуразные сновидения, распирали голову, чтоб он проснулся. Он просыпался не освежённый, а в ещё более разбитом и безвольном состоянии, чем засыпал, измученный тем, что его уже несколько раз то пытались арестовать, то арестовывали. Но подняться с дивана, стряхнуть кошмары, даже пошевелиться — не было сил. И снова его затягивала противная сонная немочь. И в последний раз он заснул, наконец, каменно-крепко, — и проснулся уже при оживлении перерыва в коридоре и ощущая, что из его открытого бесчувственного рта насочилось слюны на диван.

Он встал, отперся, сходил умылся. Разносили чай с бутербродами.

Никто не шёл арестовывать. Сотрудники в коридоре, в общей канцелярии встречали его ровно, никто к нему не переменился.

Впрочем, это ничего и не доказывало. Никто же не мог знать.

Но в обычных взглядах и звуках голоса других людей он почерпнул бодрости. Он попросил девушку принести ему чая погорячей и покрепче и с наслаждением выпил два стакана. Этим ещё подбодрился.

А всё-таки не было сил пробиваться к шефу и узнавать...

Покончить с собой — это была бы простая мера благоразумия, это было чувство самосохранения, жалость к самому себе. Но если наверняка знать, что арестуют.

А если нет?

Вдруг позвонил телефон. Иннокентий вздрогнул, сердце его — не сразу, потом — слышно-слышно застучало.

А оказалось — Дотти, её удивительно-музыкальный по телефону голос. Она говорила с вернувшимися правами жены. Спрашивала, как дела, и предлагала вечером сходить куда-нибудь.

И снова Иннокентий ощутил к ней теплоту и благодарность. Плохая — не плохая жена, а ближе всех!

Об отмене своего назначения он не сказал. Но он представил себе, как вечером в театре будет в полной безопасности — ведь не арестуют же прямо при всех в зрительном зале!

— Ну, возьми на что-нибудь весёленькое, — сказал Иннокентий.

— В оперетту, что ли? — спрашивала Дотти. — «Акулина» какая-то. А так нигде ничего нет. В ЦТКА на малой сцене «Закон Ликурга», премьера, на большой — «Голос Америки». Во МХАТе — «Незабываемый».

— «Закон Ликурга» звучит слишком заманчиво. Красиво называют всегда самые плохие пьесы. Бери уж на «Акулину», ладно. А потом закатимся в ресторан.

— О кэй! о кэй! — смеялась и радовалась Дотти в телефон.

(Всю ночь там пробыть, чтоб дома не нашли! Ведь они приходят ночами!)

Постепенно токи воли возвращались в Иннокентия. Ну, хорошо, допустим, на него есть подозрение. Но ведь Щевронок и Заварзин — те прямо связаны со всеми подробностями, на них подозрение должно упасть ещё раньше. Подозрение — это ещё не доказательство!

Хорошо, допустим — арест угрожает. Но помешать этому — способов нет. Прятать? Нечего. Так о чём заботиться?

Он уже имел силу прохаживаться и размышлять.

Ну, что ж, даже если арестуют. Может быть не сегодня и даже не на этой неделе. Перестать ли из-за этого жить? Или наоборот, последние дни — наслаждаться ожесточённо?

И почему он так перепугался? Чёрт возьми, так остроумно вчера вечером защищал Эпикура — отчего ж не воспользуется им сам? Там, кажется, есть неглупые мысли.

Заодно думая, что надо просмотреть записные книжки, нет ли в них чего уничтожить, и вспоминая, что в старую книжку, кажется, выписывал когда-то из Эпикура, он стал листать её, отодвинув отчёт экспертов. И нашёл: «Внутренние чувства удовольствия и неудовольствия суть высшие критерии добра и зла.»

Рассеянному уму Иннокентия эта мысль не поддалась. Он прочёл дальше:

«Следует знать, что бессмертия нет. Бессмертия нет — и поэтому смерть для нас — не зло, она просто нас не касается: пока существуем мы — смерти нет, а когда смерть наступит — нет нас.»

А это здорово, — откинулся Иннокентий. — И кто это, кто это совсем недавно говорил то же самое? Ах, этот парень-фронтовик, вчера на вечере.

Иннокентий представил себе Сад в Афинах, семидесятилетнего смуглого Эпикура в тунике, поучающего с мраморных ступеней — а себя перед ним в современном костюме, как-нибудь по-американски развязно сидящим на тумбе.

«Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей, безрассудно пользующихся временем, которое природа отпустила нам. Но мудрый найдёт это время достаточным, чтобы обойти весь круг достижимых наслаждений, а когда наступит пора смерти — насыщенному отойти от стола жизни, освобождая место другим гостям. Для мудрого достаточно одной человеческой жизни, а глупый не будет знать, что ему делать и с вечностью.»

Блестяще сказано! Но вот беда: если не природа оттаскивает тебя в семьдесят лет от стола, а МГБ, и — тридцатилетнего?..

«Не до́лжно бояться телесных страданий. Кто знает предел страдания, тот предохранён от страха. Продолжительное страдание — всегда незначительно, сильное — непродолжительно. Мудрый не утратит душевного покоя даже во время пытки. Память вернёт ему его прежние чувственные и духовные удовольствия и, вопреки сегодняшнему телесному страданию, восстановит равновесие души.»

Иннокентий стал угрюмо ходить по кабинету.

Да, вот чего он боялся — не смерти совсем. Но что, если арестуют, будут мучить тело.

Эпикур же говорит, что можно победить пытку? О, если бы такая твёрдость!

Но не находил он её в себе.

А умереть? Не жалко бы и умереть, если бы люди узнали, что был такой гражданин мира и спасал их от атомной войны.

Атомная бомба у коммунистов — и планета погибла.

В подземельи застрелят как собаку, а «дело» запрут за тысячью замков.

Иннокентий запрокинул голову, как птица запрокидывает, чтобы вода через напряжённое горло прошла в грудь.

Да нет, если б о нём объявили — ему не легче было бы, а жутче: мы уже в той темноте, что не отличаем изменников от друзей. Кто князь Курбский? — изменник. Кто Грозный? — родной отец.

Только *тот* Курбский ушёл от своего Грозного, а Иннокентий не успел.

Если бы объявили — соотечественники с наслаждением побили бы его камнями! Кто бы понял его? — хорошо, если тысяча человек на двести миллионов. Кто там помнит, что отвергли разумный план Баруха: отказаться от атомной бомбы — и американские будут отданы под интернациональный замок? Главное: как посмел он решать за отечество, если это право — только верхнего кресла, и больше ничьё?

Ты не дал украсть бомбы Преобразователю Мира, Кузнецу Счастья? — значит, ты не дал её Родине!

А зачем она — Родине? Зачем она — деревне Рождество? Той подслеповатой карлице? той старухе с задушенным цыплёнком? тому залатанному одноногому мужику?

И кто во всей деревне осудит его за этот телефонный звонок? Никто даже н е п о й м ё т, порознь. А сгонят на общее собрание — осудят единогласно...

Им нужны дороги, ткани, доски, стёкла, им верните молоко, хлеб, ещё, может быть, колокольный звон — но зачем им атомная бомба?

А самое обидное, что своим телефонным звонком Иннокентий, может быть, и не помешал воровству.

·

Кружевные стрелки бронзовых часов показывали без пяти четыре.

Смеркалось.

86

В сумерках чёрный долгий «ЗИМ», проехав распахнутые для него ворота вахты, ещё наддал на асфальтовых извивах марфинского двора, очищенных широкой лопатой Спиридона и оттаявших дочерна, обогнул стоящую у дома яконовскую «победу» и с разлёту, как вкопанный, остановился у парадных каменных всходов.

Адъютант генерал-майора выпрыгнул из передней дверцы и живо отворил заднюю. Тучный Фома Осколупов в сизой, тугой для него шинели и каракулевой генеральской папахе вышел, распрямился и — адъютант распахнул перед ним одну и вторую дверь в здание — озабоченно направился вверх. На первой же площадке за старинными светильниками была отгорожена гардеробная. Служительница выбежала оттуда, готовая принять от генерала шинель (и зная, что он её не сдаст). Он шинели не сдал, папахи не снял, а продолжал подниматься по одному из маршей раздвоенной лестницы. Несколько зэков и мелких вольняшек, проходивших в это время по разным местам лестницы, поспешили исчезнуть. Генерал в каракулевой папахе величественно, но с усилием идти быстрей, как того требовали обстоятельства, поднимался. Адъютант, раздевшийся в гардеробной, нагнал его.

— Пойди найди Ройтмана, — сказал ему через плечо Осколупов, — предупреди: через полчаса приду в новую группу за результатами.

С площадки третьего этажа он не свернул к кабинету Яконова, а пошёл в противоположную сторону — к Семёрке. Увидевший его в

спину дежурный по объекту «сел» на телефон — искать и предупредить Яконова.

В Семёрке стоял развал. Не надо было быть специалистом (Осколупов им и не был), чтобы понять, что на ходу нет ничего, все системы, после долгих месяцев наладки, теперь распаяны, разорваны и разломаны. Венчание клиппера с вокодером началось с того, что обоих новобрачных разнимали по панелям, по блокам, чуть не по конденсаторам. Там и сям возносился дым от канифоли, от папирос, слышалось гудение ручной дрели, деловое переругивание и надрывный крик Мамурина по телефону.

Но и в этом дыму и гуле двое сразу заметили входившего генерал-майора: Любимичев и Сиромаха (входная дверь всегда оставалась в уголке их настороженного зрения). Они были не два отдельных человека, а одна неутомимая жертвенная упряжка, постоянная преданность, быстрота, готовность работать двадцать четыре часа в сутки и выслушивать все соображения начальства. Когда совещались инженеры Семёрки — Любимичев и Сиромаха участвовали в совещаниях как равные. Правда, в суете Семёрки они многого нахватались.

Заметив Осколупова, оба бросили паяльники на подставки, Сиромаха метнулся предупредить Мамурина, стоя кричавшего в телефон, а Любимичев с простодушием подхватил его полумягкое кресло и *на цырлах* понёс его навстречу генералу, ловя указание, куда поставить. У другого человека это могло бы выглядеть подхалимством, но у Любимичева — рослого, широкоплечего, с привлекательным открытым лицом, это было благородной услугой молодости пожилому уважаемому человеку. Ставя кресло и закрывая его собою ото всех, кроме Осколупова, Любимичев незаметно для всех, но заметно для генерал-майора, ещё приказчичьим движением руки смахнул с сиденья невидимую пыль, отскочил в сторону и — вместе с Сиромахой — они замерли в радостном ожидании вопросов и указаний.

Фома Гурьянович сел, не снимая папахи, лишь чуть расстегнув шинель.

В лаборатории всё смолкло, не сверлила больше дрель, папиросы погасли, голоса стихли, и только Бобынин, не выходя из своего закутка, басом давал указания электромонтажникам, да Прянчиков продолжал невменяемо бродить с горячим паяльником вокруг разорённой стойки своего вокодера. Остальные смотрели и слушали, что скажет начальство.

Отирая пот после трудного разговора по телефону (он спорил с начальником механических мастерских, запоровших каркасные панели), подошёл Мамурин и изнеможённо приветствовал своего прежнего друга по работе, а теперь недосягаемо-высокого начальника (Фома протянул ему три пальца). Мамурин дошёл уже до той сте-

пени бледности и умирания, когда кажется преступлением, что этого человека выпустили из постели. Много больней, чем его чиновные коллеги, перенёс он удары минувших суток — гнев министра и разломку клиппера. Если ещё могли утончиться мускульные связки под его кожным покровом — они утончились. Если кости человеческие способны терять в весе — они потеряли вес. Больше года Мамурин жил клиппером и верил, что клиппер, как Конёк-Горбунок, вынесет его из беды. Никакое позолочение — приход Прянчикова с вокодером под кров Семёрки, не могло скрыть от него катастрофы.

Фома Гурьянович умел руководить, не овладевая познаниями по руководимому им делу. Он давно усвоил, что для этого надо лишь сталкивать мнения знающих подчинённых — и через то руководить. Так и теперь. Он посмотрел насупленно и спросил:

— Ну, так что? Как дела? —

И тем самым вынудил подчинённых высказываться.

Началась никому не нужная, нудная беседа, только отрывавшая от работы. Говорили нехотя, вздыхая, а если заговаривали сразу двое — оба уступали.

Два тона было в этом разговоре: «надо» и «трудно». «Надо» проводил неистовый Маркушев, поддержанный Любимичевым — Сиромахой. Маленький прыщеватый деятельный Маркушев горячечно денно и нощно изобретал, как ему прославиться и освободиться по досрочке. Он предложил слияние клиппера и вокодера не потому, что был инженерно уверен в успехе, а потому что при таком слиянии наверняка падало отдельное значение Бобынина и Прянчикова, значение же Маркушева возрастало. И хотя сам он очень не любил работать на дядю, когда не ожидал воспользоваться плодами работ, — сейчас он негодовал, почему его товарищи по Семёрке так упали духом. В присутствии Осколупова он косвенным образом жаловался ему на нерадение инженеров.

Он был — человек, то есть из той распространённой породы существ, из которой делают угнетателей себе подобных.

На лицах Любимичева и Сиромахи были написаны страдание и вера.

Поникший прозрачно-лимонным лицом в невесомые ладони Мамурин впервые за всё время командования Семёркой — молчал.

Хоробров едва прятал в глазах злорадный блеск. Ему доставляло крупную радость быть свидетелем похорон двухлетних усилий министерства Госбезопасности. Он больше всех возражал Маркушеву и выпирал трудности.

Осколупов же почему-то особенно упрекал Дырсина, виня его в отсутствии энтузиазма. У Дырсина, когда он волновался или страдал от несправедливости, почти отнимался голос. Из-за этой невыгодной черты он всегда оказывался виноват.

К середине разговора пришёл Яконов и из вежливости стал поддерживать беседу, бессмысленную в присутствии Осколупова. Затем он подозвал Маркушева, и с ним вдвоём на клочке бумаги, на коленях, они стали набрасывать вариант схемы.

Фома Гурьянович охотнее бы всего пустился на хорошо ему известную, за годы начальствования разработанную до интонационных подробностей дорожку разноса и разгрома. Это у него получалось лучше всего. Но он видел, что сейчас разносить — не поможет.

Почувствовал ли Фома Гурьянович, что его беседа не идёт на пользу дела, или захотел дохнуть иным воздухом, пока не кончился льготный роковой месячный срок, — но посреди разговора, не дослушав Булатова, встал и мрачно пошёл к выходу, оставив полный состав Семёрки терзаться, до чего их нерадивость довела Начальника Отдела Спецтехники.

Верный порядку, Яконов вынужден был тоже встать и понести своё огрузлое большое тело вослед папахе, доходившей ему до плеча.

Молча, но уже рядом, они прошли по коридору. За то и не любил Начальник Отдела, чтоб его главный инженер шёл рядом с ним: Яконов был выше на голову, причём на свою продолговатую крупную голову.

Сейчас Яконову было не только до́лжно, но и выгодно рассказать генерал-майору об удивительном, непредвиденном успехе с шифратором. Он сразу рассеял бы этим ту бычью недоброжелательность, с которой Фома смотрел на него после абакумовского ночного приёма.

Но — чертежа не было в его руках. Изрядное же умение Сологдина владеть собой, продемонстрированная им готовность уехать умирать, но не отдать чертежа зря — убедили Яконова выполнить данное слово и доложить сегодня ночью Селивановскому, минуя Фому. Конечно, Фому это разъярит, но ему придётся быстро смягчиться.

Да и не только это. Яконов видел, как Фома насуплен, перепуган за свою судьбу и с удовольствием оставлял его помучиться ещё несколько суток. Антон Николаевич испытывал даже инженерную оскорблённость за проект, будто сам его составил. Как верно предвидел Сологдин, Фома непременно навязался бы в соавторы. А теперь, когда узнает, то даже не взглянув на чертёж главного узла, тотчас распорядится посадить Сологдина в отдельную комнату и затруднить к нему доступ тем, кто должен ему помогать; и вызовет Сологдина и начнёт его припугивать и давать жестокие сроки; и потом каждые два часа будет звонить из министерства и подгонять Яконова; и в конце концов будет заноситься, что только благодаря его контролю дали шифратору верный ход.

И так всё это было известно и тошно, что Яконов пока с удовольствием молчал.

Однако, придя в кабинет, он, чего никогда не стал бы при посторонних, помог Осколупову стянуть с себя шинель.

— У тебя Герасимович — что делает? — спросил Фома Гурьянович и сел в кресло Антона, так и не сняв папахи.

Яконов опустился в стороне на стул.

— Герасимович?.. Да собственно, он со Спиридоновки когда? В октябре, наверно. Ну, и с тех пор телевизор для товарища Сталина делал.

Тот самый, с бронзовой накладкой «Великому Сталину — от чекистов».

— Вызови-ка его.

Яконов позвонил.

«Спиридоновка» была тоже одна из московских шарашек. В последнее время под руководством инженера Бобра на Спиридоновке было изготовлено весьма остроумное и полезное приспособление — приставка к обычному городскому телефону. Главное остроумие его состояло в том, что приспособление действовало именно тогда, когда телефон бездействовал, когда трубка покойно лежала на рычагах: всё, что говорилось в комнате, в это время прослушивалось с контрольного пункта госбезопасности. Приспособление понравилось, было запущено в производство. Когда намечался нужный абонент, его линию нарушали, жертва сама просила прислать монтёра, монтёр приходил и под видом починки вставлял в телефон подслушивающее устройство.

Опережающая мысль начальства (мысль начальства всегда должна опережать) была теперь о других приспособлсниях.

В дверь заглянул дежурный:

— Заключённый Герасимович.

— Пусть войдёт, — кивнул Яконов. Он сидел особняком от своего стола, на маленьком стуле, расслабнув и почти вываливаясь вправо и влево.

Герасимович вошёл, поправляя на носу пенсне, и споткнулся о ковровую дорожку. По сравнению с этими двумя толстыми чинами он казался очень уж узок в плечах и мал.

— По вашему вызову, — сухо сказал он, приблизясь и глядя в стенку между Осколуповым и Яконовым.

— У-гм, — ответил Осколупов. — Садитесь.

Герасимович сел. Он занимал половину сиденья.

— Вы... это... — вспоминал Фома Гурьянович. — Вы... — оптик, Герасимович? В общем, не по уху, а по глазу, так, что ли?

— Да.

— И вас это... — Фома поворочал языком, как бы протирая зубы. — Вас хвалят. Да.

Он помолчал. Сожмурив один глаз, он стал смотреть на Герасимовича другим:

— Вы последнюю работу Бобра знаете?

— Слышал.

— У-гм. А что мы Бобра представили к досрочному?

— Не знал.

— Вот, знайте. Вам сколько сидеть осталось?

— Три года.

— До-олго! — удивился Осколупов, будто у него все сидели с месячными сроками. — Ой, до-олго! — (Подбодряя недавно одного новичка, он говорил: «Десять лет? Ерунда! Люди по двадцать пять сидят!») — Вам тоже б досрочку неплохо заработать, а?

Как это странно совпадало со вчерашней мольбой Наташи!..

Пересилив себя (ибо никакой улыбки и снисхождения он не разрешал себе в разговорах с начальством), Герасимович криво усмехнулся:

— Где ж её возьмёшь? В коридоре не валяется.

Фома Гурьянович колыхнулся:

— Хм! На телевизорах, конечно, досрочки не получите! А вот я вас на Спиридоновку на днях переведу и назначу руководителем проекта. Месяцев за шесть сделаете — и к осени будете дома.

— Какая ж работа, разрешите узнать?

— Да там много работ намечено, только хватай. Есть, например, такая идея: микрофоны вделывать в садовые скамейки, в парках — там болтают откровенно, чего не наслушаешься. Но это — не по вашей специальности?

— Нет, это не по моей.

— Но и для вас есть, пожалуйста. Две работы, и та важная, и та печёт. И обе прямо по вашей специальности, — ведь так, Антон Николаич? — (Яконов поддакнул головой.) — Одно — это ночной фотоаппарат на этих... как их... ультра-красных лучах. Чтоб, значит, ночью вот на улице сфотографировать человека, с кем он идёт, а он бы и до смерти не знал. За границей уже намётки есть, тут надо только... творчески перенять. Ну, и чтоб в обращении аппарат был попроще. Наши агенты не такие умные, как вы. А второе вот что. Второе вам, наверно, раз плюнуть, а нам — позарез нужно. Простой фотоаппаратик, только такой манёхонький, чтоб его в дверные косяки вделывать. И он бы автоматически, как только дверь открывается, фотографировал бы, кто через дверь проходит. Хотя бы днём, ну, и при электричестве. В темноте уж не надо, ладно. Такой бы аппаратик нам тоже в серийное производство запустить. Ну, как? Возьмётесь?

Суженным худощавым лицом Герасимович был обёрнут к окнам и не смотрел на генерал-майора.

В словаре Фомы Гурьяновича не было слова «скорбный». Поэтому

он не мог бы назвать, что за выражение установилось на лице Герасимовича.

Да он и не собирался называть. Он ждал ответа.

Это было исполнение молитвы Наташи!..

Её иссушенное лицо со стеклянно-застылыми слезами стояло перед Илларионом.

Впервые за много лет возврат домой своей доступностью, близостью, теплотой обнял сердце.

А сделать надо было только то, что Бобёр: вместо себя посадить за решётку сотню-две доверчивых лопоухих вольняшек.

Затруднённо, с препинанием Герасимович спросил:

— А на телевидении... нельзя бы остаться?

— Вы отказываетесь?! — изумился и нахмурился Осколупов. Его лицо особенно легко переходило к выражению сердитости. — По какой же причине?

Все законы жестокой страны зэков говорили Герасимовичу, что преуспевающих, близоруких, не тёртых, не битых вольняшек жалеть было бы так же странно, как не резать на сало свиней. У вольняшек не было бессмертной души, добываемой зэками в их бесконечных сроках, вольняшки жадно и неумело пользовались отпущенной им свободой, они погрязли в маленьких замыслах, суетных поступках.

А Наташа была подруга всей жизни. Наташа ждала его второй срок. Беспомощный комочек, она была на пороге угасания, а с ней угаснет и жизнь Иллариона.

— Зачем — причины? Не могу. Не справлюсь, — очень тихо, очень слабо ответил Герасимович.

Яконов, до этого рассеянный, с любопытством и вниманием взглянул на Герасимовича. Это кажется был ещё один случай, претендующий на иррациональность. Но всемирный закон «своя рубаха ближе к телу» не мог не сработать и здесь.

— Вы просто отвыкли от серьёзных заданий, оттого и робеете, — убеждал Осколупов. — Кто ж, как не вы? Хорошо, я вам дам подумать.

Герасимович небольшою рукой подпёр лоб и молчал.

Конечно, это не была атомная бомба. Это была по мировой жизни — крохотность незамечаемая.

— Но о чём вам думать? Это прямо по вашей специальности!

Ах, можно было смолчать! Можно было темнить. Как заведено у зэков, можно было принять задание, а потом *тянуть резину*, не делать. Но Герасимович встал и презрительно посмотрел на брюхастого вислощёкого тупорылого выродка в генеральской папахе, какие на беду не ушли по среднерусскому большаку.

— Нет! Это не по моей специальности! — звеняще пискнул он. — Сажать людей в тюрьму — не по моей специальности! Я — не ловец человеков! Довольно, что нас посадили...

Рубин с утра был ещё в тягостной власти вчерашнего спора. Приходили новые и новые аргументы, не досказанные ночью. Но с разворотом дня ему посчастливилось рассчитаться за ту схватку.

Это было в совсекретной тихой комнатке на третьем этаже с тяжёлыми занавесями по бокам окна и двери, с неновым диваном и плохоньким ковриком. Мягкое глушило звуки, но звуков почти и не было, потому что магнитные ленты Рубин слушал на наушники, а Смолосидов весь день молчал, грубо прорытым лицом насупясь на Рубина как на врага, а не товарища по работе. В свою очередь и Рубин не замечал Смолосидова иначе, как автомат для перестановки катушек с лентами.

Надевая наушники, Рубин слушал и слушал роковой разговор с посольством, а потом — представленные ему ещё пять лент с пяти разговоров подозреваемых лиц. То он верил ушам, то отчаивался им верить и переходил к фиолетовым извивам звуковидов, напечатанных по всем разговорам. Длинные многометровые бумажные ленты, не помещаясь даже на большом столе, ниспадали белыми скрутками на пол слева и справа. Порывисто брался Рубин за свой альбом с образцами звуковидов, классифицированных то по звукам-«фонемам», то по «основному тону» различных мужских голосов. Цветным красно-синим карандашом, уже исписанным до закруглённо-тупых оконечностей (очинить карандаш был для Рубина труд долгосборный), он размечал особо поразившие его места на лентах.

Рубин был захвачен. Его тёмно-карие глаза казались огненными. Большая нечёсанная чёрная борода была сваляна клочьями, и седой пепел непрерывно куримых трубок и папирос пересыпал бороду, рукава засаленного комбинезона с оторванной пуговицей на обшлаге, стол, ленты, кресло, альбом с образцами.

Рубин переживал сейчас тот загадочный душевный подъём, которого ещё не объяснили физиологи: забыв о печени, о гипертонических болях, освежённым взлетев из изнурительной ночи, не испытывая голода, хотя последнее, что он ел, было печенье за именинным столом вчера, Рубин находился в состоянии того духовного реянья, когда острое зрение выхватывает гравинки из песка, когда память готовно отдаёт всё, что отлагалось в ней годами.

Он ни разу не спросил, который час. Он один только раз, по приходе, хотел открыть форточку, чтобы возместить себе недостаток свежего воздуха, но Смолосидов хмуро сказал: «Нельзя! У меня насморк», и Рубин подчинился. Ни разу потом во весь день он не встал, не подошёл к окну посмотреть, как рыхлел и серел снег под влажным западным ветром. Он не слышал, как стучался Шикин и как Смолосидов не пустил его. Будто в тумане видел он приходившего и уходившего Ройтмана, не оборачиваясь, что-то цедил ему

сквозь зубы. В его сознание не вступило, что звонили на обеденный перерыв, потом снова на работу. Инстинкт зэка, свято чтущего ритуал еды, пробуждён в нём встряхиванием за плечи всё тем же Ройтманом, показавшим ему на отдельном столике яичницу, вареники со сметаной и компот. Ноздри Рубина вздрогнули. Удивление вытянуло его лицо, но сознание и тут не отразилось на нём. Недоуменно оглядя эту пищу богов, точно пытаясь понять её назначение, он пересел и стал торопливо есть, не ощущая вкуса, стремясь скорей вернуться к работе.

Рубин не оценил еды, но Ройтману она обошлась гораздо дороже, чем если бы он сервировал её на свои деньги: он два часа «просидел на телефоне», созванивая и согласовывая этот паёк сперва с Отделом Спецтехники, потом с генералом Бульбанюком, потом с Тюремным Управлением, потом с отделом снабжения и, наконец, с подполковником Климентьевым. Те, кому он звонил, в свою очередь согласовывали вопрос с бухгалтериями и другими лицами. Трудность состояла в том, что Рубин питался по арестантской «третьей» категории, а Ройтман для него на несколько дней, ввиду особо важного государственного задания, добивался «первой», да ещё диетической. После всех согласований тюрьма стала выдвигать организационные возражения: отсутствие запрашиваемых продуктов на складе тюрьмы, отсутствие оплаченного наряда повару на приготовление индивидуального меню.

Теперь Ройтман сидел напротив и смотрел на Рубина, но не как работодатель, ждущий плодов работы раба, а с ласковой усмешкой, как на большого ребёнка, восхищаясь, завидуя порыву, ловя момент, как бы вникнуть в смысл его полуденной работы и включиться в неё тоже.

А Рубин всё съел, и на его помягчевшее лицо вернулась осмысленность. В первый раз с утра он улыбнулся:

— Зря вы меня накормили, Адам Вениаминович. Satur venter non studet libenter.* Главную часть пути путник проходит до обеденного привала.

— Да вы на часы посмотрите, Лев Григорьич! Ведь четверть четвёртого!

— Что-о? Я думал — двенадцати нет.

— Лев Григорьич! Я сгораю от любопытства — что вы выяснили?

Это не только не было начальническим требованием, но сказано просительно, как если б Ройтман боялся, что Рубин откажется поделиться. В минуты, когда душа Ройтмана открывалась, он был очень мил, несмотря на нескладную наружность, на толстые губы, всегда незакрытые из-за полипов в носу.

— Только начало! Только первые выводы, Адам Вениаминович!

---

* Сытое брюхо к учению глухо *(лат.)*.

— И — какие же?

— О некоторых можно спорить, но один несомненен: в науке фоноскопии, родившейся сегодня, есть-таки рациональное зерно!!

— А вы — не увлекаетесь, Лев Григорьич? — предостерёг Ройтман. Ему не меньше хотелось, чтобы слова Рубина были верны, но, воспитанник точных наук, он знал, что у гуманитариста Рубина энтузиазм может перевесить научную добросовестность.

— А когда вы видели, чтоб я увлекался? — чуть не обиделся Рубин и разгладил склоченную бороду. — Наша почти двухлетняя собирательная работа, все эти звуковые и слоговые анализы русской речи, изучение звуковидов, классификация голосов, учение о национальном, групповом и индивидуальном речевом ладе — всё, что Антон Николаич считал пустым времяпровождением, да греха ли таить? иногда и в вас закрадывалось сомнение! — всё это даёт теперь свои концентрированные результаты. Надо будет нам сюда Нержина забирать, как вы думаете?

— Если фирма развернётся — отчего же? Но пока мы должны доказать свою жизнеспособность и выполнить первое задание.

— Первое задание! Первое задание — это половина всей науки! Не так-то скоро.

— Но... то есть... Лев Григорьич? Неужели вы не понимаете, насколько срочно всё это надо?

О, ещё бы он не понимал! «Надо» и «срочно» — на этих словах вырос комсомолец Лёвка Рубин. Это были высшие лозунги тридцатых годов. Не было стали, не было тока, не было хлеба, не было тканей, — но было н а д о и н а д о срочно — и воздвигались домны, и запускались блюминги. Потом, перед войной, в благодушных учёных изысканиях, окунаясь в неторопливый Восемнадцатый век, Рубин избаловался. Но клич «срочно надо!», конечно же, оставался внятен его душе и попирал привычку доделывать работу до конца.

Действительно, как же не срочно, если величайший государственный предатель может ускользнуть?..

Из окна уже падало мало дневного света. Они зажгли верхний, присели к рабочему столу, рассматривали выделенные на лентах звуковидов синим и красным карандашом образы, характерные звуки, стыки согласных, интонационные линии. Всё это делали они вдвоём, не обращая внимания на Смолосидова, — он же, за весь день не уйдя из комнаты ни на минуту, сидел у магнитной ленты, сторожа её как хмурый чёрный пёс, и смотрел им в затылки, и этот его неотступный тяжёлый взгляд давил им на череп и на мозг. Смолосидов лишал их самого маленького, но главного элемента — непринуждённости: он был свидетелем их колебаний и он же будет свидетелем их бодрого доклада начальству...

А они попеременно впадали — один в сомненья, другой в уверенность, и наоборот. Ройтмана обуздывала его математичность, но

травило вперёд его служебное положение. Рубина умеряло незаинтересованное желание породить настоящую новую науку, но рвала вперёд выучка пятилеток и сознание партийного долга.

И сложилось так, что оба они признали достаточным список пяти подозреваемых. Они не высказывали избыточных предположений, что надо бы записать на магнитофон тех четырёх, которые задержаны у метро Сокольники (да и слишком поздно их задержали), и ещё тех нескольких из МГБ, кого на крайний случай обещал Бульбанюк. И они психологически отводили предположение, что звонил, может быть, не сам осведомлённый в деле человек, а кто-нибудь по его поручению.

Нелегко было охватить и пятерых! Сравнили с преступником пять голосов на слух. Сравнили с преступником пять звуковидных лент.

— А посмотрите, как много даёт нам звуковидный анализ! — с горячностью показывал Рубин. — Вы слышите, что в начале преступник говорит не тем голосом, он пытается его менять. Но что изменилось на звуковиде? Только сдвинулась интенсивность по частотам — индивидуальный же речевой лад ничуть не изменился! Вот наше главное открытие — речевой лад! Даже если преступник до конца говорил изменённым голосом — он бы не скрыл своей характерности!

— Но мы ещё плохо знаем с вами пределы изменяемости голосов, — упирался Ройтман. — Может быть, в микроинтонациях эти пределы широки.

Если на слух легко было усомниться, где схож голос, где разен, то на звуковидах изменением амплитудно-частотного рисунка разнота выявилась как будто отчётливей. (Правда, беда была в грубости их аппарата видимой речи: он выделял мало частотных каналов, и величину амплитуды передавал неразборчивыми мазками. Но извинением служило то, что его не предназначали для такой ответственной работы.)

Из пяти подозреваемых Заварзина и Сяговитого можно было отвести совершенно уверенно (если вообще будущая наука разрешала делать выводы по единичному разговору). С колебаниями можно было отвести и Петрова (разгорячившийся Рубин отводил и Петрова уверенно). Напротив, голоса Володина и Щевронка подходили к голосу преступника по частоте основного тона, имели с ним одинаковые фонемы: о, р, л, ш — и были сходны по индивидуальному речевому ладу.

Вот на этих-то сходных голосах и следовало бы теперь развить науку фоноскопию и отработать её приёмы. Только на тонких этих различиях и мог выработаться её будущий чуткий аппарат. С торжеством создателей откинулись к спинкам стульев Рубин и Ройтман. Их мысленный взгляд прозревал ту, подобную дактилоскопической,

организацию, которая когда-нибудь будет принята: единая общесоюзная фонотека, где записаны звуковиды с голосов всех, однажды заподозренных. Любой преступный разговор записывается, сличается, и злоумышленник без колебаний изловлен, как вор, оставивший отпечатки пальцев на дверце сейфа.

Но в это время адъютант Осколупова через щёлку предупредил о скором приходе *хозяина*.

И оба очнулись. Наука наукой, но пока что надо было выработать общий выход и дружно защищать его перед начальником Отдела.

Собственно, Ройтман считал, что достигнутого — уже много. Зная, что начальство не любит гипотез, а любит определённость, Ройтман уступил Рубину, согласился считать голос Петрова вне подозрений, и твёрдо доложить генерал-майору, что на подозрении остались только Щевронок и Володин, на которых в ближайшую пару дней надо провести дополнительное исследование.

Напротив, запутывающим обстоятельством здесь было то, что по присланным данным, именно из трёх отклонённых двое — Сяговитый и Петров, ни бум-бум не знали иностранных языков, Щевронок же знал английский и голландский, Володин — французский как родной, английский бегло и итальянский слегка. Мало вероятно, чтобы в такую важную минуту, когда разговор сводился к нулю из-за непонимания, у человека не вырвалось бы ни восклицания на знакомом ему языке.

— Вообще, Лев Григорьич, — мечтательно говорил Ройтман, — мы не должны с вами пренебрегать и психологией. Надо всё-таки представить себе — что́ должен быть за человек, решившийся на такой телефонный звонок? что могло им двигать? А затем сравнить с конкретными образами подозреваемых. Надо будет поставить вопрос, чтобы впредь нам, фоноскопистам, давали бы не только голос подозреваемого и его фамилию, но и краткие сведения о его положении, занятии, образе жизни, может быть — даже биографии. Мне кажется, я мог бы сейчас построить некий психологический этюд о нашем преступнике...

Но Рубин, вчера вечером возражавший художнику, что объективное познание свободно от эмоциональной предокраски, сейчас уже излюбил одного из двух подозреваемых и возражал так:

— Я, Адам Вениаминович, психологические соображения, конечно, уже перебирал, и они бы склонили чашу весов в сторону Володина: в разговоре с женой, — (этот разговор с женой, помимо сознания отвлекал и сбивал Рубина: голос володинской жены был так напевен в телефон, что тревожил и уж если что прилагать к ленте, то попросил бы Лев фотографию жены Володина), — в разговоре с женой он как-то особенно вял, подавлен, даже в апатии, это очень свойственно преступнику, опасающемуся преследования, и ничего подобного нет в весёлом воскресном щебете Щевронка, я согласен. Но хо-

роши мы будем, если с первых же шагов станем опираться не на объективные данные нашей науки, а на посторонние соображения. У меня уже немалый опыт работы со звуковидами, и вы должны мне поверить: по многим неуловимым признакам я абсолютно уверен, что преступник — Щевронок. Просто за недостатком времени я не смог все эти признаки промерить по ленте измерителем и перевести на язык цифр. — (На это-то никогда не хватало времени у филолога!) — Но если бы меня сейчас взяли за горло и сказали: назови только одно имя и поручись, что именно он — преступник, — я почти без колебаний назвал бы Щевронка!

— Но мы так не станем делать, Лев Григорьич, — мягко возразил Ройтман. — Давайте поработаем измерителем, давайте переведём на язык цифр — тогда и будем говорить.

— Но ведь это сколько уйдёт времени?! Ведь н а д о же с р о ч н о!

— Но если истина требует?

— Да вы посмотрите сами, посмотрите!.. — и перебирая снова ленты звуковидов и тряся на них новый и новый пепел, Рубин стал запальчиво доказывать виновность Щевронка.

За этим занятием и застал их генерал-майор Осколупов, вошедший медленными властными шагами коротких ног. Все они хорошо его знали и уже по надвинутой папахе и по искривлённой верхней губе видели, что он пришёл резко недовольным.

Они вскочили, а он сел в угол дивана, руки засунул в карманы и приказно буркнул:

— Ну!

Рубин корректно молчал, предоставляя докладывать Ройтману.

При докладе Ройтмана вислощёкое лицо Осколупова осенило глубокомыслие, веки сонно приспустились, и он даже не встал посмотреть предложенные ему образцы лент.

Рубин изнывал при докладе Ройтмана — даже в чётких словах этого умного человека он видел утерянным то содержание, то наитие, которое вело его в исследовании. Ройтман закончил выводом, что подозреваются Щевронок и Володин, однако для окончательного суждения нужны ещё новые записи их разговоров. После этого он посмотрел на Рубина и сказал:

— Но, кажется, Лев Григорьич хочет что-то добавить или поправить?

Фома Осколупов для Рубина был пень, давно решённый пень. Но сейчас он был также и — государственное око, представитель советской власти и невольный представитель всех тех прогрессивных сил, которым Рубин отдавал себя. И поэтому Рубин заговорил волнуясь, потрясая лентами и альбомами звуковидов. Он просил генерала понять, что хотя вывод дан пока и двойственный, но самой науке фоноскопии такая двойственность отнюдь не присуща, что просто

слишком краток был срок для вынесения окончательного суждения, что нужны ещё магнитные записи, но что если говорить о личной догадке Рубина, то...

Хозяин слушал уже не сонно, а сморщась брезгливо. И, не дождавшись конца объяснений, перебил:

— Ворожи-ила бабка на бобах! На что мне ваша «наука»? Мне — преступника надо поймать. Докладайте ответственно: преступник здесь, на столе, у вас лежит, это точно? На свободе он не гуляет? Кроме этих пяти?

И смотрел исподлобья. А они стояли перед ним, ни обо что не опершись. Бумажные ленты из опущенных рук Рубина волочились по полу. Чёрным драконом Смолосидов припал у магнитофона за их спинами.

Рубин смеялся. Он ожидал бы говорить вообще не в этом аспекте.

Ройтман, более привыкший к манере начальства, сказал по возможности отважно:

— Да, Фома Гурьянович. Я, собственно... Мы, собственно... Мы уверены, что — среди этих пяти.

(А что он мог ещё сказать?..)

Фома теснее прищурил глаза.

— Вы — отвечаете за свои слова?

— Да, мы... Да... отвечаем...

Осколупов тяжело поднялся с дивана:

— Смотрите, я за язык не тянул. Сейчас поеду министру доложу. Обоих сукиных сынов арестуем!

(Он так сказал это, враждебно глядя, что можно было понять — именно их-то двоих и арестуют.)

— Подождите, — возразил Рубин. — Ну, ещё хоть сутки! Дайте нам возможность обосновать полное доказательство!

— А вот, следствие начнётся — пожалуйста, на стол к следователю микрофон — и записывайте их хоть по три часа.

— Но один из них будет невиновен! — воскликнул Рубин.

— Как это — невиновен? — удивился Осколупов и полностью раскрыл зелёные глаза. — Совсем уж ни в чём и не виновен?.. Органы най-дут, разберутся.

И вышел, слова доброго не сказав адептам новой науки.

У Осколупова был такой стиль руководства: никого из подчинённых никогда не хвалить — чтобы больше старались. Это был даже не лично его стиль, этот стиль нисходил от Самого́.

А всё-таки было обидно.

Они сели на те самые стулья, на которых незадолго мечтали о великом будущем зарождающейся науки. И смолкли.

Как будто растоптали всё, что они так ажурно и хрупко построили. Как будто фоноскопия была вовсе и не нужна.

Если вместо одного можно арестовать двух, — то почему и не всех пятерых для верности?

Ройтман внятно почувствовал, как шатка новая группа, вспомнил, что Акустическая наполовину разогнана, — и сегодняшнее ночное ощущение неуютности мира и одинокости в нём опять посетило его.

А в Рубине угасла вся непрерывная многочасовая самозабвенная вспышка. Он вспомнил, что печень у него болит, и болит голова, и выпадают волосы, и стареет его жена, и сидеть ему ещё больше пяти лет, и с каждым годом всё гнут и гнут революцию в болото аппаратчики проклятые — и вот ошельмовали Югославию.

Но они не высказали всего подуманного, а просто сидели и молчали.

И Смолосидов молчал за их затылками.

На стене уже была приколота Рубиным карта Китая с коммунистической территорией, закрашенной красным карандашом.

Эта карта только и согревала его. Несмотря ни на что, несмотря ни на что — а мы побеждаем...

Постучали и вызвали Ройтмана. Начиналась объединённая партийно-комсомольская политучёба и надо было, чтоб он шёл загонять своих подчинённых и присутствовать сам.

88

Понедельник был не на одной шарашке Марфино, но и по всему Советскому Союзу установленный Центральным Комитетом партии день политучёбы. В этот день и школьники старших классов, и домохозяйки по своим жактам, и ветераны революции, и седовласые академики с шести вечера до восьми садились за парты и разворачивали свои конспекты, подготовленные в воскресенье (по неотменённому желанию Вождя с граждан требовались не только ответы наизусть, но и обязательно собственноручные конспекты).

Историю Партии Нового Типа прорабатывали очень углублённо. Каждый год, начиная с 1 октября, изучали ошибки народников, ошибки Плеханова и борьбу Ленина — Сталина с экономизмом, легальным марксизмом, оппортунизмом, хвостизмом, ревизионизмом, анархизмом, отзовизмом, ликвидаторством, богоискательством и интеллигентской бесхребетностью. Не жалея времени, растолковывали параграфы партийного устава, принятые полста лет назад (и с тех пор давно изменённые), и разницу между старой «Искрой» и новой «Искрой», и шаг вперёд, два шага назад, и кровавое воскресенье, — но тут доходило до знаменитой Четвёртой Главы «Краткого Курса», излагавшей философские основы коммунистической идеологии, — и почему-то все кружки бесславно увязали в этой главе. Так как это

не могло же объясняться пороками или путаницей в диалектическом материализме или неясностями авторского изложения (глава написана была самим Лучшим Учеником и Другом Ленина), то единственные причины были: трудности диалектического мышления для отсталых тёмных масс и неотклонное наступление весны. В мае, в разгар изучения Четвёртой Главы, трудящиеся откупались тем, что подписывались на заём, — и политучёбы прекращались.

Когда же в октябре кружки собирались вновь, то, несмотря на явно выраженное бесстрашное желание Великого Кормчего переходить поскорее к жгучей современности, к её недостаткам и движущим противоречиям, — приходилось учитывать, что за лето материал начисто забыт трудящимися, что Четвёртая Глава не докончена, — и пропагандистам указывалось начинать опять-таки с ошибок народников, ошибок Плеханова, борьбы с экономизмом и легальным марксизмом.

Так шло повсюду каждый год и за годом год. И сегодняшняя лекция в Марфино на тему «Диалектический материализм — передовое мировоззрение» тем и была особенно важна и интересна, что должна была до конца исчерпать Четвёртую Главу, коснуться ослепительно-гениального произведения Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и, разорвав заколдованный круг, выпустить, наконец, марфинский партийный и комсомольский кружки на столбовую дорогу современности: работа и борьба нашей партии в период первой империалистической войны и подготовки Февральской революции.

И ещё то привлекало марфинских вольняшек, что при лекции не нужны были конспекты (кто написал — оставалось на следующий понедельник, кому перекатывать — можно было перекатать и позже). И ещё то манило к этой лекции, что читал её не рядовой пропагандист, а лектор обкома партии Рахманкул Шамсетдинов. Обходя перед обедом лаборатории, Степанов так прямо и предупреждал, что лектор, говорят, читает зажигательно. (Ещё одно обстоятельство о лекторе Степанов не знал и сам: Шамсетдинов был хорошим другом Мамулова — не того Мамулова из секретариата Берии, а второго Мамулова, его родного брата, начальника Ховринского лагеря при военном заводе. Этот Мамулов держал лично для себя крепостной театр из бывших московских, а теперь арестованных артистов, которые развлекали его и застольных друзей вместе с девушками, особо отобранными на краснопресненской пересылке. Близость к двум Мамуловым и была причиной того уважения, которое испытывал к Шамсетдинову московский обком партии, отчего этот лектор и разрешал себе смелость не читать слово в слово по заготовленным текстам, а предаваться вдохновению красноречия.)

Но несмотря на тщательное оповещение о лекции, несмотря на всю притягательность её, марфинские вольняшки тянулись на неё

как-то лениво и под разными предлогами старались задержаться в лабораториях. Так как по одному вольному везде должно было остаться — не покинуть же зэков без присмотра! — то начальник Вакуумной, никогда ничего не делавший, вдруг заявил, что срочные дела требуют его присутствия в лаборатории, а девочек своих, Тамару и Клару, отправил на лекцию. Так же поступил и заместитель Ройтмана по Акустической — остался сам, а дежурной Симочке велел идти слушать. Майор Шикин тоже не пришёл, но деятельность его, окутанную тайной, не могла проверить даже партия.

Кто же, наконец, приходил — приходили не вовремя и из ложного чувства самосохранения старались занимать задние ряды.

Была в институте специальная комната, отведенная для собраний и лекций. Сюда раз навсегда было внесено много стульев, а здесь их нанизали на жёрди по восемь штук и сколотили навечно. (Такую меру комендант вынужден был применить, чтобы стулья не растаскивали по всему объекту.) Стульные ряды были стеснены малыми размерами комнаты, так что колени сидевших сзади больно упирались в жердь переднего ряда. Поэтому приходившие раньше старались отодвинуть свой ряд назад — так, чтобы ногам было привольнее. Между молодёжью, севшей в разных рядах, это вызывало сопротивление, шутки, смех. Стараниями Степанова и разосланных им гонцов к четверти седьмого все ряды от заднего к переднему, наконец, заполнились, и только в третьем и втором рядах, стиснутых вплотную с первым, никто сесть уже не мог.

— Товарищи! товарищи! Это — позорный факт! — свинцово поблескивал очками Степанов, понукая отставших. — Вы заставляете ждать лектора обкома партии! (Лектор, чтобы не уронить себя, ожидал в кабинете Степанова.)

Предпоследним вошёл в залец Ройтман. Не найдя другого места — всё сплошь было занято зелёными кителями и кое-где женские платья пестрели меж них — он прошёл в первый ряд и сел у левого края, коленями почти касаясь стола президиума. Затем Степанов сходил за Яконовым — хотя тот и не был членом партии, но на столь ответственной лекции ему надлежало, да и интересно было присутствовать. Яконов протрусил у стены, как-то согбенно неся своё слишком дородное тело мимо людей, которые в этот миг не являлись его подчинёнными, а — партийно-комсомольским коллективом. Не найдя свободного места позади, Яконов прошёл в первый ряд и сел там с правого края, как бы и тут против Ройтмана.

После этого Степанов ввёл лектора. Лектор был крупный человек с широкими плечами, большой головой и буйным раскинутым кустом тёмных волос, тронутых пепельной проседью. Держался он крайне непринуждённо, как будто зашёл в эту комнату просто выпить кружку пива со Степановым. На нём был светлый бостоновый костюм, кое-где примятый, носимый с чрезвычайной простотой, и пёстрый

галстук, завязанный узлом в кулак. Никаких тетрадок или шпаргалок в руках у него не было, и к делу он приступил прямо:

— Товарищи! Каждого из нас интересует, что представляет собой окружающий нас мир.

Массивно переклонясь к слушателям через стол президиума, накрытый красной плакатной бязью, он смолк — и все прислушались. Было такое ощущение, что он сейчас в двух словах объяснит, что такое окружающий нас мир. Но лектор резко откинулся, будто ему дали понюхать нашатырного спирту, и негодующе воскликнул:

— Многие философы пытались ответить на этот вопрос! Но никто до Маркса не мог сделать этого! Потому что метафизика не признаёт качественных изменений! Конечно, нелегко, — он двумя пальцами выковырнул из кармана золотые часы, — осветить вам всё за полтора часа, но, — он спрятал часы, — я постараюсь.

Степанов, определивший себе место у торца лекторского стола, лицом к публике, перебил:

— Можно и больше. Мы очень рады.

У нескольких девушек упало сердце (они спешили в этот день в кино).

Но лектор широким благородным разведением рук показал, что есть начальство и над ним.

— Регламент! — осадил он Степанова. — Что же помогло Марксу и Энгельсу дать правильную картину природы и общества? Гениально разработанная ими и продолженная Лениным и Сталиным философская система, получившая название диалектического материализма. Первым большим разделом диалектического материализма — это материалистическая диалектика. Я вкратце охарактеризую на её основные положения. Обычно ссылаются на прусского философа Гегеля, будто это он сформулировал основные черты диалектики. Но это в корне и в корне неправильно, товарищи! У Гегеля диалектика стояла на голове, это бесспорно! Маркс и Энгельс поставили её на ноги, взяли из неё рациональное зерно, а идеалистическую шерлуху отбросили! Марксистский диалектический метод — это есть враг! Враг всякого застоя, метафизики и поповщины! А всего насчитываем мы в диалектике четыре черты. Первая черта, это то, что... взаимосвязь! Взаимосвязь, а не скопление изолированных предметов. Природа и общество это — как бы вам сказать поянснее? — это не мебельный магазин, где вот наставлено, наставлено, а связи никакой нет. В природе всё связано, всё связано, — и это вы запоминайте, это вам крепко поможет в ваших научных исследованиях!

Особенно в выгодном положении находились те, кто не посчитался с десятью минутами, пришёл раньше и теперь сидел сзади. Степанов, строго блестевший очками, не достигал туда, в задние ряды. Там гвардейски-статный лейтенант написал записку и передал её

Тоне, татарочке из Акустической, тоже лейтенантке, но в импортной вязаной кофточке алого цвета поверх тёмного платья. Разворачивая на коленях записку, Тоня спряталась за сидящего впереди. Чёрный чубчик её упал и свесился, делая её особенно привлекательной. Прочтя записку, она чуть покраснела и стала спрашивать у соседей карандаш или авторучку.

— ...Ну, и число примеров можно увеличивать... Вторая черта диалектики это то, что всё движется. Всё движется, покоя нет и никогда не было, это факт! И наука должна изучать всё в движении, в развитии — но при этом крепко себе зарубить, что движение не есть в замкнутом кругу, иначе бы не проявилась современная высокая жизнь. А движение идёт по винтовой лестнице, это нет необходимости доказывать, и всё вверх, и вверх, вот так...

Вольным помахиванием руки он показал — как. Лектор не затруднялся ни в выборе слов, ни в телодвижениях. Разбросав лишние стулья президиума, он освободил себе около стола метра три квадратных и похаживал по ним, потаптывался, раскачивался на спинке стула, хрупкого под его дюжим туловищем. Слова «бесспорно» и «нет необходимости доказывать» он произносил особенно зычно, категорично, как бы давя мятеж с капитанского мостика — и произносил их не в случайных местах, а там, где особенно нужно было подкрепить и без того стройные доказательства.

— Третья черта диалектики — это переход количества в качество. Эта очень важная черта помогает нам понять, что такое развитие. Не думайте, что развитие — это просто себе увеличение. Здесь прежде всего следует указать на Дарвина. Энгельс разъясняет нам эту черту на примерах из науки. Возьмите вы воду, вот хотя бы воду в этом графине, — ей восемнадцать градусов, и она простая вода. Пожалуйста, можете её нагревать. Нагрейте её до тридцати градусов — и она всё равно будет вода. И нагрейте её до восемьдесят градусов — и всё равно будет вода. А ну-ка догреть до сто? Что тогда будет? П а р!!

Этот крик торжествующе вырвался у лектора, иные даже вздрогнули.

— П а р! А можно сделать и лёд! Что? Это и есть переход количества в качество! Читайте «Диалектику природы» Энгельса, она полна и другими поучительными примерами, которые осветят вам ваши повседневные трудности. А вот теперь, говорят, наша советская наука добилась, что и воздух можно сжиживать. Почему-то сто лет назад до этого не додумались! Потому что не знали закона перехода количества в качество! И так во всём, товарищи! Приведу примеры из развития общества...

До всякого лектора и без всякого лектора Адам Ройтман прекрасно знал, что диамат нужен учёному как воздух, что без диамата нельзя разобраться в явлениях жизни. Но, сидя на собраниях, семи-

нарах и лекциях, подобно сегодняшней, Ройтман почти физически чувствовал, как мозги его, медленно поворачиваясь, косо ввинчиваются. При всей своей мыслительной сопротивляемости он поддавался этому затягивающему кружению, как изнемогший человек — сну. Он хотел бы встряхнуться. Он мог бы привести изумительные примеры из строения атома, из волновой механики. Но и он не посмел бы взять на себя перебивать или поучать товарища из обкома. Он только укоризненно смотрел миндалевидными глазами сквозь очки-анастигматы на лектора, размахивающего руками неподалеку от его головы.

Голос лектора рокотал:

— Итак, переход количества в качество может произойти взрывом, а может э-во-лю-ционно, это факт! Взрыв при развитии обязателен не везде. Без всяких взрывов развивается и будет развиваться наше социалистическое общество, это бесспорно! Но социал-ренегаты, социал-предатели, правые социалисты всех мастей бесстыдно обманывают народ, говоря, что от капитализма к социализму тоже можно перейти без взрыва. Как это без взрыва?! Значит, без революции? Без ломки государственной машины? Парламентским путём? Пусть они рассказывают эти сказки маленьким детям, но не взрослым марксистам! Ленин учил нас и учит нас гениальный теоретик товарищ Сталин, что буржуазия никогда без вооружённой борьбы от власти не откажется!!

Кудлы лектора сотряхались, когда он вскидывал голову. Лектор высморкался в большой платок с голубой окаёмкой и посмотрел на часы, но не умоляющим взглядом неукладывающегося докладчика, а искоса, с недоумением, после чего приложил их к уху.

— Четвёртой чертой диалектики, — вскрикнул он так, что опять некоторые вздрогнули, — это то, что... противоречия! Противоположности! Отживающее и новое, отрицательное и положительное! Это — везде, товарищи, это — не секрет! Можно дать научные примеры, пожалуйста — электричество! Если потереть стекло о шёлк — это будет плюс, а если смолу о мех — это будет минус! Но только их единство, их синтез даёт энергию нашей промышленности. И за примерами не надо далеко ходить, товарищи, это всюду и везде: тепло — это плюс, а холод — это минус, и в общественной жизни мы видим тот же непримиримый комплект между положительным и отрицательным. Как видите, диамат впитал в себя всё лучшее, достигнутое отраслью науки. Вскрытые основоположниками марксизма внутренние противоречия развития являлись не только в мёртвой природе, но и основной движущей силой всех формаций от первобытно-общинного строя и до империализма, загнивающего на наших глазах! И только в нашем бесклассовом обществе движущей силой бесспорно являются не внутренние противоречия, а критика и самокритика, невзирая на лицо.

Лектор зевнул и не успел вовремя закрыть рот. Он вдруг помрачнел, на лице его появились какие-то вертикальные складки, нижняя челюсть дрогнула в подавливаемой конвульсии. Совсем новым тоном большой усталости он ещё пытался говорить стоя:

— Оппозиционеры и капитулянты бухаринского толка нагло клеветали, что у нас есть классовые противоречия, но...

Усталость свалила его, он поморгал, опустился на стул и закончил фразу совсем вяло, тихо:

— ...но наш ЦК дал отпор сокрушительный.

И всю середину лекции он прочёл так. Было похоже, что или внутренний недуг внезапно обессилил его, или он потерял всякую надежду, что проклятые полтора лекционных часа когда-нибудь кончатся.

Он говорил похоронным голосом, спускаясь и до шёпота, как будто всё складывалось против него и против слушателей. Он как бы пробирался в дебрях и не предвидел выхода:

— Только материя абсолютна, а все законы науки относительны... Только материя абсолютна, а каждый частный вид материи — относителен... Нет нич-чего абсолютного кроме материи, и движение — вечный атрибут его... Движение абсолютно — покой относителен... Абсолютных истин нет, всякая истина — относительна... Понятие красоты — относительно... Понятия добра и зла — относительны...

Слушал ли Степанов лекцию, нет ли, — но весь вид его, вытянувшегося на стуле, поблескивающего на аудиторию, выражал сознание важности проводимого политического мероприятия и сдержанное торжество, что такое большое культурное событие имеет место в марфинских стенах.

Вынужденно слушали лектора Яконов и Ройтман, потому что сидели так близко. Ещё одна девушка из четвёртого ряда в эпонжевом платьи вся подалась вперёд и слушала с лёгким румянцем. У неё появилось тщеславное желание задать лектору какой-нибудь вопрос, но она не могла придумать — какой.

Внимательно смотрел на лектора ещё Клыкачёв, чья узкая длинная голова высовывалась из мундирной густоты сидящих. Но он тоже не слушал: он сам вёл политучёбы и мог прочесть лекцию даже лучше, и знал хорошо, по каким инструктивным материалам сегодняшнее выступление приготовлено. Клыкачёв просто от скуки изучал лектора — сперва прикидывал, сколько тот может получать в месяц, потом попытался определить его возраст и образ жизни. Ему могло быть около сорока, но пепельность, изрезанность лица, налитой багровый нос уводили за пятьдесят или говорили, что он много берёт от жизни, и жизнь ему мстит.

Остальные все откровенно не слушали. Тоня и высокий лейтенант исписывали записками уже четвёртый листок из блокнота, ещё

один лейтенант и Тамара играли в увлекательную игру: он брал её сперва за один палец, потом ещё за один, и так за всю кисть, она хлопала его другой рукой и вырывала кисть. И опять всё шло сначала. Игра захватила их, и только на лицах, видных Степанову, они с хитростью школьников пытались сохранять строгость. Начальник 4-й группы рисовал начальнику 1-й группы (тоже на коленях, пряча от Степанова), какую пристройку он думает делать к своей уже работающей схеме.

Но до всех них хоть обрывками долетал ещё голос лектора, — Клара же Макарыгина в однотонном ярко-синем платьи открыто облокотилась о спинку стула перед собой и спрятала лицо в скрещенные руки. Она сидела глухая и слепая ко всему, что происходило в этой комнате, она бродила в том чёрно-розоватом тумане, который бывает от сжатых придавленных век. Перемесь радости, смятения и тоски не оставляли её со вчерашнего руськиного поцелуя. Всё запуталось неразрешимо. Зачем был в её жизни Эрик? И разве можно было им пренебречь? Как можно было теперь Руську *не ждать*? И как можно было его *ждать*? И как можно было оставаться с ним в одной группе, встречать его взгляд и снова и дальше разговаривать? Перевестись в другую группу? Но не самого ли Ростислава инженер-полковник решил перевести? Он вызвал его два часа назад, и тот до сих пор не вернулся. Кларе было легче, что он не вернулся до политучёбы, и она убежала охотно на лекцию, чтобы отдалить свою встречу с ним. Однако сегодня вечером их объяснение неизбежно. Уходя, он обернулся в дверях и обдал её невыносимым упрёком. Действительно, как это должно казаться подло — вчера обещать ему, а сегодня...

(Она не знала, что никогда уже в жизни им не предстоит встретиться: Руська арестован и отведен в маленький тесный бокс в штабе тюрьмы. А в Вакуумной, в самый этот момент, майор Шикин в присутствии начальника Вакуумной взламывал и обыскивал руськин стол.)

Силы снова прилили к лектору. Он оживился, поднялся на ноги и, размахивая большим кулаком, шутя громил убогую формальную логику, порождение Аристотеля и средневековой схоластики, павшую под напором марксистской диалектики.

Именно Марфина достигали самые свежие американские журналы, и недавно для всей Акустической Рубин перевёл, и кроме Ройтмана уже несколько офицеров читало о новой науке кибернетике. Она вся покоится как раз на битой-перебитой формальной логике: «да» — да, а «нет» — нет, и третьего не дано. И «Двузначная логическая алгебра» Джона Буля вышла в один год с «Коммунистическим манифестом», только никто её не заметил.

— Вторым большим разделом диалектического материализма — это философский материализм, — погромыхивал лектор. — Матери-

ализм вырос в борьбе с реакционной философией идеализма, основателем которой является Платон, а в дальнейшем наиболее типичными представителями — епископ Беркли, Мах, Авенариус, Юшкевич и Валентинов.

Яконов охнул, так что в его сторону повернулись. Тогда он выразил гримасу и взялся за бок. Поделиться тут он мог бы разве с Ройтманом — однако именно с ним-то и не мог. И он сидел с покорно-внимательным лицом. Вот на это он должен был тратить свой последний выпрошенный месяц!..

— Нет необходимости доказывать, что материя есть субстанция всего существующего! — гремел лектор. — Материя неуничтожима, это бесспорно! и это тоже можно научно доказать. Например, сажаем в землю зерно — разве оно исчезло? — нет! оно превратилось в растение, в десяток таких же зёрен. Была вода — от солнца вода испарилась. Так что, вода исчезла? Конечно, нет!! Вода превратилась в облако, в пар! Вот как! Только подлый слуга буржуазии, дипломированный лакей поповщины, физик Оствальд имел наглость заявить, что «материя исчезла». Но это же смешно, кому ни скажи! Гениальный Ленин в своём бессмертном труде «Материализм и эмпириокритицизм», руководствуясь передовым мировоззрением, опроверг Оствальда и загнал его в тупик, что ему деваться некуда!

Яконов подумал: вот таких бы лекторов человек сто загнать бы на эти тесные стулья, да читать им лекцию о формуле Эйнштейна, да держать без обеда до тех пор, пока их тупые ленивые головы воспримут хоть — куда девается в секунду четыре миллиона тонн солнечного вещества!

Но его самого держали без обеда. Ему уже тянуло все жилы. Он крепился простой надеждой — скоро ли отпустят? Все крепились этой надеждой, потому что выехали из дому трамваями, автобусами и электричкой кто в восемь, а кто и в семь часов утра — и не чаяли теперь добраться домой раньше половины десятого.

Но напряжённее их ожидала конца лекции Симочка, хотя она оставалась дежурить, и ей не надо было спешить домой. Боязнь и ожидание поднимались и падали в ней горячими волнами, и ноги отнялись, как от шампанского. Ведь сегодня был тот самый вечер понедельника, который она назначила Глебу. Она не могла допустить, чтоб этот торжественный высокий момент жизни произошёл врасплох, мимоходом — оттого-то позавчера она ещё не чувствовала себя готовой. Но весь день вчера и полдня сегодня она провела как перед великим праздником. Она сидела у портнихи, торопя её окончить новое платье, очень шедшее Симочке. Она сосредоточенно мылась дома, поставив жестяную ванну в московской комнатной тесноте. На ночь она долго завивала волосы, и утром долго развивала их и всё рассматривала себя в зеркало, ища убедиться, что при иных поворотах головы вполне может понравиться.

Она должна была увидеть Нержина в три часа дня, сразу после перерыва, но Глеб, открыто пренебрегая правилами для заключённых (выговорить ему сегодня за это! надо же беречь себя!) с обеда опоздал. Тем временем Симочку надолго послали в другую группу произвести переписку и приёмку приборов и деталей, она вернулась в Акустическую уже перед шестью — и опять не застала Глеба, хотя стол его был завален журналами и папками, и горела лампа. Так она и ушла на лекцию, не повидав его и не подозревая о страшной новости — о том, что вчера, неожиданно, после годичного перерыва он ездил на свидание с женой.

Теперь с горящими щеками, в новом платьи, она сидела на лекции и со страхом следила за стрелками больших электрических часов. В начале девятого они должны были остаться с Глебом одни... Маленькая, легко уместившаяся между стеснёнными рядами, она не была видна из-за соседей, так что стул её издали казался незанятым.

Темп речи лектора заметно ускорился, как в оркестре ускоряется вальс или полька на последних тактах. Все почувствовали это и оживились. Сменяя друг друга и впопыхах чуть смешанные с пенистыми брызгами изо рта, над головами слушателей проносились крылатые мысли:

— Теория становится материальной силой... Три черты материализма... Две особенности производства... Пять типов производственных отношений... Переход к социализму невозможен без диктатуры пролетариата... Скачок в царство свободы... Буржуазные социологи всё это прекрасно понимают... Сила и жизненность марксизма-ленинизма... Товарищ Сталин поднял диалектический материализм на новую, ещё высшую ступень!.. Чего в вопросах теории не успел сделать Ленин — сделал товарищ Сталин!.. Победа в Великой Отечественной войне... Вдохновляющие итоги... Необъятные перспективы... Наш гениально-мудрый... наш великий... наш любимый...

И уже под аплодисменты посмотрел на карманные часы. Было без четверти восемь. От регламента ещё даже остался хвостик.

— Может быть, будут вопросы? — как-то полуугрожающе спросил лектор.

— Да, если можно... — зарделась девушка в эпонжевом платьи из четвёртого ряда. Она поднялась и, волнуясь, что все смотрят на неё и слушают её, спросила:

— Вот вы говорите — буржуазные социологи всё это понимают. И действительно, это всё так ясно, так убедительно... Почему же они пишут в своих книгах наоборот? Значит, они нарочно обманывают людей?

— Потому что им невыгодно говорить иначе! Им за это платят большие деньги! Их покупают на сверхприбыли, выжатые из колоний! Их учение называется прагматизм, в переводе на русский: что

выгодно, то и закономерно. Все они — обманщики, политические потаскухи!

— Все-все? — утончившимся голоском ужаснулась девушка.

— Все до одного!! — уверенно закончил лектор, тряхнув патлатой пепельной головой.

89

Новое коричневое платье Симочки было сшито с пониманием достоинств и недостатков фигуры: верхняя часть его, как бы жакетик, плотно облегал осиную талию, но на груди не был натянут, а собран в неопределённые складки. При переходе же в юбку, чтоб искусственно расширить фигуру, он заканчивался двумя круговыми, вскидными на ходу, воланчиками, одним матовым, а другим блестящим. Невесомо тонкие руки Симочки были в рукавах, от плеча волнисто-свободных. И в воротнике была наивно-милая выдумка: он выкроен был отдельно долгим дорожком той же ткани, и свисающие концы его завязывались на груди бантом, походя на два крыла серебристо-коричневой бабочки.

Эти и другие подробности осматривались и обсуждались подругами Симочки на лестнице, у гардеробной, куда она вышла их проводить после лекции. Стоял гам, толкотня, мужчины наспех влезали в шинели и пальто, закуривали на дорогу, девушки балансировали у стен, надевая ботики.

В этом мире подозрительности могло показаться странным, что на служебное вечернее дежурство Симочка обновляла платье, сшитое к Новому году. Но Симочка объясняла девушкам, что после дежурства едет на именины к дяде, где будут молодые люди.

Подруги очень одобряли платье, говорили, что она «просто хорошенькая» в нём и спрашивали, где куплен этот креп-сатен.

Решимость покинула Симочку, и она медлила идти в лабораторию.

Только без двух минут восемь с колотящимся сердцем, хотя и взбодренная похвалами, она вошла в Акустическую. Заключённые уже сдавали в стальной шкаф секретные материалы. Через середину комнаты, обнажённую после относки вокодера в Семёрку, она увидела стол Нержина.

Его уже не было. (Не мог он подождать?..) Его настольная лампа была погашена, ребристые шторки стола — защёлкнуты, секретные материалы — сданы. Но была одна необычность: центр стола не весь был очищен, как Глеб делал на перерыв, а лежал большой раскрытый американский журнал и раскрытый же словарь. Это могло быть тайным сигналом ей: «скоро приду!»

Заместитель Ройтмана вручил Симочке ключи от секретного

шкафа, от комнаты и печатку (лаборатории опечатывались каждую ночь). Симочка опасалась, не пойдёт ли Ройтман опять к Рубину, и тогда каждую минуту придётся ждать его захода в Акустическую, но нет, и Ройтман был тут же, уже в шинели, шапке, и, натянув кожаные перчатки, торопил заместителя одеваться. Он был невесел.

— Ну, что ж, Серафима Витальевна, командуйте. Всего хорошего, — пожелал он напоследок.

По коридорам и комнатам института разнёсся долгий электрический звонок. Заключённые дружно уходили на ужин. Не улыбаясь, наблюдая за последними уходящими, Симочка прошлась по лаборатории. Когда она не улыбалась, лицо её выглядело очень строгим, особенно из-за долгонького носа с острым хребетком, лишавшего её привлекательности.

Она осталась одна.

Теперь он мог прийти!

Она ходила по лаборатории и ломала пальцы.

Надо же было случиться такой неудаче! — шёлковые занавески, всегда висевшие на окнах, сегодня сняли в стирку. Три окна остались теперь беззащитно-оголённые, и из черноты двора можно подглядывать, притаясь. Правда, комнату вглубь не увидят — Акустическая в бельэтаже. Но невдалеке — забор и прямо против их с Глебом окна — вышка с часовым. Оттуда видно — напролёт.

Или *тогда* потушить весь свет? Дверь будет заперта, всякий подумает — дежурная вышла.

Но если начнут взламывать дверь, подбирать ключи?..

Симочка прошла в акустическую будку. Она сделала это безотчётно, не связывая с часовым, взгляд которого туда не проникал. На пороге этой тесной каморки она прислонилась к толстой полой двери и закрыла глаза. Ей не хотелось сюда даже войти без него. Ей хотелось, чтоб он её сюда втянул, внёс.

Она слышала от подруг, как всё происходит, но представляла смутно, и волнение её ещё увеличивалось, и щёки горели сильней.

То, что в юности надо было пуще всего хранить, уже превратилось в бремя!..

Да! Она бы очень хотела ребёнка и воспитывать его, пока Глеб освободится! Всего только пять годиков!

Она подошла сзади к его вертящемуся гнуткому жёлтому стулу и обняла спинку как живого человека.

Покосилась в окно. В близкой черноте угадывалась вышка, а на ней — чёрный сгусток всего враждебного любви — часовой с винтовкой.

В коридоре послышались шаги Глеба, он ступал тише обычного. Симочка порхнула к своему столу, села, придвинула трёхкаскадный усилитель, положенный на стол боком, с обнажёнными лампами, и

стала его рассматривать, держа маленькую отвёрточку в руке. Удары сердца отдавались в голову.

Нержин прикрыл дверь негромко — чтобы звук не очень разнёсся в безмолвном коридоре. Через опустевший без вокодерских стоек простор он увидел Симочку ещё издали, притаившуюся за своим столом как перепёлочка за большой кочкой.

Он её так прозвал.

Симочка вскинула навстречу Глебу светящийся взгляд — и обмерла: лицо его было смущено, даже сумрачно.

До его входа она уверена была: первое, что он сделает — подойдёт поцеловать, а она его остановит — ведь окна открыты, часовой смотрит.

Но он не кинулся вокруг столов. Он около своего остановился и первый же объяснил:

— Окна открыты, я не подойду, Симочка. Здравствуй! — Опущенными руками он опёрся о стол и, стоя, сверху вниз, смотрел на неё. — Если нам не помешают, нам надо сейчас... переговорить.

Переговорить?

Пе-ре-го-во-рить...

Он отпер свой стол. Одна за другой, звонко стукнув, шторки упали. Не глядя на Симочку, деловыми движениями Нержин доставал и развёртывал разные книги, журналы, папки — так хорошо известную ей маскировку.

Симочка замерла с отвёрткой в руке и неотрывно смотрела на его безглазое лицо. Её мысль была, что субботний вызов Глеба к Яконову давал теперь злые плоды, его теснят или должны услать скоро. Но почему ж он прежде не подойдёт? не поцелует?..

— Случилось? Что случилось? — с переломом голоса спросила она и трудно глотнула.

Он сел. Попирая локтями раскрытые журналы, обхватил растягом пальцев справа и слева голову и прямым взглядом посмотрел на девушку. Но прямоты не было в том взгляде.

Стояла глухая тишина. Ни звука не доносилось. Их разделяло два стола — два стола, озарённые четырьмя верхними, двумя настольными лампами и простреливаемые взглядом часового с вышки.

И этот взгляд часового был как завеса колючей проволоки, медленно опускавшаяся между ними.

Глеб сказал:

— Симочка! Я считал бы себя негодяем, если бы сегодня... если бы... не исповедался тебе...

— ?

— Я как-то... легко с тобой поступал, не задумывался...

— ??

— А вчера... я виделся с женой... Свидание у нас было.

Симочка осела, стала ещё меньше. Крыльца её воротникового банта бессильно опали на алюминиевую панель прибора. И звякнула отвёртка о стол.

— Отчего ж вы... в субботу... не сказали? — подсеченным голосом едва протащила она.

— Да что ты, Симочка! — ужаснулся Глеб. — Неужели б я скрыл от тебя?

(А почему бы и нет?..)

— Я узнал вчера утром. Это неожиданно получилось... Мы целый год не виделись, ты знаешь... И вот увиделись, и...

Его голос изнывал. Он понимал, каково ей слушать, но и говорить было тоже... Тут столько оттенков, которые ей не нужны, и не передашь. Да они самому себе непонятны. Как мечталось об этом вечере, об этом часе! Он в субботу сгорал, вертясь в постели! И вот пришёл тот час, и препятствий нет! — занавески ничто, комната — их, оба — здесь, всё есть! — всё, кроме...

Душа вынута. Осталась на свидании. Душа — как воздушный змей: вырвалась, полощется где-то, а ниточка — у жены.

Но, кажется — душа тут совсем не нужна?!

Странно: нужна.

Всё это не надо было говорить Симочке, но что-то же надо? И по обязанности что-то говорить Глеб говорил, подыскивал околичные приличные объяснения:

— Ты знаешь... она ведь меня ждёт в разлуке — пять лет тюрьмы да сколько? — войну. Другие не ждут. И потом она в лагере меня поддерживала... подкармливала... Ты хотела ждать меня, но это не... не... Я не вынес бы... причинить ей...

Той! — а этой? Глеб мог бы остановиться!.. Тихий выстрел хрипловатым голосом сразу же попал в цель. Перепёлочка уже была убита. Она вся обмякла и ткнулась головой в густой строй радиоламп и конденсаторов трёхкаскадного усилителя.

Всхлипывания были тихие как дыхание.

— Симочка, не плачь! Не плачь, не надо! — спохватился Глеб.

Но — через два стола, не переходя к ней ближе.

А она — почти беззвучно плакала, открыв ему прямой пробор разделённых волос.

Именно от её беззащитности простёгивало Глеба раскаяние.

— Перепёлочка! — бормотал он, переклоняясь вперёд. — Ну, не плачь. Ну, я прошу тебя... Я виноват...

Больно, когда плачет эта, — а та? Совсем непереносимо!

— Ну, я сам не понимаю, что это за чувство...

Ничего бы, кажется, не стоило хоть подойти к ней, привлечь, поцеловать — но даже это было невозможно, так чисты были и губы и руки после вчерашнего свидания.

Спасительно, что сняли с окон занавески.

И так, не вскакивая и не обегая столов, он со своего места повторял жалкие просьбы — не плакать.

А она плакала.

— Перепёлочка, перестань!.. Ну ещё, может быть, как-нибудь... Ну, дай времени немножко пройти...

Она подняла голову и в перерыве слёз странно окликнула его.

Он не понял её выражения, потупился в словарь.

Её голова устала держаться и опять опустилась на усилитель.

Да было бы дико, при чём тут свидание?.. При чём тут все женщины, ходящие по воле, если здесь — тюрьма? Сегодня — нельзя, но пройдёт сколько-то дней, душа опустится на своё место, и наверно всё станет — можно.

Да как же иначе? Да просто на смех поднимут, если кому рассказать. Надо же очнуться, ощутить лагерную шкуру! Кто заставляет потом на ней жениться? Девушка ждёт, иди!

Да больше того, только об этом не вслух: разве ты выбрал *эту*? Ты выбрал это *место*, через два стола, а там кто бы ни оказалась — иди!

Но сегодня — невозможно...

Глеб отвернулся, перегнулся на подоконник. Лбом и носом приплюснулся к стеклу, посмотрел в сторону часового. Глазам, ослеплённым от близких ламп, не было видно глубины вспышки, но вдали там и сям отдельные огни расплывались в неясные звёзды, а за ними и выше — обнимало треть неба отражённое белесоватое свечение близкой столицы.

Под окном же видно было, что на дворе ведёт, тает.

Симочка опять подняла лицо.

Глеб с готовностью повернулся к ней.

От глаз её шли по щекам блестящие мокрые дорожки, которых она не вытирала. Лученьем глаз, и освещением, и изменчивостью женских лиц она именно сейчас стала почти привлекательной.

Может быть всё-таки... ?

Симочка упорно смотрела на Глеба.

Но не говорила ни слова.

Неловко. Что-то надо же говорить. Он сказал:

— Она и сейчас, по сути, мне жизнь отдаёт. Кто б это мог? Ты уверена, что ты бы сумела?

Слёзы так и стояли невысохшими на её нечувствующих щеках.

— Она с вами не разводилась? — тихо раздельно спросила Симочка.

Ишь, как почувствовала главное! В самую точку. Но признаваться ей во вчерашней новости не хотелось. Ведь это сложней гораздо.

— Нет.

Слишком точный вопрос. Если бы не такой точный, если бы не такой требовательный, если бы края размыты, если бы дальше ничто

не называть, если бы смотреть, смотреть, смотреть — может быть, приподымешься, может быть, пойдёшь к выключателю... Но слишком точные вопросы взывают к логическим ответам.

— Она — красивая?

— Да. Для меня — да, — ощитился Глеб.

Симочка шумно вздохнула. Кивнула сама себе, зеркальным точкам на зеркальных поверхностях радиоламп.

— Так не будет она вас ждать.

Никаких преимуществ законной жены Симочка не могла признать за этой незримой женщиной. Когда-то жила она немного с Глебом, но это было восемь лет назад. С тех пор Глеб воевал, сидел в тюрьме, а она, если правда красива, и молода, и без ребёнка — неужели монашествовала? И ведь ни на этом свидании, ни через год, ни через два он не мог принадлежать ей, а Симочке — мог. Симочка уже сегодня могла стать его женой!.. Эта женщина, оказавшаяся не призрак, не имя пустое, — зачем она добивалась тюремного свидания? Из какой ненасытной жадности она протягивала руку к человеку, который никогда не будет ей принадлежать?!

— Не будет она вас ждать! — как заводная повторяла Симочка.

Но чем упорней и чем точней она попадала, тем обидней.

— Она уже прождала восемь! — возразил Глеб. Анализирующий ум тут же, впрочем, исправил: — Конечно, к концу будет трудней.

— Не будет она вас ждать! — ещё повторила Симочка, шёпотом.

И кистью руки сняла высыхающие слёзы.

Нержин пожал плечами. Честно говоря, — конечно. За это время разойдутся характеры, разойдётся жизненный опыт. Он сам всё время внушал жене: разводиться. Но зачем так упорно, с таким правом давила в эту точку Симочка?

— Что ж, пусть — не дождётся. Пусть только не она меня упрекнёт. — Тут открывалась возможность порассуждать. — Симочка, я не считаю, что я хороший человек. Даже — я очень плохой, если вспомнить, чтó я делал на фронте в Германии, как и все мы делали. И теперь вот с тобой... Но поверь, что этого всего я набрался в *вольном* мире — поверхностном, благополучном. Поддался внушению, когда плохое изображается дозволенным. Но чем ниже я опускался т у д а, тем... странно... Не будет меня ждать? — пусть не ждёт. Лишь бы меня не грызло...

Он напал на одну из своих любимых мыслей. Он мог бы ещё долго об этом — особенно потому, что нечего было другого.

А Симочка почти и не слышала этой проповеди. Он говорил, кажется, всё о себе. Но как быть ей? Она с ужасом представляла, как придёт домой, сквозь зубы что-то процедит надоедливой матери, кинется в постель. В постель, в которую месяцы ложилась с мыслями о нём. Какой унизительный стыд! — как она приготовлялась к этому вечеру! Как натиралась, душилась!..

Но если один час стеснённого тюремного свидания перевесил их многомесячное соседство здесь — что можно было поделать?

Разговор, конечно, кончился. Всё сказано было без подготовки, без смягчения. Надо было уйти в будку и там ещё поплакать и привести себя в порядок.

Но у неё не было сил ни прогнать его, ни уйти самой. Ведь это последний раз между ними тянулась ещё какая-то паутинка!

А Глеб смолк, увидев, что она его не слушает, что его высокие выводы ей совсем не нужны.

Закурил! — вот находка. И опять глядел в окно на разрозненные желтоватые огни.

Сидели молча.

Уже не было её так жалко. Что для неё это? — вся жизнь? Эпизод, поверхностное. Пройдёт.

Найдёт...

Жена — не то.

Они сидели и молчали, и молчали — и это уже становилось в тягость. Глеб много лет жил среди мужчин, где объяснения происходили коротко. Если всё сказано, всё исчерпано — зачем же сидеть и молчать? Бессмысленная женская вязкость.

Не шевеля головой, чтоб Симочка не догадалась, он одними глазами, исподлобья, посмотрел на стенные электрические часы. Было ещё двадцать минут до поверки, двадцать минут вечерней прогулки! Но оскорбительно было бы встать и уйти. Приходилось досиживать.

Кто сегодня заступит вечером? Кажется, Шустерман. А завтра утром — младшина.

Симочка, сгорбленная, сидела над усилителем, для чего-то вынимая пошатыванием лампы из панельных гнёзд и вставляя их опять.

Она и прежде ничего в этом усилителе не понимала. И окончательно не понимала теперь.

Однако деятельный рассудок Нержина требовал какого-то занятия, движения вперёд. На узкой полоске бумаги, поджатой под чернильницу, где он с утра ежедневно записывал программы радиопередач, он прочел:

20.30 — Рс. п и рм (Обх)

Это значило: «Русские песни и романсы в исполнении Обуховой».

Такая редкость! И в тихий час перерыва. Концерт уже идёт. Но удобно ли включить?

На подоконнике, лишь руку протянуть, стоял приёмничек с фиксированной настройкой на три московских программы, подарок Ва-

лентули. Нержин покосился на неподвижную Симочку и воровским движением включил на самую малую громкость.

И только-только разгорелись лампы, как проступил аккомпанемент струнный и вслед за ним на всю тихую комнату — низкий, глуховато-страстный, ни на чей не похожий голос Обуховой.

Симочка вздрогнула. Посмотрела на приёмник. Потом на Глеба.

Обухова пела очень близкое к ним, даже слишком больно близкое:

Нет, не тебя так пылко я люблю...

Надо же, как неудачно! Глеб шарил сбок себя, чтоб незаметно выключить.

Симочка опустилась на усилитель, руки ободком, и снова заплакала, заплакала.

Что даже горьких слов своих у него не хватило на их короткие общие минуты.

— Прости меня! — забрало Глеба. — Прости меня! Прости меня!!

Он так и не нащупал выключить. Тёплым толчком его кинуло — он обошёл столы и, уже пренебрегая часовым, взял её за голову, поцеловал волосы у лба.

Симочка плакала без всхлипываний, без вздрагиваний, обильно, освобождённо.

90

С мыслями расстроенными, поражённый ещё известием об аресте Руськи (*параша* об этом возникла два часа назад, после взлома его стола Шикиным, подтвердилась же на вечерней поверке отсутствием Руськи, как бы не замечаемым дежурными), Нержин едва не забыл об условленной встрече с Герасимовичем.

Режим неуклонимо привёл его через пятнадцать минут снова к тем же двум столам, к тем развёрнутым журналам и опрокинутому усилителю, ещё закапанному симочкиными слезами. И теперь казнены были Глеб и Симочка два часа сидеть друг против друга (и завтра, и послезавтра, и каждый день, и целые дни) и прятать глаза в бумаги, избегая встретиться.

Но на больших электрических часах перепрыгнула минутная стрелка, подходя к четверти десятого — и Нержин вспомнил. Не очень было сейчас настроение толковать о разумном обществе — а может и хорошо как раз. Он запер левую стойку стола, где хранились его главные записи, и, ничего не свёртывая и не гася настольной лампы, с папиросой в зубах вышел в коридор. Неторопливой развал-

кой прошёл до остеклённой двери, ведущей на заднюю лестницу, толкнул её. Как ожидалось, она была незаперта.

Нержин лениво оглянулся. По всей длине коридора не было ни человека. Тогда резким движением он перешагнул порог, с деревянного пола на цементный, тем уйдя со стрелы коридора и, придерживая, прикрыл за собою дверь без шума. И стал подниматься по лестнице в густеющую темноту, чуть попыхивая и посвечивая себе папиросой.

Окно Железной Маски не светилось. Сквозь одно из наружных на верхнюю площадку втекла полоса слабого мреющего света.

Дважды зацепясь о хлам, сложенный на лестнице, Нержин на верхних ступеньках приглушенно окликнул:

— Тут есть кто?

— Кто это? — отозвался из темноты голос тоже приглушенный, то ли Герасимовича, то ли нет.

— Да это — я, — растянул Нержин, чтобы можно было угадать его, и посильнее пыхнул папироской, освещая себя.

Герасимович зажёг острый лучик маленького карманного фонарика, указал им на тот же самый чурбак, на котором Нержин вчера днём отсиживался после свидания, и погасил. Сам он примостился на таком же втором.

На всех стенах таились, густились невидимые картины крепостного художника.

— Вот видите, какие мы ещё телята в конспирации, даже просидев так долго в тюрьме, — сказал Герасимович. — Мы не предусмотрели простого: входящий ничем не компрометирован, а тот, кто ждал в темноте, не может окликать. Надо было придумать условную фразу при подъёме на лестницу.

— Да-а, — усаживался Нержин. — Каждый из нас должен быть и жнец, и швец, и в дуду игрец. Успевать работать для хлеба, и строить душу, и ещё уметь бороться с сытым аппаратом ГБ — а сколько их? миллиона два? Надо прожить сколько жизней в одной! —мудрено ли, что мы не справляемся?.. Как вы думаете, а Мамурин не может лежать на кровати в темноте? А то мы с равным успехом можем беседовать в кабинете Шикина.

— Пред тем, как идти сюда, я удостоверился: он в Семёрке. Если вернётся — мы его обнаружим первые. Итак, перехожу к сути.

Он это говорил делово, но была в его голосе усталость и отвлечённость.

— Собственно, я собирался просить вас отложить наш разговор... Но дело в том, что я на днях отсюда уеду.

— Так точно знаете?

— Да.

— Вообще, я тоже уеду, ну не так быстро. Не угодил...

— Так если бы знать, что мы с вами окажемся на одной пере-

сылке — поговорили бы там, уж там-то время будет. Но тюремная история учит нас ни одного разговора не откладывать.

— Да. Я тоже так вывел.

— Итак, вы сомневаетесь в том, что можно разумно построить общество?

— Очень сомневаюсь. До полного неверия.

— А между тем, это совсем несложно. Только строить его — дело элиты, а не ослиного скопа. Интеллектуальной, технической элиты. И общество надо строить не «демократическое», не «социалистическое», это всё признаки не из того ряда. Общество надо строить интеллектуальное. Оно обязательно и будет разумным.

— Ну во-от, — разочарованно потянул Нержин. — Вот вы и накидали. Тремя фразами накидали — за три вечера не разобраться. Во-первых, интеллектуальное — чем отличается от рационального? А его мы уже знаем, нам французские рационалисты уже одну великую революцию сделали, избавьте.

— То были — болтуны, а не рационалисты. Интеллектуалы — ещё своей революции не делали.

— И не сделают. Они — головастики... Интеллектуальное общество — это у вас какое? Это, очевидно, внеэтическое и внерелигиозное?

— Не обязательно. Это можно предусмотреть.

— Предусмотреть! Но вот вы же не предусматриваете. Интеллектуальное общество — как можно себе представить? Инженеры без священников. Всё очень хорошо функционирует, разумнейшее хозяйство, каждый у правильного дела — и быстрое накопление благ. Но этого мало, поймите! Цели общества не должны быть материальны!

— Это — уже поздняя поправка. А пока что для большинства стран мира...

— О *пока что* я и разговаривать не хочу! А *потом* поздно будет! Вы же мне говорите о разумном устройстве!.. Дальше. «Не социалистическое»— это мне наплевать, форма собственности имеет значение десятое, и неизвестно, какая лучше. Но вот «не демократическое» — это меня пугает. Это — что такое? Почему?

Из густой тьмы Герасимович отвечал точными нужными словами, не вставляя сорных, как пишутся хорошие книги, как бывает, когда обдумано прежде, чем сказано.

— Мы изголодались по свободе, и нам кажется: нужна безграничная свобода. А свобода нужна ограниченная, иначе не будет слаженного общества. Только не в тех отношениях ограниченная, как зажимают нас. И — честно предупредить заранее, не обманывать. Нам демократия кажется солнцем незаходящим. А что такое демократия? — угождение грубому большинству. Угождение большинству означает: равнение на посредственность, равнение по низшему уров-

нию, отсечение самых тонких высоких стеблей. Сто или тысяча остолопов своим голосованием указывают путь светлой голове.

— Хм-м, — недоуменно мычал Нержин. — Это для меня ново... Это я — не понимаю... не знаю... Думать надо... Я привык — демократия... А что же вместо демократии?

— *Справедливое неравенство*! Неравенство, основанное на истинных дарованиях, природных и развитых. Хотите — авторитарное государство, хотите — власть духовной элиты. Власть самоотверженных, совершенно бескорыстных и светоносных людей.

— Батюшки! Да это в идеале бы — пожалуйста. Но как эта элита отберётся? И, главное, как остальных убедить, что это — та самая элита? Ведь ум на лбу не написан, честность огнём не светится... Это нам и про социализм обещали, что только в ангельских одеяниях будут руководить, а — какие хари вылезли?.. Тут мно-ого вопросов... А — с партиями как? Вернее: как бы совсем б е з партий — и старого типа и, упаси Господь, Нового Типа? Человечество ждёт пророка, кто б научил, как вообще без партий жить! Всякая партийность — тоже ведь строжка под большинство, под дисциплину, говори, что не думаешь. Всякая партия корёжит и личность и справедливость. Лидер оппозиции критикует правительство не потому, что оно действительно ошиблось, а потому что — зачем тогда оппозиция?

— Ну вот, вы сами идёте от демократии к моей системе.

— Ещё не иду! Это — немножко... Насчёт авторитарности? Конечно, нужен авторитет в государстве, но какой? Этический! Не власть на штыках, а чтоб — любили и уважали. Чтоб сказал: соотечественники, не надо, это дурно! — и все бы сразу прониклись: верно ведь, плохо! отвергнем! не будет! Где вы такое возьмёте?.. А то говорится «авторитарность», а вылупляется — тоталитарность. По мне бы, так что-нибудь швейцарское, помните у Герцена? Тем сильнее власть, чем ниже: самая большая — сельский сход, самый бесправный человек в государстве — президент... Ну, да это смеюсь... Вообще не рано ли мы с вами занялись? Разумное устройство! Разумней бы толковать — как из безразумного выбраться? Мы и этого не умеем, хоть и ближе.

— Это и есть главный предмет нашей беседы, — раздался спокойный голос из темноты. И так просто, будто говорилось о замене перегоревшей радиолампы в схеме: — Я думаю, что нам, русским техническим интеллигентам, пришло время сменить в России образ правления.

Нержин вздрогнул. Впрочем, не от недоверия: он ещё по наружности чувствовал к Герасимовичу родственность, хотя разговориться им не приходилось до сих пор.

Тихий ровный голос из темноты говорил сдержанно и чуть торжественно, от чего Нержин ощутил перебеги озноба вдоль хребта.

— Увы, самопроизвольная революция в нашей стране невозмож-

на. Даже в прежней России, где была почти невозбранная свобода разлагать народ, понадобилось три года раскачивать войной — да какой! А у нас анекдот за чайным столом стоит головы, какая ж революция?

— Только не «увы»! — откликнулся Нержин. — Ну её к чёрту, революцию: элиту же вашу первую и перережут. Всё образованное и прекрасное выбьют, всё доброе разорят.

— Хорошо, не «увы». Но от этого многие из нас стали полагать надежды на помощь извне. Мне кажется это глубокой и вредной ошибкой. В «Интернационале» не так глупо сказано: «Никто не даст нам избавленья! добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой!» Надо понять, что чем состоятельней и привольней живётся на Западе, тем меньше западному человеку хочется воевать за тех дураков, которые дали сесть себе на шею. И они правы, они не открывали своих ворот бандитам. Мы заслужили свой режим и своих вождей, нам и расхлёбывать.

— Дождутся и они.

— Конечно, дождутся. В благополучии есть губящая сила. Чтобы продлить его на год, на день — человек жертвует не только всем чужим, но всем святым, но даже простым благоразумием. Так они вскормили Гитлера, так они вскормили Сталина, отдавали им по пол-Европы, теперь — Китай. Охотно отдадут Турцию, если этим хоть на неделю отсрочат всеобщую мобилизацию у себя. Они — конечно погибнут. Но мы — раньше.

— Раньше.

— В том беда, что надежда на американцев освобождает нашу совесть и расслабляет нашу волю: мы получаем право не бороться, подчиняться, жить по течению и постепенно вырождаться. Я не согласен, будто наш народ с годами в чём-то там прозревает, что-то в нём назревает... Говорят: целый народ нельзя подавлять без конца. Ложь! Можно! Мы же видим, как наш народ опустошился, одичал, и снизошло на него равнодушие уже не только к судьбам страны, уже не только к судьбе соседа, но даже к собственной судьбе и судьбе детей. Равнодушие, последняя спасительная реакция организма, стала нашей определяющей чертой. Оттого и популярность водки — невиданная даже по русским масштабам. Это — страшное равнодушие, когда человек видит свою жизнь не надколотой, не с отломанным уголком, а так безнадёжно раздробленной, так вдоль и поперёк изгаженной, что только ради алкогольного забвения ещё стоит оставаться жить. Вот если бы водку запретили — тотчас бы у нас вспыхнула революция. Но беря сорок четыре рубля за литр, обходящийся десять копеек, коммунистический Шейлок не соблазнится сухим законом.

Нержин не отзывался и не шевелился. Герасимовичу было чуть видимо его лицо в слабом неясном отсвете от фонарей зоны и потом,

наверно, от потолка. Совсем не зная этого человека, решился Илларион выговорить ему такое, чего и друзья закадычные шёпотом на ухо не осмеливались в этой стране.

— Испортить народ — довольно было тридцати лет. Исправить его — удастся ли за триста? Поэтому надо спешить. Ввиду несбыточности всенародной революции и вредности надежд на помощь извне, выход остаётся один: обыкновеннейший дворцовый переворот. Как говорил Ленин: дайте нам организацию революционеров — и мы перевернём Россию! Они сбили организацию — и перевернули Россию!

— О, не дай Бог!

— Я думаю, нет затруднений создать подобную организацию при нашем арестантском знании людей и умении со взгляда отметать предателей — вот как мы сейчас друг другу доверяем, с первого разговора. Нужно всего от трёх до пяти тысяч отважных, инициативных и умеющих владеть оружием людей, плюс — кому-нибудь из технических интеллигентов...

— Которые атомную бомбу делают?

— ...установить связь с военными верхами...

— То есть, со шкурами барабанными!

— ...чтоб обеспечить их благожелательный нейтралитет. Да и убрать-то надо только: Сталина, Молотова, Берию, ещё нескольких человек. И тут же по радио объявить, что вся высшая, средняя и низшая прослойка остаётся на местах.

— Остаётся?! И это — ваша элита?..

— П о к а! Пока. В этом особенность тоталитарных стран: трудно в них переворот совершить, но управлять после переворота ничего не стоит. Макиавелли говорил, что, согнав султана, можно завтра во всех мечетях славить Христа.

— Ой, не прошибитесь! Ещё неизвестно, кто кого ведёт: султан ли — их, или они — его, только сами не сознают. И потом: этот нейтралитет генерал-кабанов, которые целые дивизии толпами гнали на минные поля, чтоб только самих себя сберечь от штрафняка? Да они в клочья разорвут всякого за свой свинарник!.. И потом же — Сталин от вас уйдёт подземным ходом!.. И потом ваших инициативных пять тысяч, если не возьмут сексотами, так — пулемётами, из секретов... И потом, — волновался Нержин, — пяти тысяч таких, как вы — в России н е т! И потом — только в тюрьме, а не на семейной *воле*, мужчина так свободен в мыслях, не связан в поступках и готов к жертвам! — а из тюрьмы-то как раз ничего и не сделаешь!.. Вы хотели, чтоб я искал недочётов в вашем проекте? Да он из одних недочётов и состоит!! Это — урок нашему физико-математическому надмению: что общественная деятельность — тоже специальность, да какая! Бесселевой функцией её не опишешь! Но даже не в этом! даже не в этом! — он уже слишком громко говорил для чёрной

тихой лестницы. — Вы имели несчастье искать советчика во мне! — а я вообще не верю, что на Земле можно устроить что-нибудь доброе и прочное. Как же я возьмусь советовать, если я сам не выдеру ног из сомнений?

С ледяною ровностью Герасимович напомнил:

— Перед самым тем, как был изобретен спектральный анализ, Огюст Конт утверждал, что человечество никогда не узнает химического состава звёзд. И тут же — узнали! Когда вы на прогулке шагаете, развевая фронтовой шинелью — вы кажетесь другим.

Нержин запнулся. Он вспомнил вчерашнее спиридоново «волкодав прав, а людоед нет» и как Спиридон просил у самолёта атомной бомбы на себя. Эта простота могла захватно овладеть сердцем, но Нержин отбивался, сколько мог:

— Да, я иногда увлекаюсь. Но ваш проект слишком серьёзен, чтобы разрешить высказаться сердцу. А вы не помните той франсовской старухи в Сиракузах? — она молилась, чтобы боги послали жизни ненавистному тирану острова, ибо долгий опыт научил её, что всякий последующий тиран бывает жесточе предыдущего? Да, мерзок наш режим, но откуда вы уверены, что у *вас* получится лучше? А вдруг — хуже? Оттого, что вы хорошо хотите? А может и до вас хотели хорошо? Сеяли рожь, а выросла лебеда!.. Да чего там наша революция! Вы оглядитесь на... двадцать семь веков! На все эти виражи бессмысленной дороги — от того холма, где волчица кормила близнецов, от той долины олив, где чудесный мечтатель проезжал на ослике — и до наших захватывающих высот, до наших угрюмых ущелий, где только гусеницы самоходных пушек скрежещут, до наших перевалов обледенелых, где через лагерные бушлаты просквавживает семидесятиградусный ветер Оймякона! — я не вижу, зачем мы карабкались? зачем мы сталкивали друг друга в пропасти? Сотни лет поэты и пророки напевали нам о сияющих вершинах Будущего! — фанатики! они забыли, что на вершинах ревут ураганы, скудна растительность, нет воды, что с вершин так легко сломать себе голову? Вот здесь, посветите, есть такой Замок святого Грааля...

— Я видел.

— Там ещё будто всадник доскакал и узрел — ерунда! Никто не доскачет, никто не узрит! И меня тоже отпустите в скромную маленькую долинку — с травой, с водой.

— На-зад? — раздельно, без выражения отчеканил Герасимович.

— Да если б я верил, что у человеческой истории существует перед и зад! Но у этого спрута нет ни зада, ни переда. Для меня нет слова, более опустошённого от смысла, чем «прогресс». Илларион Палыч, какой прогресс? От чего? И к чему? За двадцать семь столетий стали люди лучше? добрей? или хотя бы счастливей? Нет, хуже, злей и несчастней! И всё это достигнуто только прекрасными идеями!

— Нет прогресса? нет прогресса? — тоже переступая осторожность, заспорил Герасимович омоложенным голосом. — Этого нельзя простить человеку, соприкасавшемуся с физикой. Вы не видите разницы между скоростями механическими и электромагнитными?

— Зачем мне авиация? Нет здоровей, как пешком и на лошадках! Зачем мне ваше радио? Чтоб засмыкать великих пианистов? Или чтоб скорей передать в Сибирь приказ о моём аресте? Нехай себе везут на почтовых.

— Как не понять, что мы — накануне почти бесплатной энергии, значит — избытка материальных благ. Мы растопим Арктику, согреем Сибирь, озеленим пустыни. Мы через двадцать — тридцать лет сможем ходить по продуктам, они станут бесплатны, как воздух. Это — прогресс?

— Избыток — это не прогресс! Прогрессом я признал бы не материальный избыток, а всеобщую готовность делиться недостающим! Но — ничего вы не успеете! Не согреете вы Сибири! Не озелените пустынь! Всё, простите, к ...ям размечут атомными бомбами! Всё к ...ям перепашут реактивной авиацией!

— Но беспристрастно — окиньте эти виражи! Мы не только делали, что ошибались — мы и всползали наверх. Мы искровавили наши нежные мордочки об обломки скал — но всё-таки мы уже на перевале...

— На Оймяконе!..

— Всё-таки на кострах мы уже друг друга не жжём...

— Зачем возиться с дровами, есть душегубки!

— Всё-таки веча, где аргументировали палками, заменились парламентами, где побеждают доводы! Всё-таки у первобытных народов отвоёван habeas corpus act! И никто не велит вам в первую брачную ночь отсылать жену сюзерену. Надо быть слепым, чтобы не увидеть, что нравы всё-таки смягчаются, что разум всё-таки одолевает безумие...

— Не вижу!

— Что всё-таки созревает понятие человеческая личность!

По всему зданию разнёсся продолжительный электрический звонок. Он значил: без четверти одиннадцать, сдавать всё секретное в сейфы и опечатывать лаборатории.

Оба поднялись головами в слабый фонарный свет от зоны.

Пенсне Герасимовича переливало как два алмаза.

— Так что же? Вывод? Отдать всю планету на разврат? Не жалко?

— Жалко, — уже ненужным шёпотом, упавшим шёпотом согласился Нержин. — Планету — жалко. Лучше умереть, чем до этого дожить.

— Лучше — не допустить, чем умереть! — с достоинством возразил Герасимович. — Но в эти крайние годы всеобщей гибели или

всеобщего исправления ошибок — какой же другой выход предлагаете вы? фронтовой офицер? старый арестант!

— Не знаю... не знаю..., — видно было в четвертьсвете, как мучился Нержин. — Пока не было атомной бомбы, советская система, худостройная, неповоротливая, съедаемая паразитами, обречена была погибнуть в испытании временем. А теперь если у *наших* бомба появится — беда. Теперь вот разве только...

— Что?! — припирал Герасимович.

— Может быть... новый век... с его сквозной информацией...

— Вам же радио не нужно!

— Да его глушат... Я говорю, может быть, в новый век откроется такой способ: *слово разрушит бетон*?

— Чересчур противоречит сопромату.

— Так и диамату! А всё-таки?.. Ведь помните: в Начале было Слово. Значит, Слово — исконней бетона? Значит, Слово — не пустяк? А военный переворот... невозможно...

— Но как вы это себе конкретно представляете?

— Не знаю. Повторяю: не знаю. Здесь — тайна. Как грибы по некой тайне не с первого и не со второго, а с какого-то дождя — вдруг трогаются всюду. Вчера и поверить было нельзя, что такие уроды могут вообще расти — а сегодня они повсюду! Так тронутся в рост и благородные люди, и слово их — разрушит бетон.

— Прежде того понесут ваших благородных кузовами и корзинами — вырванных, срезанных, усечённых...

91

Вопреки предчувствиям и страхам понедельник проходил благополучно. Тревога не покинула Иннокентия, но и равновесное состояние, завоёванное им после полудня, тоже сохранялось в нём. Теперь надо было на вечер обязательно скрыться в театр, чтобы перестать бояться каждого звонка у дверей.

Но зазвонил телефон. Это было незадолго до театра, когда Дотти выходила из ванной.

Иннокентий стоял и смотрел на телефон как собака на ежа.

— Дотти, возьми трубку! Меня нет, и не знаешь, когда буду. Ну их к чёрту, вечер испортят.

Дотти ещё похорошела со вчерашнего дня. Когда нравилась — она всегда хорошела, а оттого больше нравилась — и ещё хорошела.

Придерживая полы халата, она мягкой походкой подошла к телефону и властно-ласково сняла трубку.

— Да... Его нет дома... Кто, кто?.. — и вдруг преобразилась приветливо и повела плечами, был у неё такой жест угоды. — Здрав-

ствуйте, товарищ генерал!.. Да, теперь узнаю... — Быстро прикрыла микрофон рукой и прошептала: — Шеф! Очень любезен.

Иннокентий заколебался. Любезный шеф, звонящий вечером сам... Жена заметила его колебание:

— Одну минуточку, я слышу дверь открылась, как бы не он. Так и есть! Ини! Не раздевайся, быстро сюда, генерал у телефона!

Какой бы ни сидел по ту сторону телефона закоснелый в подозрениях человек, он по тону Дотти почти мог видеть, как Иннокентий торопливо вытирал ноги в дверях, как пересёк ковёр и взял трубку.

Шеф был благодушен. Он сообщал: только что окончательно утверждено назначение Иннокентия. В среду он вылетит самолётом с пересадкой в Париже, завтра надо сдать последние дела, а сейчас явиться на полчасика для согласования кое-каких деталей. Машина за Иннокентием уже выслана.

Иннокентий разогнулся от телефона другим человеком. Он вдохнул с такой счастливой глубиной, что воздух как будто имел время распространиться по всему его телу. Он выдохнул с медленностью — и вместе с воздухом вытолкнул сомнения и страхи.

Невозможно было поверить, что вот так по канату при косом ветре можно идти, идти — и не свалиться.

— Представь, Дотик, в среду лечу! А сейчас...

Но Дотик, прислонявшая ухо к трубке, уже слышала всё и сама. Только она разогнулась совсем не радостная: отдельный отъезд Иннокентия, ещё объяснимый и допустимый позавчера, сегодня был оскорблением и раной.

— Как ты думаешь, — она поднадула губы, — «кое-какие детали», это, может быть, всё-таки и я?

— Да... м-м-может быть...

— А что ты там вообще говорил обо мне?

Да что-то говорил. Что-то говорил, чего не мог бы ей сейчас повторить, но и переигрывать уже было поздно.

Но уверенность, вчера приобретенная, позволяла Дотти говорить со свободою:

— Ини, мы всё открывали вместе! Всё новое мы видели вместе! А к Жёлтому Дьяволу ты хочешь ехать без меня? Нет, я решительно не согласна, ты должен думать об обоих!

И это — ещё лучшее изо всего, что она произнесёт потом. Она ещё будет потом при иностранцах повторять глупейшие казённые суждения, от которых сгорят уши Иннокентия. Она будет поносить Америку — и как можно больше в ней покупать. Да нет, забыл, будет иначе: ведь он там откроется, и что вообще уместится в её голове?

— Всё и устроится, Дотти, только не сразу. Пока я поеду представлюсь, оформлюсь, познакомлюсь...

— А я хочу сразу! Мне именно сейчас хочется! Как же я останусь?

Она не знала, на что просилась... Она не знала, что такое кручёный круглый канат под скользкими подошвами. И теперь ещё надо оттолкнуться и сколько-то пролететь, а предохранительной сетки, может быть, нет. И второе тело — полное, мягкое, нежертвенное, не может лететь рядом.

Иннокентий приятно улыбнулся и потрепал жену за плечи:

— Ну, попробую. Раньше разговор был иначе, теперь как удастся. Но во всяком случае ты не беспокойся, я же очень скоро тебя...

Поцеловал её в чужую щеку. Дотти нисколько не была убеждена. Вчерашнего согласия между ними как не бывало.

— А пока одевайся, не торопясь. На первый акт мы не попадём, но цельность «Акулины» от этого... А на второй... Да я тебе ещё из министерства звякну...

Он едва успел надеть мундир, как в квартиру позвонил шофёр. Это не был Виктор, обычно возивший его, ни Костя. Шофёр был худощавый, подвижный, с приятным интеллигентным лицом. Он весело спускался по лестнице, почти рядом с Иннокентием, вертя на шнурочке ключ зажигания.

— Что-то я вас не помню, — сказал Иннокентий, застёгивая на ходу пальто.

— А я даже лестницу вашу помню, два раза за вами приезжал. — У шофёра была улыбка открытая и вместе плутоватая. Такого разбитнягу хорошо иметь на собственной машине.

Поехали. Иннокентий сел сзади. Он не слушал, но шофёр через плечо раза два пытался пошутить по дороге. Потом вдруг резко вывернул к тротуару и впритирку к нему остановился. Какой-то молодой человек в мягкой шляпе и в пальто, подогнанном по талии, стоял у края тротуара, подняв палец.

— Механик наш, из гаража, — пояснил симпатичный шофёр и стал открывать ему правую переднюю дверцу. Но дверца никак не поддавалась, замок заел.

Шофёр выругался в границах городского приличия и попросил:

— Товарищ советник! Нельзя ли ему рядом с вами доехать? Начальник он мой, неудобно.

— Да пожалуйста, — охотно согласился Иннокентий, подвигаясь. Он был в опьянении, в азарте, мысленно захватывая назначение и визу, воображая, как послезавтра утром сядет на самолёт во Внукове, но не успокоится до Варшавы, потому что и там его может догнать задерживающая телеграмма.

Механик, закусив сбоку рта длинную дымящую папиросу, пригнулся, вступил в машину, сдержанно-развязано спросил:

— Вы... не возражаете? — и плюхнулся рядом с Иннокентием.

Автомобиль рванул дальше.

Иннокентий на миг скривился от презрения («хам!»), но ушёл опять в свои мысли, мало замечая дорогу.

Пыхтя папиросой, механик задымил уже половину машины.

— Вы бы стекло открыли! — поставил его на место Иннокентий, поднимая одну лишь правую бровь.

Но механик не понял иронии и не открыл стекла, а, развалясь на сиденьи, из внутреннего кармана вынул листок, развернул его и протянул Иннокентию:

— Товарищ начальник! Вы не прочтёте мне, а? Я вам посвечу.

Автомобиль свернул в какую-то темноватую крутую улицу, вроде как будто Пушечную. Механик зажёг карманный фонарик и лучиком его осветил малиновый листок. Пожав плечами, Иннокентий брезгливо взял листок и начал читать небрежно, почти про себя:

«Санкционирую. Зам. Генерального Прокурора СССР...»

Он по-прежнему был в кругу своих мыслей и не мог спуститься, понять, что механик? — неграмотный, что ли, или не разбирается в смысле бумаги, или пьян и хочет пооткровенничать.

«Ордер на арест...
читал он, всё ещё не вникая в читаемое,
...Володина Иннокентия Артемьевича, 1919-го...»

— и только тут как одной большой иглой прокололо всё его тело по длине и разлился внезапный вар по телу — Иннокентий раскрыл рот — но ещё не издал ни звука, и ещё не упала на колени его рука с малиновым листком, как «механик» впился в его плечо и угрожающе загудел:

— Ну, спокойно, спокойно, не шевелись, придушу здесь!

Фонариком он слепил Володина и бил в его лицо дымом папиросы.

А листок отобрал.

И хотя Иннокентий прочёл, что он арестован, и это означало провал и конец его жизни, — в короткое мгновение ему были невыносимы только эта наглость, впившиеся пальцы, дым и свет в лицо.

— Пустите, — вскрикнул он, пытаясь своими слабыми пальцами освободиться. До его сознания теперь уже дошло, что это действительно ордер, действительно на его арест, но представлялось несчастным стечением обстоятельств, что он попал в эту машину и пустил «механика» подъехать, — представлялось так, что надо вырваться к шефу в министерство и арест отменят.

Он стал судорожно дёргать ручку левой дверцы, но и та не поддавалась, заело и её.

— Шофёр! Вы ответите! Что за провокация?! — гневно вскрикнул Иннокентий.

— Служу Советскому Союзу, советник! — с озорью отчеканил шофёр через плечо.

Повинуясь правилам уличного движения, автомобиль обогнул всю сверкающую Лубянскую площадь, словно делая прощальный круг и давая Иннокентию возможность увидеть в последний раз этот мир и пятиэтажную высоту слившихся здесь Старой и Новой Лубянок, где предстояло ему окончить жизнь.

Скоплялись и прорывались под светофорами кучки автомобилей, мягко переваливались троллейбусы, гудели автобусы, густыми толпами шли люди — и никто не знал и не видел жертву, у них на глазах влекомую на расправу.

Красный флажок, освещённый из глубины крыши прожектором, трепетал в прорезе колончатой башенки над зданием Старой Большой Лубянки. Он был — как гаршиновский красный цветок, вобравший в себя зло мира. Две бесчувственные каменные наяды, полулёжа, с презрением смотрели вниз на маленьких семенящих граждан.

Автомобиль прошёл вдоль фасада всемирно-знаменитого здания, собиравшего дань душ со всех континентов, и свернул на Большую Лубянскую улицу.

— Да пустите же! — всё стряхивал с себя Иннокентий пальцы «механика», впившиеся в его плечо у шеи.

Чёрные железные ворота тотчас растворились, едва автомобиль обернул к ним свой радиатор, и тотчас затворились, едва он проехал их.

Чёрной подворотней автомобиль прошмыгнул во двор.

Рука «механика» ослабла в подворотне. Он вовсе снял её с шеи Иннокентия во дворе. Вылезая через свою дверцу, он деловито сказал:

— Выходим!

И уже ясно стало, что был совершенно трезв.

Через свою незаколоженную дверцу вылез и шофёр.

— Выходите! Руки назад! — скомандовал он. В этой ледяной команде кто мог бы угадать недавнего шутника?

Иннокентий вылез из автомобиля-западни, выпрямился и — хотя непонятно было, почему он должен подчиняться — подчинился: взял руки назад.

Арест произошёл грубовато, но совсем не так страшно, как рисуется, когда его ждёшь. Даже наступило успокоение: уже не надо бояться, уже не надо бороться, уже не придумывать ничего. Немотное, приятное успокоение, овладевающее всем телом раненого.

Иннокентий оглянулся на неровно освещённый одним-двумя фонарями и разрозненными окнами этажей дворик. Дворик был — дно колодца, четырьмя стенами зданий уходящего вверх.

— Не оглядываться! — прикрикнул «шофёр». — Марш!

Так в затылок друг другу втроём, Иннокентий в середине, минуя равнодушных в форме МГБ, они прошли под низкую арку, по сту-

пенькам спустились в другой дворик — нижний, крытый, тёмный, из него взяли влево и открыли чистенькую парадную дверь, похожую на дверь в приёмную известного доктора.

За дверью следовал маленький очень опрятный коридор, залитый электрическим светом. Его новокрашенные полы были вымыты чуть не только что и застелены ковровой дорожкой.

«Шофёр» стал странно щёлкать языком, будто призывая собаку. Но никакой собаки не было.

Дальше коридор был перегорожен остеклённой дверью с полинялыми занавесками изнутри. Дверь была укреплена обрешёткой из косых прутьев, какая бывает на оградах станционных сквериков. На двери вместо докторской таблички висела надпись:

«Приёмная арестованных».

Но очереди — не было.

Позвонили — старинным звонком с поворотной ручкой. Немного спустя из-за занавески подглядел, а потом отворил дверь бесстрастный долголицый надзиратель с небесно-голубыми погонами и белыми сержантскими лычками поперёк их. «Шофёр» взял у «механика» малиновый бланк и показал надзирателю. Тот пробежал его скучающе, как разбуженный сонный аптекарь читает рецепт — и они вдвоём ушли внутрь.

Иннокентий и «механик» стояли в глубокой тишине перед захлопнутой дверью.

«Приёмная арестованных» — напоминала надпись, и смысл её был такой же, как: «Мертвецкая». Иннокентию даже не до того было, чтобы рассмотреть этого хлюста в узком пальто, который разыгрывал с ним комедию. Может быть, Иннокентий должен был протестовать, кричать, требовать справедливости? — но он забыл даже, что руки держал сложенными назади, и продолжал их так держать. Все мысли затормозились в нём, он загипнотизированно смотрел на надпись: «Приёмная арестованных».

В двери послышался мягкий поворот английского замка. Долголицый надзиратель кивнул им входить и пошёл вперёд первый, выделывая языком то же призывное собачье щёлканье.

Но собаки и тут не было.

Коридор был так же ярко освещён и так же по-больничному чист.

В стене было две двери, выкрашенные в оливковый цвет. Сержант отпахнул одну из них и сказал:

— Зайдите.

Иннокентий вошёл. Он почти не успел рассмотреть, что это была пустая комната с большим грубым столом, парой табуреток и без окна, как «шофёр» откуда-то сбоку, а «механик» сзади накинулись на него, в четыре руки обхватили и проворно обшарили все карманы.

— Да что за бандитизм? — слабо закричал Иннокентий. — Кто дал вам право? — Он отбивался немного, но внутреннее сознание, что это совсем не бандитизм и что люди просто выполняют служебную работу, лишало движения его — энергии, а голос — уверенности.

Они сняли с него ручные часы, вытащили две записные книжки, авторучку и носовой платок. Он увидел в их руках ещё узкие серебряные погоны и поразился совпадению, что они тоже дипломатические и что число звёздочек на них — такое же, как и у него. Грубые объятия разомкнулись. «Механик» протянул ему носовой платок:

— Возьмите.

— После ваших грязных рук? — визгливо вскрикнул и передёрнулся Иннокентий.

Платок упал на пол.

— На ценности получите квитанцию, — сказал «шофёр», и оба ушли поспешно.

Долголицый сержант, напротив, не торопился. Покосясь на пол, он посоветовал:

— Платок — возьмите.

Но Иннокентий не наклонился.

— Да они что? погоны с меня сорвали? — только тут догадался и вскипел он, нащупав, что на плечах мундира под пальто не осталось погонов.

— Руки назад! — равнодушно сказал тогда сержант. — Пройдите!

И защёлкал языком.

Но собаки не было.

После излома коридора они оказались ещё в одном коридоре, где по обеим сторонам шли тесно друг ко другу небольшие оливковые двери с оваликами зеркальных номеров на них. Между дверьми ходила пожилая истёртая женщина в военной юбке и гимнастёрке с такими же небесно-голубыми погонами и такими же белыми сержантскими лычками. Женщина эта, когда они показались из-за поворота, подглядывала в отверстие одной из дверей. При подходе их она спокойно опустила висячий щиток, закрывающий отверстие, и посмотрела на Иннокентия так, будто он уже сотни раз сегодня тут проходил, и ничего удивительного нет, что идёт ещё раз. Черты её были мрачные. Она вставила длинный ключ в стальную навесную коробку замка на двери с номером «8», с грохотом отперла дверь и кивнула ему:

— Зайдите.

Иннокентий переступил порог и прежде, чем успел обернуться, спросить объяснения — дверь позади него затворилась, громкий замок заперся.

Так вот где ему теперь предстояло жить! — день? или месяц? или годы? Нельзя было назвать это помещение комнатой, ни даже

камерой — потому что, как приучила нас литература, в камере должно быть хоть маленькое, да окошко и пространство для хождения. А здесь не только ходить, не только лечь, но даже нельзя было сесть свободно. Стояла здесь тумбочка и табуретка, занимая собой почти всю площадь пола. Севши на табуретку, уже нельзя было вольно вытянуть ноги.

Больше не было в каморке ничего. До уровня груди шла масляная оливковая панель, а выше её — стены и потолок были ярко побелены и ослепительно освещались из-под потолка большой лампочкой ватт на двести, заключённой в проволочную сетку.

Иннокентий сел. Двадцать минут назад он ещё обдумывал, как приедет в Америку, как, очевидно, напомнит о своём звонке в посольство. Двадцать минут назад вся его прошлая жизнь казалась ему одним стройным целым, каждое событие её освещалось ровным светом продуманности и спаивалось с другими событиями белыми вспышками удачи. Но прошли эти двадцать минут — и здесь, в тесной маленькой ловушке, вся его прошлая жизнь с той же убедительностью представлялась ему нагромождением ошибок, грудой чёрных обломков.

Из коридора не доносилось звуков, только раза два где-то близко отпиралась и запиралась дверь. Каждую минуту отклонялся маленький щиток и через остеклённый глазок за Иннокентием наблюдал одинокий пытливый глаз. Дверь была пальца четыре в толщину — и сквозь всю толщу её от глазка расширялся конус смотрового отверстия. Иннокентий догадался: оно было сделано так, чтобы нигде в этом застенке арестант не мог бы укрыться от взора надзирателя.

Стало тесно и жарко. Он снял тёплое зимнее пальто, грустно покосился на «мясо» от сорванных с мундира погонов. Не найдя на стенах ни гвоздика, ни малейшего выступа, он положил пальто и шапку на тумбочку.

Странно, но сейчас, когда молния ареста уже ударила в его жизнь, Иннокентий не испытывал страха. Наоборот, заторможенная мысль его опять разрабатывалась и соображала сделанные промахи.

Почему он не прочёл до конца? Правильно ли ордер оформлен? Есть ли печать? Санкция прокурора? Да, с санкции прокурора начиналось. Каким числом ордер подписан? Какое обвинение предъявлено? Знал ли об этом шеф, когда вызывал? Конечно, знал. Значит, вызов был обман? Но зачем такой странный приём, этот спектакль с «шофёром» и «механиком»?

В одном кармане он нащупал что-то твёрдое маленькое. Вынул. Это был тоненький изящный карандашик, выпавший из петли записной книжки. Иннокентия очень обрадовал этот карандашик: он мог весьма пригодиться! Халтурщики! И здесь, на Лубянке, — халтурщики! — обыскивать и то не умеют! Придумывая, куда бы лучше карандашик спрятать, Иннокентий сломал его надвое, просунул

обломки по одному в каждый ботинок и пропустил там под ступни.

Ах, какое упущение! — не прочесть, в чём его обвиняют! Может, арест совсем не связан с этим телефонным разговором? Может быть, это ошибка, совпадение? Как же теперь правильно держаться?

Или там вообще не было, в чём его обвиняют? Пожалуй и не было. Арестовать — и всё.

Времени ещё прошло немного — но уже много раз он слышал равномерное гудение какой-то машины за стеной, противоположной коридору. Гудение то возникало, то стихало. Иннокентию вдруг стало не по себе от простой мысли: какая машина могла быть здесь? Здесь — тюрьма, не фабрика — зачем же машина? Уму сороковых годов, наслышанному о механических способах уничтожения людей, приходило сразу что-то недоброе. Иннокентию мелькнула мысль несуразная и вместе какая-то вполне вероятная: что это — машина для перемалывания костей уже убитых арестантов. Стало страшно.

Да, — тем временем глубоко жалила его мысль, — какая ошибка! — даже не прочесть до конца ордер, не начать тут же протестовать, что невиновен. Он так послушно покорился аресту, что убедились в его виновности! Как он мог не протестовать! Почему не протестовал? Получилось явно, что он ждал ареста, был приготовлен к нему!

Он был прострелен этой роковой ошибкой! Первая мысль была — вскочить, бить руками, ногами, кричать во всё горло, что невиновен, что пусть откроют, — но над этой мыслью тут же выросла другая, более зрелая: что, наверное, этим их не удивишь, что тут часто так стучат и кричат, что его молчание в первые минуты всё равно уже всё запутало.

Ах, как он мог даться так просто в руки! — из своей квартиры, с московских улиц, высокопоставленный дипломат — безо всякого сопротивления и без звука отдался отвести себя и запереть в этом застенке.

Отсюда не вырвешься! О, отсюда не вырвешься!..

А, может быть, шеф его всё-таки ждёт? Хоть под конвоем, но как прорваться к нему? Как выяснить?

Нет, не ясней, а сложней и запутанней становилось в голове.

Машина за стеной то снова гудела, то замолкала.

Глаза Иннокентия, ослеплённые светом, чрезмерно ярким для высокого, но узкого помещения в три кубометра, давно уже искали отдыха на единственном чёрном квадратике, оживлявшем потолок. Квадратик этот, перекрещенный металлическими прутиками, был по всему — отдушина, хотя и неизвестно, куда или откуда ведущая.

И вдруг с отчётливостью представилось ему, что эта отдушина — вовсе не отдушина, что через неё медленно впускается отравленный газ, может быть вырабатываемый вот этой самой гудящей машиной, что газ впускают с той самой минуты, как он заперт здесь, и

что ни для чего другого не может быть предназначена такая глухая каморка, с дверью, плотно-пригнанной к порогу!

Для того и подсматривают за ним в глазок, чтобы следить, в сознании он ещё или уже отравлен.

Так вот почему путаются мысли: он теряет сознание! Вот почему он уже давно задыхается! Вот почему так бьёт в голове!

Втекает газ! бесцветный! без запаха!!

Ужас! извечный животный ужас! — тот самый, что хищников и едомых роднит в одной толпе, бегущей от лесного пожара — ужас объял Иннокентия и, растеряв все расчёты и мысли другие, он стал бить кулаками и ногами в дверь, зовя живого человека:

— Откройте! Откройте! Я задыхаюсь! Воздуха!!

Вот зачем ещё глазок был сделан конусом — никак кулак не доставал разбить стекло!

Исступлённый немигающий глаз с другой стороны прильнул к стеклу и злорадно смотрел на гибель Иннокентия.

О, это зрелище! — вырванный глаз, глаз без лица, глаз, всё выражение стянувший в себе одном! — и когда он смотрит на твою смерть!..

Не было выхода!..

Иннокентий упал на табуретку.

Газ душил его...

92

Вдруг совершенно бесшумно (хотя запиралась с грохотом) дверь растворилась.

Долголицый надзиратель вступил в неширокий раствор двери и уже здесь, в каморке, а не из коридора, угрожающе негромко спросил:

— Вы почему стучите?

У Иннокентия отлегло. Если надзиратель не побоялся сюда войти, значит отравления ещё нет.

— Мне дурно! — уже менее уверенно сказал он. — Дайте воды!

— Так вот запомните! — строго внушил надзиратель. — Стучать ни в коем случае нельзя, иначе вас накажут.

— Но если мне плохо? если надо позвать?

— И не разговаривать громко! Если вам нужно позвать, — с тем же равномерным хмурым бесстрастием разъяснял надзиратель, — ждите, когда откроется глазок — и молча поднимите палец.

Он отступил и запер дверь.

Машина за стеной опять заработала и умолкла.

Дверь отворилась, на этот раз с обычным громыханием. Иннокентий начинал понимать: они натренированы были открывать дверь и с шумом, и бесшумно, как им было нужно.

Надзиратель подал Иннокентию кружку с водой.

— Слушайте, — принял Иннокентий кружку. — Мне плохо, мне лечь нужно!

— В боксе не положено.

— Где? Где не положено? — (Ему хотелось поговорить хоть с этим чурбаном!)

Но надзиратель уже отступил за дверь и притворял её.

— Слушайте, позовите начальника! За что меня арестовали? — опомнился Иннокентий.

Дверь заперлась.

Он сказал — в *боксе*? «Box» — значит по-английски ящик. Они цинично называют такую каморку ящиком? Что ж, это, пожалуй, точно.

Иннокентий отпил немного. Пить сразу перехотелось. Кружечка была граммов на триста, эмалированная, зелёненькая, со странным рисунком: кошечка в очках делала вид, что читала книжку, на самом же деле косилась на птичку, дерзко прыгавшую рядом.

Не могло быть, чтоб этот рисунок нарочно подбирали для Лубянки. Но как он подходил! Кошка была советская власть, книжка — сталинская конституция, а воробушек — мыслящая личность.

Иннокентий даже улыбнулся и от этой кривой улыбки вдруг ощутил всю бездну произошедшего с ним. И от этой же улыбки странная радость — радость крохи бытия, пришла к нему.

Он не поверил бы раньше, что в застенках Лубянки улыбнётся в первые же полчаса.

(Хуже было Щевронку в соседнем боксе: того бы сейчас не рассмешила и кошечка.)

Потеснив на тумбочке пальто, Иннокентий поставил туда и кружку.

Загремел замок. Отворилась дверь. В дверь вступил лейтенант с бумагой в руке. За плечом его виднелось постное лицо сержанта.

В своём дипломатическом серо-сизом мундире, вышитом золотыми пальмами, Иннокентий развязно поднялся ему навстречу:

— Послушайте, лейтенант, в чём дело? что за недоразумение? Дайте мне ордер, я его не прочёл.

— Фамилия? — невыразительно спросил лейтенант, стеклянно глядя на Иннокентия.

— Володин, — уступая, ответил Иннокентий с готовностью выяснить положение.

— Имя, отчество?

— Иннокентий Артемьевич.

— Год рождения? — лейтенант сверялся всё время с бумагой.

— Тысяча девятьсот девятнадцатый.

— Место рождения?

— Ленинград.

И тут-то, когда впору было разобраться, и советник второго ранга ждал объяснений, лейтенант отступил, и дверь заперлась, едва не прищемив советника.

Иннокентий сел и закрыл глаза. Он начинал чувствовать силу этих механических клещей.

Загудела машина.

Потом замолкла.

Стали приходить в голову разные мелкие и крупные дела, настолько неотложные час назад, что была потягота в ногах — встать и бежать делать их.

Но не только бежать, а сделать в боксе один полный шаг было негде.

Отодвинулся щиток глазка. Иннокентий поднял палец. Дверь открыла та женщина в небесных погонах с тупым и тяжёлым лицом.

— Мне нужно... это... — выразительно сказал он.

— Руки назад! Пройдите! — повелительно бросила женщина, и, повинуясь кивку её головы, Иннокентий вышел в коридор, где ему показалось теперь, после духоты бокса, приятно-прохладно.

Проведя Иннокентия несколько, женщина кивнула на дверь:

— Сюда!

Иннокентий вошёл. Дверь за ним заперли.

Кроме отверстия в полу и двух железных бугорчатых выступов для ног, остальная ничтожная площадка пола и площадь стен маленькой каморки были выложены красноватой метлахской плиткой. В углублении освежительно переплескивалась вода.

Довольный, что хоть здесь отдохнёт от непрерывного наблюдения, Иннокентий присел на корточки.

Но что-то шаркнуло по двери с той стороны. Он поднял голову и увидел, что и здесь такой же глазок с коническим раструбом, и что неотступный внимательный глаз следит за ним уже не с перерывами, а непрерывно.

Неприятно смущённый, Иннокентий выпрямился. Он ещё не успел поднять пальца о готовности, как дверь растворилась.

— Руки назад. Пройдите! — невозмутимо сказала женщина.

В боксе Иннокентия потянуло узнать, который час. Он бездумно отодвинул обшлаг рукава, но *времени* больше не было.

Он вздохнул и стал рассматривать кошечку на кружке. Ему не дали углубиться в мысли. Дверь отперлась. Ещё какой-то новый крупнолицый широкоплечий человек в сером халате поверх гимнастёрки спросил:

— Фамилия?

— Я уже отвечал! — возмутился Иннокентий.

— Фамилия? — без выражения, как радист, вызывающий станцию, повторил пришедший.

— Ну, Володин.

— Возьмите вещи. Пройдите, — бесстрастно сказал серый халат.

Иннокентий взял пальто и шапку с тумбочки и пошёл. Ему показано было в ту самую первую комнату, где с него сорвали погоны, отняли часы и записные книжки.

Носового платка на полу уже не было.

— Слушайте, у меня вещи отняли! — пожаловался Иннокентий.

— Разденьтесь! — ответил надзиратель в сером халате.

— Зачем? — поразился Иннокентий.

Надзиратель посмотрел в его глаза простым твёрдым взглядом.

— Вы — русский? — строго спросил он.

— Да. — Всегда такой находчивый, Иннокентий не нашёлся сказать ничего другого.

— Разденьтесь!

— А что?.. не русским — не надо? — уныло сострил он.

Надзиратель каменно молчал, ожидая.

Изобразив презрительную усмешку и пожав плечами, Иннокентий сел на табуретку, разулся, снял мундир и протянул его надзирателю. Даже не придавая мундиру никакого ритуального значения, Иннокентий всё-таки уважал свою шитую золотом одежду.

— Бросьте! — сказал серый халат, показывая на пол.

Иннокентий не решался. Надзиратель вырвал у него мышиный мундир из рук, швырнул на пол и отрывисто добавил:

— Догола́!

— То есть, ка́к догола?

— Догола!

— Но это совершенно невозможно, товарищ! Ведь здесь же холодно, поймите!

— Вас разденут силой, — предупредил надзиратель.

Иннокентий подумал. Уже на него кидались — и похоже было, что кинутся ещё. Поёживаясь от холода и от омерзения, он снял с себя шёлковое бельё и сам послушно бросил в ту же кучу.

— Носки снимите!

Сняв носки, Иннокентий стоял теперь на деревянном полу босыми безволосыми ногами, нежно-белыми, как всё его податливое тело.

— Откройте рот. Шире. Скажите «а». Ещё раз, длиннее: «а-а-а!» Теперь язык поднимите.

Как покупаемой лошади, оттянув Иннокентию нечистыми руками одну щеку, потом другую, одно подглазье, потом другое, и убедившись, что нигде под языком, за щеками и в глазах ничего не спрятано, надзиратель твёрдым движением запрокинул Иннокентию голову так, что в ноздри ему попадал свет, затем проверил оба уха, оттягивая за раковины, велел распялить пальцы и убедился, что нет ничего между пальцами, ещё — помахать руками, и убедился, что

под мышками также нет ничего. Тогда тем же машинно-неопровержимым голосом он скомандовал:

— Возьмите в руки член. Заверните кожицу. Ещё. Так, достаточно. Отведите член вправо вверх. Влево вверх. Хорошо, опустите. Станьте ко мне спиной. Расставьте ноги. Шире. Наклонитесь вперёд до пола. Ноги — шире. Ягодицы — разведите руками. Так. Хорошо. Теперь присядьте на корточки. Быстро! Ещё раз!

Думая прежде об аресте, Иннокентий рисовал себе неистовое духовное единоборство с государственным Левиафаном. Он был внутренне напряжён, готов к высокому отстаиванию своей судьбы и своих убеждений. Но он никак не представлял, что это будет так просто и тупо, так неотклонимо. Люди, которые встретили его на Лубянке, низко поставленные, ограниченные, были равнодушны к его индивидуальности и к поступку, приведшему его сюда, — зато зорко внимательны к мелочам, к которым Иннокентий не был подготовлен и в которых не мог сопротивляться. Да и что могло бы значить и какой выигрыш принесло бы его сопротивление? Каждый раз по отдельному поводу от него требовали как будто ничтожного пустяка по сравнению с предстоящим ему великим боем — и не стоило даже упираться по такому пустяку — но вся в совокупности методическая околичность процедуры начисто сламливала волю взятого арестанта.

И вот, снося все унижения, Иннокентий подавленно молчал.

Обыскивающий указал голому Иннокентию перейти ближе к двери и сесть там на табуретке. Казалось немыслимым коснуться обнажённой частью тела ещё этого нового холодного предмета. Но Иннокентий сел и очень скоро с приятностью обнаружил, что деревянная табуретка стала как бы греть его.

Много острых удовольствий испытал за свою жизнь Иннокентий, но это было новое, никогда не изведанное. Прижав локти к груди и подтянув колени повыше, он почувствовал себя ещё теплей.

Так он сидел, а обыскивающий стал у груды его одежды и начал перетряхивать, перещупывать и смотреть на свет. Проявив человечность, он недолго задержал кальсоны и носки. В кальсонах он только тщательно промял, ущип за ущипом, все швы и рубчики и бросил их под ноги Иннокентию. Носки он отстегнул от резиновых держалок, вывернул наизнанку и бросил Иннокентию. Прощупав рубчики и складки нижней сорочки, он бросил к двери и её, так что Иннокентий мог одеться, всё более возвращая телу блаженную теплоту.

Затем обыскивающий достал большой складной нож с грубой деревянной ручкой, раскрыл его и принялся за ботинки. С презрением вышвырнув из ботинок обломки маленького карандаша, он стал с сосредоточенным лицом многократно перегибать подошвы, ища внутри чего-то твёрдого. Взрезав ножом стельку, он, действительно, извлёк оттуда какой-то кусок стальной полосы и отложил

на стол. Затем достал шило и проколол им наискось один каблук.

Иннокентий неподвижным взглядом следил за его работой и имел силу подумать, как должно ему надоесть год за годом перещупывать чужое бельё, прорезать обувь и заглядывать в задние проходы. Оттого и лицо обыскивающего имело чёрствое неприязненное выражение.

Но эти проблескивающие иронические мысли угасли в Иннокентии от тоскливого ожидания и наблюдения. Обыскивающий стал спарывать с мундира всё золотое шитьё, форменные пуговицы, петлицы. Затем он вспарывал подкладку и шарил под ней. Не меньше времени он возился со складками и швами брюк. Ещё больше доставило ему хлопот зимнее пальто — там, в глуби ваты, надзирателю слышался, наверно, какой-то неватный шелест (зашитая записка? адреса? ампула с ядом?) — и, вскрыв подкладку, он долго искал в вате, сохраняя выражение столь сосредоточенное и озабоченное, как если б делал операцию на человеческом сердце.

Очень долго, может быть более часа, продолжался обыск. Наконец, обыскивающий стал собирать трофеи: подтяжки, резиновые держалки для носков (он ещё раньше объявил Иннокентию, что те и другие не разрешается иметь в тюрьме), галстук, брошь от галстука, запонки, кусок стальной полоски, два обломка карандаша, золотое шитьё, все форменные отличия и множество пуговиц. Только тут Иннокентий допонял и оценил разрушительную работу. Не прорезы в подошве, не отпоротая подкладка, не высовывающаяся в подмышечных проймах пальто вата — но отсутствие почти всех пуговиц именно в то время, когда его лишали и подтяжек, из всех издевательств этого вечера почему-то особенно поразило Иннокентия.

— Зачем вы срезали пуговицы? — воскликнул он.

— Не положены, — буркнул надзиратель.

— То есть, как? А в чём же я буду ходить?

— Верёвочками завяжете, — хмуро ответил тот, уже в двери.

— Что за чушь? Какие верёвочки? Откуда я их возьму?..

Но дверь захлопнулась и заперлась.

Иннокентий не стал стучать и настаивать: он сообразил, что на пальто и ещё кое-где пуговицы оставили, и уже этому надо радоваться.

Он быстро воспитывался здесь.

Не успел он, поддерживая падающую одежду, походить по своему новому помещению, наслаждаясь его простором и разминая ноги, как опять загремел ключ в двери, и вошёл новый надзиратель в халате белом, хоть и не первой чистоты. Он посмотрел на Иннокентия как на давно знакомую вещь, всегда находившуюся в этой комнате, и отрывисто приказал:

— Разденьтесь догола!

Иннокентий хотел ответить возмущением, хотел быть грозным, на самом же деле из его перехваченного обидой горла вырвался неубедительный протест каким-то цыплячьим голосом:

— Но ведь я только что раздевался! Неужели не могли предупредить?

Очевидно — не могли, потому что нововошедший невыразительным скучающим взглядом следил, скоро ли будет выполнено приказание.

Во всех здешних больше всего поражала Иннокентия способность молчать, когда нормальные люди отвечают.

Входя уже в ритм беспрекословного безвольного подчинения, Иннокентий разделся и разулся.

— Сядьте! — показал надзиратель на ту самую табуретку, на которой Иннокентий уже так долго сидел.

Голый арестант сел покорно, не задумываясь — зачем. (Привычка вольного человека — обдумывать свои поступки прежде, чем их делать, быстро отмирала в нём, так как другие успешно думали за него.) Надзиратель жёстко обхватил его голову пальцами за затылок. Холодная режущая плоскость машинки с силой придавилась к его темени.

— Что вы делаете? — вздрогнул Иннокентий, со слабым усилием пытаясь высвободить голову из захвативших пальцев. — Кто вам дал право? Я ещё не арестован! — (Он хотел сказать — обвинение ещё не доказано.)

Но парикмахер, всё так же крепко держа его голову, молча продолжал стричь. И вспышка сопротивления, возникшая было в Иннокентии, погасла. Этот гордый молодой дипломат, с таким независимо-небрежным видом сходивший по трапам трансконтинентальных самолётов, с таким рассеянным сощуром смотревший на дневное сияние сновавших вокруг него европейских столиц, — был сейчас голый квёлый костистый мужчина с головой, остриженной наполовину.

Мягкие светло-каштановые волосы Иннокентия падали грустными беззвучными хлопьями, как падает снег. Он поймал рукой один клок и нежно перетёр его в пальцах. Он ощутил, что любил себя и свою отходящую жизнь.

Он ещё помнил свой вывод: покорность будет истолкована как виновность. Он помнил своё решение сопротивляться, возражать, спорить, требовать прокурора, — но вопреки разуму его волю сковывало сладкое безразличие замерзающего на снегу.

Кончив стричь голову, парикмахер велел встать, по очереди поднять руки и выстриг под мышками. Потом сам присел на корточки и тою же машинкой стал стричь Иннокентию лобок. Это было необычно, очень щекотно. Иннокентий невольно поёжился, парикмахер цыкнул.

— Одеваться можно? — спросил Иннокентий, когда процедура окончилась.

Но парикмахер не сказал ни слова и запер дверь.

Хитрость подсказывала Иннокентию не спешить одеваться на этот раз. В остриженных нежных местах он испытывал неприятное покалывание. Проводя по непривычной голове (с детства не помнил себя наголо остриженным), он нащупывал странную короткую щетинку и неровности черепа, о которых не знал.

Всё же он надел бельё, а когда стал влезать в брюки — загремел замок, вошёл ещё новый надзиратель с мясистым фиолетовым носом. В руках он держал большую картонную карточку.

— Фамилия?

— Володин, — уже не сопротивляясь, ответил арестант, хотя ему становилось дурно от этих бессмысленных повторений.

— Имя-отчество?

— Иннокентий Артемьевич.

— Год рождения?

— Тысяча девятьсот девятнадцатый.

— Место рождения?

— Ленинград.

— Разденьтесь догола.

Плохо соображая, что происходит, он доразделся. При этом нижняя сорочка его, положенная на край стола, упала на пол — но это не вызвало в нём брезгливости, и он не наклонился за нею.

Надзиратель с фиолетовым носом стал придирчиво осматривать Иннокентия с разных сторон и всё время записывал свои наблюдения в карточке. По большому вниманию к родинкам, к подробностям лица, Иннокентий понял, что записывают его приметы.

Ушёл и этот.

Иннокентий безучастно сидел на табуретке, не одеваясь.

Опять загремела дверь. Вошла полная черноволосая дама в снежно-белом халате. У неё было надменное грубое лицо и интеллигентные манеры.

Иннокентий очнулся, бросился за кальсонами, чтобы прикрыть наготу. Но женщина окинула его презрительным, совсем не женским взглядом и, выпячивая и без того оттопыренную нижнюю губу, спросила:

— Скажите, у вас — вшей нет?

— Я — дипломат, — обиделся Иннокентий, твёрдо глядя в её чёрные глаза и по-прежнему держа перед собой кальсоны.

— Ну, так что из этого? Какие у вас жалобы?

— За что меня арестовали? Дайте прочесть ордер! Дайте прокурора! — оживясь, зачастил Иннокентий.

— Вас не об этом спрашивают, — устало нахмурилась женщина. — Вензаболевания отрицаете?

— Что?

— Гонореей, сифилисом, мягким шанкром не болели? Проказой? Туберкулёзом? Других жалоб нет?

И ушла, не дожидаясь ответа.

Вошёл самый первый надзиратель с долгим лицом. Иннокентий даже с симпатией его встретил, потому что он не издевался над ним и не причинял зла.

— Почему не одеваетесь? — сурово спросил надзиратель. — Оденьтесь быстро.

Не так это было легко! Оставшись запертым, Иннокентий бился, как заставить брюки держаться без помочей и без многих пуговиц. Не имея возможности использовать опыт десятков предыдущих арестантских поколений, Иннокентий принахмурился и решил задачу сам, — как и миллионы его предшественников тоже решили сами. Он догадался, откуда ему достать «верёвочки»: брюки в поясе и в ширинке надо было связать шнурками от ботинок. (Только теперь Иннокентий досмотрелся: со шнурков его были сорваны металлические наконечники. Он не знал, зачем ещё это. Лубянские инструкции предполагали, что таким наконечником арестант может покончить с собой.)

Полы мундира он уже не связывал.

Сержант, убедясь в глазок, что арестованный одет, отпер дверь, велел взять руки назад и отвёл ещё в одну комнату. Там был уже знакомый Иннокентию надзиратель с фиолетовым носом.

— Снимите ботинки! — встретил он Иннокентия.

Это не представляло теперь трудности, так как ботинки без шнурков и сами легко спадали (заодно, лишённые резинок, сбивались к ступням и носки).

У стены стоял медицинский измеритель роста с вертикальной белой шкалой. Фиолетовый нос подогнал Иннокентия спиной, опустил ему на макушку передвижную планку и записал рост.

— Можно обуться, — сказал он.

А долголицый в дверях предупредил:

— Руки назад!

Руки назад! — хотя до бокса № 8 было два шага наискосок по коридору.

И снова Иннокентий был заперт в своём боксе.

За стеной всё так же взгуживала и смолкала таинственная машина.

Иннокентий, держа пальто на руках, обессиленно опустился на табуретку. С тех пор, как он попал на Лубянку, он видел только ослепительный электрический свет, близкие тесные стены и равнодушно-молчаливых тюремщиков. Процедуры, одна другой нелепее, казались ему издевательскими. Он не видел, что они составляли логическую осмысленную цепь: предварительный обыск оперативника-

ми, арестовавшими его; установление личности арестованного; приём арестованного (заочно, в канцелярии) под расписку тюремной администрацией; основной приёмный тюремный обыск; первая санобработка; запись примет; медицинский осмотр. Процедуры укачали его, они лишили его здравого разума и воли к сопротивлению. Его единственным мучительным желанием было сейчас — спать. Решив, что его пока оставили в покое, не видя, как устроиться иначе, и приобретя за три первых лубянских часа новые понятия о жизни, он поставил табуретку поверх тумбочки, на пол бросил своё пальто из тонкого драпа с каракулевым воротником и лёг на него по диагонали бокса. При этом спина его лежала на полу, голова круто поднималась одним углом бокса, а ноги, согнутые в коленях, корчились в другом углу. Но первое мгновение члены ещё не затекли — и он ощущал наслаждение.

Однако он не успел отойти в обволакивающий сон, как дверь распахнулась с особенным нарочитым грохотом.

— Встаньте! — прошипела женщина.

Иннокентий едва пошевельнул веками.

— Встаньте! Встаньте!! — раздавались над ним заклинания.

— Но если я хочу спать?

— Встаньте!!! — властно и уже громко окрикнула наклонившаяся над ним, как Медуза в сновидении, женщина.

Из своего переломленного положения Иннокентий с трудом поднялся на ноги.

— Так отведите меня, где можно лечь спать, — вяло сказал он.

— Не положено! — отрубила Медуза в небесных погонах и хлопнула дверью.

Иннокентий прислонился к стене, выждал, пока она долго изучала его в глазок, и ещё, и ещё раз.

И опять опустился на пальто, воспользовавшись отлучкой Медузы.

И уже сознание его прерывалось, как вновь загрохотала дверь.

Новый высокий сильный мужчина, который был бы удалым молотобойцем или камнеломом, в белом халате стоял на пороге.

— Фамилия? — спросил он.

— Володин.

— С вещами!

Иннокентий сгрёб пальто и шапку и с тусклыми глазами, пошатываясь, пошёл за надзирателем. Он был до крайней степени измучен и плохо чувствовал ногами, ровный ли под ним пол. Он не находил в себе сил к движению и готов был бы тут же лечь посреди коридора.

Через какой-то узкий ход, пробитый в толстой стене, его перевели в другой коридор, погрязней, откуда открыли дверь в предбанник и, выдав кусок бельевого мыла величиной меньше спичечной коробки, велели мыться.

Иннокентий долго не решался. Он привык кназеркаленной чистоте ванных комнат, обложенных кафелем, в этом же деревянном предбаннике, который рядовому человеку показался бы вполне чистым, ему пришлось отвратительно грязно. Он едва выбрал достаточно сухое место на скамье, разделся там, с брезгливостью перешёл по мокрым решёткам, по которым было наслежено и босиком и в ботинках. Он с удовольствием бы не раздевался и не мылся вовсе, но дверь предбанника отперлась, и молотобоец в белом халате скомандовал ему идти под душ.

За простой нетюремной тонкой дверью с двумя пустыми неостеклёнными прорезами была душевая. Над четырьмя решётками, которые Иннокентий тоже определил как грязные, нависали четыре душа, дававшие прекрасную горячую и холодную воду, также не оцененную Иннокентием. Четыре душа были предоставлены для одного человека! — но Иннокентий не ощутил никакой радости (если б он знал, что в мире зэков чаще моются четыре человека под одним душем, он бы больше оценил своё шестнадцатикратное преимущество). Выданное ему отвратительное вонючее мыло (за тридцать лет жизни он не держал в руках такого и даже не знал, что такое существует) он гадливо выбросил ещё в предбаннике. Теперь за пару минут он кое-как отплескался, главным образом смывая волосы после стрижки, в нежных местах коловшие его, — и с ощущением, что он не помылся здесь, а набрался грязи, вернулся одеваться.

Но зря. Лавки предбанника были пусты, вся его великолепная, хотя и обкарнанная одежда унесена, и только ботинки уткнулись носами под лавки. Наружная дверь была заперта, глазок закрыт щитком. Иннокентию не оставалось ничего другого, как сесть на лавку обнажённо скульптурным, подобно родэновскому «Мыслителю», и размышлять, обсыхая.

Затем ему выдали грубое застиранное тюремное бельё с чёрными штампами «Внутренняя тюрьма» на спине и на животе и с такими же штампами вафельную вчетверо сложенную квадратную тряпочку, о которой Иннокентий не сразу догадался, что она считалась полотенцем. Пуговицы на белье были картонно-матерчатые, но и их не хватало; были тесёмки, но и те местами оборваны. Кургузые кальсоны оказались Иннокентию коротки, тесны и жали в промежности. Рубаха, наоборот, попалась очень просторна, рукава спускались на пальцы. Обменить бельё отказались, так как Иннокентий испортил пару тем, что надел её.

В полученном нескладном белье Иннокентий ещё долго сидел в предбаннике. Ему сказали, что верхняя одежда его в «прожарке». Слово это было новое для Иннокентия. Даже за всю войну, когда страна была испещрена прожарками, — они нигде не стали на его пути. Но бессмысленным издевательствам сегодняшней ночи была

вполне под стать и прожарка одежды (представлялась какая-то большая адская сковорода).

Иннокентий пытался трезво обдумать своё положение и что ему делать, но мысли путались и мельчились: то об узких кальсонах, то о сковороде, на которой лежал сейчас его китель, то о пристальном глазе, уступая место которому часто отодвигался щиток глазка.

Баня разогнала сон, но исполегающая слабость владела Иннокентием. Хотелось лечь на что-нибудь сухое и нехолодное — и так лежать без движения, возвращая себе истекающие силы. Однако голыми рёбрами на влажные угловатые рейки скамьи (и рейки были вразгонку, не сплошь) он лечь не решался.

Открылась дверь, но принесли не одежду из прожарки. Рядом с банным надзирателем стояла румяная широколицая девушка в гражданском. Стыдливо прикрывая недостатки своего белья, Иннокентий подошёл к порогу. Велев Иннокентию расписаться на копии, девушка передала ему розовую квитанцию о том, что сего 26-го декабря Внутренней Тюрьмой МГБ СССР приняты от Володина И.А. на хранение: часы жёлтого металла, № часов... № механизма...; автоматическая ручка с отделкой из жёлтого металла и таким же пером; заколка-брошь для галстука с красным камнем в оправе; запонки синего камня — одна пара.

И опять Иннокентий ждал, поникнув. Наконец принесли одежду. Пальто вернулось холодное и в сохранности, китель же с брюками и верхняя сорочка — измятые, поблекшие и ещё горячие.

— Неужели и мундир не могли сберечь, как пальто? — возмутился Иннокентий.

— Шуба мех имеет. Понимать надо! — наставительно ответил молотобоец.

Даже собственная одежда стала после прожарки противна и чужа. Во всём чужом и неудобном Иннокентий опять отведён был в свой бокс № 8.

Он попросил и жадно выпил две кружки воды всё с тем же изображением кошечки.

Тут к нему пришла ещё одна девица и под расписку выдала голубую квитанцию о том, что сего 27-го декабря Внутренней Тюрьмой МГБ СССР приняты от Володина И.А. сорочка нижняя шёлковая одна, кальсоны шёлковые одни, подтяжки брючные и галстук.

Всё так же погуживала таинственная машина.

Оставшись опять запертым, Иннокентий сложил руки на тумбочке, положил на них голову и сделал попытку сидя заснуть.

— Нельзя! — сказал, отперев дверь, новый сменившийся надзиратель.

— Чего нельзя?

— Голову класть нельзя!

В путающихся мыслях Иннокентий ждал ещё.

Опять принесли квитанцию, уже на белой бумаге, о том, что Внутренней Тюрьмой МГБ СССР принято от Володина И.А. 123 (сто двадцать три) рубля.

И снова пришли — лицо опять новое — мужчина в синем халате поверх дорогого коричневого костюма.

Каждый раз, принося квитанцию, спрашивали его фамилию. И теперь спросили всё снова: Фамилия? Имя, отчество? Год рождения? Место рождения? — после чего пришедший приказал:

— Слегка!

— Что слегка? — оторопел Иннокентий.

— Ну, слегка, без вещей! Руки назад! — в коридоре все команды подавались вполголоса, чтоб не слышали другие боксы.

Щёлкая языком всё для той же невидимой собаки, мужчина в коричневом костюме провёл Иннокентия через главную выходную дверь ещё каким-то коридором в большую комнату уже не тюремного типа — со шторами, задёрнутыми на окнах, с мягкой мебелью, письменными столами. Посреди комнаты Иннокентия посадили на стул. Он понял, что его сейчас будут допрашивать.

Отрицать! Всё начисто отрицать! Изо всех сил отрицать!

Но вместо этого из-за портьеры выкатили полированный коричневый ящик фотокамеры, с двух сторон включили на Иннокентия яркий свет, сфотографировали его один раз в лоб, другой раз в профиль.

Приведший Иннокентия начальник, беря поочерёдно каждый палец его правой руки, вываливал его мякотью о липкий чёрный валик, как бы обмазанный штемпельною краской, отчего все пять пальцев стали чёрными на концах. Затем, равномерно раздвинув пальцы Иннокентия, мужчина в синем халате с силой прижал их к бланку и оторвал резко. Пять чёрных отпечатков с белыми извилинами остались на бланке.

Ещё так же измазали и отпечатали пальцы левой руки.

Выше отпечатков на бланке было написано:

Володин Иннокентий Артемьевич, 1919, г. Ленинград,

а ещё выше, — жирными черными типографскими знаками:

ХРАНИТЬ ВЕЧНО!

Прочтя эту формулу, Иннокентий содрогнулся. Что-то мистическое было в ней, что-то выше человечества и Земли.

Мылом, щёточкой и холодной водой ему дали оттирать пальцы над раковиной. Липкая краска плохо поддавалась этим средствам, холодная вода скатывалась с неё. Иннокентий сосредоточенно тёр на-

мыленной щёткой кончики пальцев и не спрашивал себя, насколько логично, что баня была до снятия отпечатков.

Его неустоявшийся измученный мозг охватила эта подавляющая космическая формула:

ХРАНИТЬ ВЕЧНО!

93

Никогда в жизни у Иннокентия не было такой протяжной бесконечной ночи. Он всю напролёт её не спал, и так много самых разных мыслей протолпилось сквозь его голову за эту ночь, как в обыденной спокойной жизни не бывает за месяц. Был простор поразмыслить и во время долгого спарывания золотого шитья с дипломатического мундира, и во время полуголого сидения в бане и во многих боксах, сменённых за ночь.

Его поразила верность эпитафии: «Хранить вечно».

В самом деле, докажут или не докажут, что по телефону говорил именно он, — но, раз арестовав, его отсюда уже не выпустят. Лапу Сталина он знал — она никого не возвращала к жизни. Впереди был или расстрел или пожизненное одиночное заключение. Что-нибудь остужающее кровь, вроде Сухановского монастыря, о котором ходят легенды. Это будет не шлиссельбургский приют для престарелых — запретят днём сидеть, запретят годами говорить — и никто никогда не узнает о нём, и сам он не будет знать ни о чём в мире, хотя бы целые континенты меняли флаги или высадились бы люди на Луне. А в последний день, когда сталинскую банду заарканят для второго Нюрнберга — Иннокентия и его безгласных соседей по монастырскому коридору перестреляют в одиночках, как уже расстреливали, отступая, коммунисты — в 41-м, нацисты — в 45-м.

Но разве он боится смерти?

С вечера Иннокентий был рад всякому мелкому событию, всякому открыванию двери, нарушающему его одиночество, его непривычное сидение в западне. Сейчас наоборот — хотелось додумать некую важную, ещё не уловленную им мысль — и он рад был, что его отвели в прежний бокс и долго не беспокоили, хотя непрестанно подсматривали в глазок.

Вдруг будто снялась тонкая пелена с мозга, — и отчётливо само проступило, что он думал и читал днём:

«Вера в бессмертие родилась из жажды ненасытных людей. Мудрый найдёт срок нашей жизни достаточным, чтоб обойти весь круг достижимых наслаждений...»

Ах, разве о наслаждениях речь! Вот у него были деньги, костюмы, почёт, женщины, вино, путешествия — но все эти наслаждения он бы швырнул сейчас в преисподнюю за одну только справедли-

вость! Дожить до конца этой шайки и послушать её жалкий лепет на суде!

Да, у него было столько благ! — но никогда не было самого бесценного блага: свободы говорить, что́ думаешь, свободы явного общения с равными по уму людьми. Неизвестных ни в лицо, ни по имени — сколько их было здесь, за кирпичными перегородками этого здания! И как обидно умереть, не обменявшись с ними умом и душой!

Хорошо сочинять философию под развесистыми ветками в недвижимые, застойно-благополучные эпохи!

Сейчас, когда не было карандаша и записной книжки, тем дороже ему казалось всё, что выплывало из тьмы памяти. Явственно вспомнилось:

«Не должно бояться телесных страданий. Продолжительное страдание всегда незначительно, значительное — непродолжительно.»

Вот, например, без сна, без воздуха сидеть сутки в таком боксе, где нельзя распрямить, вытянуть ног, это какое страдание — продолжительное или непродолжительное? незначительное или значительное? Или — десять лет в одиночке и ни слова вслух?..

Там, в комнате фотографии и дактилоскопии, Иннокентий заметил, что шёл второй час ночи. Сейчас, может быть, уже и третий. Вздорная мысль теперь вклинилась в голову, вытесняя серьёзные: его часы положили в камеру хранения, до конца завода они ещё будут идти, потом остановятся — и никто больше не будет их заводить, и с этим положением стрелок они до́ждутся или смерти хозяина или конфискации себя в числе всего имущества. Так вот интересно, сколько ж они будут тогда показывать?

А Дотти ждёт его в оперетту? Ждала... Звонила в министерство? Скорей всего, что нет: сразу же явились к ней с обыском. Огромная квартира! Там пятерым человекам не переворошить за ночь. А что найдут, дураки?..

Дотти не посадят — последний год врозь спасёт её.

Возьмёт развод, выйдет замуж.

А может и посадят. У нас всё возможно.

Тестя остановят по службе — пятно! То-то будет блеваться, отмежёвываться!

Все, кто знал советника Володина, верноподданно вычеркнут его из памяти.

Глухая громада задавит его — и никто на Земле никогда не узнает, как щуплый белотелый Иннокентий пытался спасти цивилизацию!

А хотелось бы дожить и узнать: чем всё это кончится?

Побеждает в истории всегда одна сторона, но никогда — идеи одной стороны. Идеи сливаются, у них своя жизнь. Победитель всегда мало, или много, или даже всё занимает у побеждённого.

Всё сольётся... «Пройдёт вражда племён.» Исчезнут государственные границы, армии. Созовут мировой парламент. Изберут президента планеты. Он обнажит голову перед человечеством и скажет:

— С вещами!

— А?..

— С вещами!

— С какими вещами?

— Ну, с барахлом.

Иннокентий поднялся, держа в руках пальто и шапку, особо милые ему теперь за то, что не попорчены были в прожарке. В раствор двери, отклоняя коридорного, проник смуглый лихой (где набирали этих гвардейцев? для каких тягот?) старшина с голубыми погонами и, сверяясь с бумажкой, спросил:

— Фамилия?

— Володин.

— Имя-отчество?

— Сколько раз можно?

— Имя-отчество?

— Иннокентий Артемьич.

— Год рождения?

— Девятьсот девятнадцатый.

— Место рождения?

— Ленинград.

— С вещами. Пройдите!

И пошёл вперёд, условно щёлкая.

На этот раз они вышли во двор, в черноте крытого двора опустились ещё на несколько ступенек. Не ведут ли расстреливать? — вступила мысль. Говорят, расстреливают всегда в подвалах и всегда ночью.

В эту трудную минуту пришло такое спасительное возражение: а зачем бы тогда выдавали три квитанции? Нет, не расстрел ещё!

(Иннокентий ещё верил в мудрую согласованность всех щупалец МГБ друг с другом.)

Всё так же щёлкая языком, лихой старшина завёл его в здание и через тёмный тамбур вывел к лифту. Какая-то женщина с кипой выглаженного серовато-желтоватого белья стояла сбоку и смотрела, как Иннокентия вводили в лифт. И хотя эта молодая прачка была некрасива, низка по общественному положению и смотрела на Иннокентия тем же непроницаемым, равнодушно-каменным взглядом, как и все механические кукло-люди Лубянки, но Иннокентию при ней, как и при девушках из камер хранения, приносивших розовую, голубую и белую квитанции, стало больно, что она видит его в таком растерзанном и жалком состоянии и может подумать о нём с нелестным сожалением.

Впрочем, и эта мысль исчезла так же быстро, как и пришла. Всё равно ведь —«хранить вечно!»...

Старшина закрыл лифт и нажал кнопку этажа — но номеров этажей не было обозначено.

Едва загудели моторы лифта — Иннокентий сразу узнал в этом гудении ту таинственную машину, которая перемалывала кости за стеной его бокса.

И улыбнулся безрадостно.

Хотя эта приятная ошибка теперь ободрила его.

Лифт остановился. Старшина вывел Иннокентия на лестничную площадку и сразу же — в широкий коридор, где мелькало много надзирателей с небесными погонами и белыми лычками. Один из них запер Иннокентия в бокс без номера, на этот раз просторный, с десяток квадратных метров, неярко освещённый, со стенами, сплошь выкрашенными оливковой масляной краской. Бокс этот или камера вся была пуста, казалась не очень чистой, в ней был истёртый цементный пол, к тому же и прохладно, это усиливало общую неприютность. Был и здесь глазок.

Снаружи сдержанно доносилось многое шарканье сапог по полу. Видимо надзиратели непрерывно приходили и уходили. Внутренняя тюрьма жила большой ночной жизнью.

Раньше Иннокентий думал, что будет постоянно помещён в тесном ослепительном жарком боксе № 8 — и терзался оттого, что там негде протянуть ног, свет режет глаза и дышать тяжело. Теперь он понял свою ошибку, понял, что будет жить в этом просторном неприютном безномерном боксе — и страдал, что ноги будут зябнуть от цементного пола, постоянное снование и шарканье за дверьми будет раздражать, а недостаток света — угнетать. Как здесь необходимо окно! — хоть самое бы маленькое, хоть такое, какое устраивают в оперных декорациях тюремных подвалов, — но и его не было.

Из эмигрантских мемуаров нельзя было себе этого представить: коридоры, лестницы, множество дверей, ходят офицеры, сержанты, обслуга, снуёт в разгаре ночи Большая Лубянка, но нигде больше нет ни одного арестанта, нельзя встретить себе подобного, нельзя услышать неслужебного слова, да и служебных почти не говорят. И кажется, что всё огромное министерство не спит в эту ночь из-за одного тебя, одним тобою и твоим преступлением занято.

Уничтожающая идея первых часов тюрьмы состоит в том, чтобы отобщить новичка от других арестантов, чтоб никто не подбодрил его, чтоб на него одного давило тупеё, поддерживающее весь разветвлённый многотысячный аппарат.

Мысли Иннокентия приняли страдательное направление. Его телефонный звонок казался ему уже не великим поступком, который будет вписан во все истории XX века, а необдуманным и главное бесцельным самоубийством. Он так и слышал надменно-небрежный

голос американского атташе, его нечистое произношение: «А кто такой *ви*?» Дурак, дурак! Он, наверное, и послу не доложил. И всё — впустую. О, каких дураков выращивает сытость!

Теперь было где походить по боксу, но у истомлённого, изведенного процедурами Иннокентия не было на это сил. Он прошёлся раза два, сел на лавку и плетьми опустил руки мимо ног.

Сколько великих беззвестных потомству намерений погребали в себе эти стены, запирали в себе эти боксы!

Проклятая, проклятая страна! Всё горькое, что глотает она, оказывается лекарством лишь для других. Ничего для себя!..

Счастливая какая-нибудь Австралия! — забралась к чёрту на кулижки и живёт себе без бомбёжек, без пятилеток, без дисциплины.

И зачем он погнался за атомными ворами? — уехал бы в Австралию и остался бы там частным лицом!..

Это сегодня бы или завтра Иннокентий вылетал бы в Париж, а там в Нью-Йорк!..

И когда он представил себе не поездку за границу вообще, а именно в эти наступающие сутки — у него перехватило дух от недостижимости свободы. Впору было стены камеры царапать ногтями, чтоб дать выход досаде!..

Но от этого нарушения тюремных правил его предохранило открытие двери. Снова проверили его «установочные данные», на что Иннокентий отвечал как во сне, и велели выйти «с вещами». Так как Иннокентий несколько озяб в боксе, то шапка была у него на голове, а пальто наброшено на плечи. Он так и хотел выйти, не ведая, что это давало ему возможность нести под пальто два заряженных пистолета или два кинжала. Ему скомандовали надеть пальто в рукава и лишь таким образом обнажившиеся кисти рук взять за спину.

Опять защёлкали языком, повели на ту лестницу, где ходил лифт, и по лестнице вниз. Самое интересное в положении Иннокентия было — запоминать, сколько поворотов он сделал, сколько шагов, чтобы потом на досуге понять расположение тюрьмы. Но в ощущении мира в нём свершился такой передвиг, что шёл он в бесчувствии и не заметил, на много ли они спустились — как вдруг из какого-то ещё коридора навстречу им показался другой рослый надзиратель, так же напряжённо щёлкающий, как и тот, что шёл перед Иннокентием. Надзиратель, ведший Иннокентия, порывисто отворил дверь зелёной фанерной будки, загромождавшей и без того тесную площадку, затолкнул туда Иннокентия и притворил за собою дверцу. Внутри было только-только где стать, и шёл рассеянный свет с потолка: будка, оказалось, не имела крыши, и туда попадал свет лестничной клетки.

Естественным человеческим порывом было бы — громко протестовать, но Иннокентий, уже привыкая к непонятным передрягам и

втягиваясь в лубянскую молчанку, был безмолвно покорен, то есть делал то самое, что и требовалось тюрьме.

Ах, вот отчего, наверно, все на Лубянке щёлкали: этим предупреждали, что ведут арестованного. Нельзя было арестанту встретиться с арестантом! Нельзя было в его глазах черпнуть себе поддержки!..

Того, другого, провели — Иннокентия выпустили из будки и повели дальше.

И здесь-то, на ступенях последнего пройденного им марша, Иннокентий заметил: к а к были стёрты ступени! — ничего похожего нигде за всю жизнь он не видел. От краёв к середине они были вытерты овальными ямами на половину толщины.

Он содрогнулся: за тридцать лет сколько ног! сколько раз! должны были здесь прошаркать, чтобы так истереть камень! И из каждых двух шедших один был надзиратель, а другой — арестант.

На площадке этажа была запертая дверь с обрешеченной форточкой, плотно закрытой. Здесь Иннокентия постигла ещё новая участь — быть поставленным лицом к стене. Всё же краем глаза он видел, как сопровождающий позвонил в электрический звонок, как сперва недоверчиво открылась, потом закрылась форточка. Затем громкими поворотами ключа отперлась дверь, и некто вышедший, не видимый Иннокентию, стал его спрашивать:

— Фамилия?

Иннокентий естественно оглянулся, как привыкли люди смотреть друг на друга при разговоре, — и успел разглядеть какое-то не мужское и не женское лицо, пухлое, мягкомясое, с большим красным пятном от обвара, а пониже лица — золотые погоны лейтенанта. Но тот одновременно крикнул на Иннокентия:

— Не оборачиваться! —
и продолжал всё те же надоевшие вопросы, на которые Иннокентий отвечал куску белой штукатурки перед собой.

Убедясь, что арестант продолжает выдавать себя за того, кто обозначен в карточке, и продолжает помнить свой год и место рождения, мягкомясый лейтенант сам позвонил в дверь, из осторожности тем временем запертую за ним. Снова недоверчиво оттянули форточный задвиг, в отверстие посмотрели, форточку задвинули и громкими поворотами отперли дверь.

— Пройдите! — резко сказал мягкомясый краснообваренный лейтенант.

Они вступили внутрь — и дверь за ними громкими поворотами заперлась.

Иннокентий едва успел увидеть расходящийся натрое — вперёд, вправо и влево, сумрачный коридор со многими дверьми и слева у входа — стол, шкафчик с гнёздами и ещё новых надзирателей, — как лейтенант негромко, но явственно скомандовал ему в тишине:

— Лицом к стене! Не двигаться!

Глупейшее состояние — близко смотреть на границу оливковой панели и белой штукатурки, чувствуя на своём затылке несколько пар враждебных глаз.

Очевидно, разбирались с его карточкой, потом лейтенант скомандовал почти шёпотом, ясным в глубокой тишине:

— В третий бокс!

От стола отделился надзиратель и, ничуть не звеня ключами, пошёл по полстяной дорожке правого коридора.

— Руки назад. Пройдите! — очень тихо обронил он.

По одну сторону их хода тянулась та же равнодушная оливковая стена в три поворота, с другой минуло несколько дверей, на которых висели зеркальные овалики номеров:

«47» «48» «49»,

а под ними — навесы, закрывающие глазки. С теплотой от того, что так близко — друзья, Иннокентий ощутил желание отодвинуть навесик, прильнуть на миг к глазку, посмотреть на замкнутую жизнь камеры, — но надзиратель быстро увлекал вперёд, а главное — Иннокентий уже успел проникнуться тюремным повиновением, хотя чего ещё можно было бояться человеку, вступившему в борьбу вокруг атомной бомбы?

Несчастным образом для людей и счастливым образом для правительств человек устроен так, что пока он жив, у него всегда есть ещё что отнять. Даже пожизненно-заключённого, лишённого движения, неба, семьи и имущества, можно, например, перевести в мокрый карцер, лишить горячей пищи, бить палками — и эти мелкие последние наказания так же чувствительны человеку, как прежнее низвержение с высоты свободы и преуспеяния. И чтобы избежать этих досадных последних наказаний, арестант равномерно выполняет ненавистный ему унизительный тюремный режим, медленно убивающий в нём человека.

Двери за поворотом пошли тесно одна к другой, и зеркальные овалики на них были:

«1» «2» «3».

Надзиратель отпер дверь третьего бокса и движением, несколько комичным здесь, — широким радушным взмахом отпахнул её перед Иннокентием. Иннокентий заметил эту комичность и внимательно посмотрел на надзирателя. Это был приземистый парень с чёрными гладкими волосами и неровными, как будто косым ударом сабли прорезанными глазами. Вид его был недобр, не улыбались ни губы, ни глаза — но из десятков лубянских равнодушных лиц, ви-

денных в эту ночь, злое лицо последнего надзирателя чем-то нравилось.

Запертый в боксе, Иннокентий огляделся. За ночь он мог себя считать уже специалистом по боксам, посравнив несколько. Этот бокс был божеский: три с половиной ступни в ширину, семь с половиной в длину, с паркетным полом, почти весь занят длинной и неузкой деревянной скамьёй, вделанной в стену, а у самой двери стоял невделанный деревянный шестигранный столик. Бокс был, конечно, глухой, без окон, только чёрная решёточка отдушины высоко вверху. Ещё бокс был очень высок — метра три с половиной, все эти метры были — белёные стены, сверкающие от двухсотваттной лампочки в проволочном колпаке над дверью. От лампочки в боксе было тепло, но больно глазам.

Арестантская наука — из тех, которые усваиваются быстро и прочно. На этот раз Иннокентий не обманывался: он не надеялся долго остаться в этом удобном боксе, но тем более, увидев длинную голую скамью, бывший неженка, час от часу перестающий быть неженкой, понял, что его первая и главная сейчас задача — поспать. И как зверёныш, не напутствуемый матерью, под нашёптывание собственной природы узнаёт все нужные для себя повадки, так и Иннокентий быстро изловчился простелить на лавке пальто, собрать каракулевый воротник и подвёрнутые рукава комом — так, что образовалась подушка. И тотчас лёг. Ему показалось очень удобно. Он закрыл глаза и приготовился спать.

Но уснуть не мог! Ему так хотелось спать, когда не было для этого никакой возможности! Но он прошёл насквозь все стадии усталости, и дважды уже прерывал сознание одномиговой дремотой — и вот наступила возможность сна — а сна не было! Непрерывно обновляемое в нём возбуждение расколыхалось и не укладывалось никак. Отбиваясь от предположений, сожалений и соображений, Иннокентий пытался дышать равномерно и считать. Очень уж обидно не заснуть, когда всему телу тепло, рёбрам гладко, ноги вытянуты сполна и надзиратель почему-то не будит!

Так пролежал он с полчаса. Уже начинала, наконец, утрачиваться связность мыслей, и из ног поднималась по телу сковывающая вязкая теплота.

Но тут Иннокентий почувствовал, что заснуть с этим сумасшедше-ярким светом нельзя. Свет не только проникал оранжевым озарением сквозь закрытые веки — он ощутимо, с невыносимою силой давил на глазное яблоко. Это давление света, никогда прежде Иннокентием не замеченное, сейчас выводило его из себя. Тщетно переворачиваясь с боку на бок и ища положения, когда бы свет не давил, — Иннокентий отчаялся, приподнялся и спустил ноги.

Щиток его глазка часто отодвигался, он слышал шуршание, — и при очередном отодвиге быстро поднял палец.

Дверь отперлась совсем бесшумно. Косенький надзиратель молча смотрел на Иннокентия.

— Я вас прошу, выключите лампу! — умоляюще сказал Иннокентий.

— Нельзя, — невозмутимо ответил косенький.

— Ну, тогда замените! Вверните лампочку поменьше! Зачем же такая большая лампа на такой маленький... бокс?

— Разговаривайте тише! — возразил косенький очень тихо. И, действительно, за его спиной могильно молчал большой коридор и вся тюрьма. — Горит, какая положено.

И всё-таки было что-то живое в этом мёртвом лице! Исчерпав разговор и угадывая, что дверь сейчас закроется, Иннокентий попросил:

— Дайте воды напиться!

Косенький кивнул и бесшумно запер дверь. Неслышно было, как по дерюжной дорожке он отошёл от бокса, как вернулся — чуть звякнул вставляемый ключ, — и косенький стоял в двери с кружкой воды. Кружка, как и на первом этаже тюрьмы, была с изображением кошечки, но не в очках, без книжки и без птички. Иннокентий с удовольствием отпил и в передышке посмотрел на неуходившего надзирателя. Тот переступил одной ногой через порог, прикрыл дверь, насколько позволяли его плечи, и, совершенно неуставно подморгнув, спросил тихо:

— Ты кем был?

Как необычно это звучало! — человеческое обращение, первое за ночь! Потрясённый живым тоном вопроса, тихостью утаенного от начальства, и затягиваемый этим непреднамеренным безжалостным словечком «был», вступая с надзирателем как бы в заговор, Иннокентий шёпотом сообщил:

— Дипломатом. Государственным советником.

Косенький сочувственно покивал и сказал:

— А я был — матрос Балтийского флота! — помедлил. — За что ж тебя?

— Сам не знаю, — насторожился Иннокентий. — Ни с того, ни с сего.

Косенький сочувственно кивал.

— Так все сначала говорят, — подтвердил он. И неприлично добавил: — А сходить по... не хочешь?

— Нет ещё, — отклонил Иннокентий, по слепоте новичка не зная, что сделанное ему предложение было наибольшей льготой, доступной власти надзирателя, и одним из величайших благ на земле, вне расписания не доступных арестанту.

После этого содержательного разговора дверь затворилась, и Иннокентий снова вытянулся на скамье, тщетно борясь с давлением света сквозь беззащитные веки. Он пытался прикрыть веки рукой — но

затекала рука. Он догадался, что очень удобно было бы свернуть жгутиком носовой платок и прикрыть им глаза — но где же был носовой платок?.. Остался не поднятым с пола... Какой он был глупый щенок вчера вечером!

Мелкие вещи — носовой ли платок, пустая ли спичечная коробка, суровая нитка или пластмассовая пуговица — это теснейшие друзья арестанта! Всегда наступит момент, когда кто-то из них станет незаменим — и выручит!

Вдруг дверь открылась. Косенький из охапки в охапку передал Иннокентию полосато-красный ватный матрас. О, чудо! Лубянка не только не мешала спать — она заботилась о сне арестанта!.. В перегнутый матрас была вложена маленькая перяная подушка, наволочка, простыня — обе со штампом: «Внутренняя тюрьма», и даже серое одеяльце.

Блаженство! Вот когда он поспит! Его первые впечатления от тюрьмы были слишком унылы! С предвкушением наслаждения (и впервые в жизни делая это собственными руками) он натянул наволочку на подушку, расстелил простыню (матрас несколько свешивался со скамьи из-за узости её), разделся, лёг, накрыл глаза рукавом кителя — ничто больше не мешало! — и уже начал отходить в сон, именно в тот сладкий сон, который назвали объятиями Морфея.

Но с грохотом отперлась дверь, и косенький сказал:

— Выньте руки из-под одеяла!

— Как вынуть?! — чуть не плача воскликнул Иннокентий.— Зачем вы меня разбудили? Мне так трудно было уснуть!

— Выньте руки! — хладнокровно повторил надзиратель. — Руки должны лежать открыто.

Иннокентий подчинился. Но не так оказалось просто заснуть, держа руки сверх одеяла. Это был дьявольский расчёт! Естественная укоренившаяся незамечаемая человеком привычка состоит в том, чтобы спрятать руки во сне, прижать их к телу.

Долго Иннокентий ворочался, прилаживаясь к ещё одному издевательству. Но, наконец, сон стал брать верх. Сладко-ядовитая муть уже заливала сознание.

Вдруг какой-то шум в коридоре донёсся до него. Начав издалека и всё приближаясь, хлопали соседние двери. Какое-то слово произносилось всякий раз. Вот — рядом. Вот открылась и дверь Иннокентия:

— Подъём! — непреклонно объявил матрос Балтийского флота.

— Как? Почему? — взревел Иннокентий. — Я всю ночь не спал!

— Шесть часов. Подъём, как закон! — повторил матрос и пошёл объявлять дальше.

И тут с особой густой силой Иннокентию захотелось спать. Он повалился в постель и сразу одеревянел.

Но тотчас же — разве минутки две он успел поспать — косенький с грохотом отпахнул дверь и повторил:

— Подъём! Подъём! Матрас — закатать в трубку!

Иннокентий приподнялся на локте и мутно посмотрел на своего мучителя, час назад казавшегося таким симпатичным.

— Но я не спал, поймите!

— Ничего не знаю.

— Ну, вот закачу матрас, встану — а что я буду делать?

— Ничего. Сидеть.

— Но — почему?

— Потому что шесть часов утра, вам говорят.

— Так я сидя усну!

— Не дам. Разбужу.

Иннокентий взялся за голову и закачался. Как будто сожаление мелькнуло по лицу косенького надзирателя.

— Умыться хотите?

— Ну, пожалуй, — раздумался Иннокентий и потянулся за одеждой.

— Руки назад! Пройдите!

Уборная была за поворотом. Отчаявшись уже заснуть в эту ночь, Иннокентий рискнул снять рубаху и обмыться холодной водой до пояса. Он вольно плескал на цементный пол просторной холодной уборной, дверь была заперта, и косенький не беспокоил его.

Может быть, он и человек, но почему он так коварно не предупредил заранее, что в шесть часов будет подъём?

Холодная вода выхлестнула из Иннокентия отравную слабость прерванного сна. В коридоре он попробовал заговорить о завтраке, но надзиратель оборвал. В боксе он ответил:

— Завтрака не будет.

— Как не будет? А что же будет?

— В восемь утра будет пайка, сахар и чай.

— Что такое пайка?

— Хлеб значит.

— А когда же завтрак?

— Не положено. Обед сразу.

— И я всё время буду сидеть?

— Ну, хватит болтать!

Он уже закрыл дверь до щели, как Иннокентий успел поднять руку.

— Ну, что ещё? — распахнулся матрос Балтийского флота.

— У меня пуговицы обрезали, подкладку вспороли — кому отдать пришить?

— Сколько пуговиц?

Пересчитали.

Дверь заперлась, вскоре отперлась опять. Косенький протянул иг-

лу, с десяток отдельных кусков ниток и несколько пуговиц разного размера и материала — костяные, пластмассовые, деревянные.

— Куда ж они годятся? У меня разве такие срезали?

— Берите! И этих нет! — прикрикнул косенький.

И Иннокентий первый раз в жизни начал шить. Он не сразу догадался, как крепить нитку на конце, как вести стежки, как кончать пришивание пуговицы. Не пользуясь тысячелетним опытом человечества, Иннокентий сам изобрёл, как надо шить. Он много раз укололся, от чего нежные оконечности его пальцев стали болеть. Он долго пришивал подкладку мундира, вправлял выпотрошенную вату пальто. Иные пуговицы он пришил не на тех местах, так что полы его мундира взморщились.

Но неторопливый требующий внимания труд не только скрал время, а ещё и совершенно успокоил Иннокентия. Внутренние движения его упорядочились, улеглись, не было больше ни страха, ни угнетённости. Ясно представилось, что даже это гнездо легендарных ужасов — тюрьма Большая Лубянка — не страшна, что и здесь живут люди (как хотелось бы с ними встретиться!). В человеке, не спавшем ночь, не евшем, с жизнью, переломленной в десяток часов, открывалось высшее проникновение, открывалось то второе дыхание, которое возвращает каменеющему тѐлу атлета неутомимость и свежесть.

Надзиратель, уже другой, отобрал иголку.

Затем принесли полукилограммовый кусок чёрного хлеба с треугольным довеском и двумя кусочками пиленого сахара.

Вскоре из чайника в кружку с кошечкой налили окрашенной горячей жидкости и пообещали добавки.

Всё это значило: восемь часов утра двадцать седьмого декабря.

Иннокентий бросил весь дневной сахар в кружку, хотел, опростившись, размешать пальцем, но палец не терпел кипятка. Тогда, помешивая вращением кружки, он с наслаждением выпил (есть не хотелось нисколько), поднятием руки попросил ещё.

И вторую кружку, уже без сахара, но обострённо ощущая плохонький чайный аромат, Иннокентий с дрожью счастья втянул в себя.

Мысли его просветлились до ясности, давно не бывалой.

В тесном проходе между скамьёй и противоположной стеной, цепляя за скатанный в трубку матрас, он стал ходить в ожидании боя — три крохотных шага вперёд, три крохотных шага назад.

Ему вообразилось столкновение, сшибка американской статуи Свободы и нашей мухинской, вертящейся, столько раз повторенной в фильмах. И туда, на расплющивание, в самое страшное место, сунулся он позавчера.

И — не мог иначе. Безучастным остаться он не мог.

Выпало это ему...

Как это говорил дядя Авенир? как это Герцен говорил: «Где границы патриотизма? Почему любовь к родине...?»

Дядю Авенира ему сейчас было всего важней и теплей вспоминать. Сколько мужчин и женщин он почасту встречал многими годами, дружил, делил удовольствия — а тверской дядюшка из смешного домика, два дня виденный, — был ему тут, на Лубянке, самый нужный. Изо всей жизни — главный человек.

Чуть похаживая в тупичке на семь ступней, Иннокентий старался больше вспомнить, что говорил ему тогда дядя. Вспоминалось. Но лезло почему-то:

«Внутренние чувства удовольствия и неудовольствия суть высшие критерии добра и зла».

Это — не дядя. Это — глупое что-то. Ах, это Эпикур, вчера понять не мог. А сейчас ясно: значит, то, что мне нравится — то добро, а что не нравится мне — то зло. Например, Сталину приятно убивать — значит, для него это добро? А нам сесть в тюрьму за справедливость не приносит же удовольствия, значит — это зло?

И как мудро кажется, когда этих философов читаешь на воле! Но сейчас добро и зло для Иннокентия вещно обособились и зримо разделились этой светло-серой дверью, этими оливковыми стенами, этой первой тюремной ночью.

С высоты борьбы и страдания, куда он вознёсся, мудрость великого материалиста оказалась лепетом ребёнка, если не компасом дикаря.

Загремела дверь.

— Фамилия? — круто бросил ещё новый надзиратель восточного типа.

— Володин.

— На допрос! Руки назад!

Иннокентий взял руки назад и с запрокинутой головой, как птица пьёт воду, вышел из бокса.

Почему любовь к родине надо распростра...?

94

А на шарашке тоже было время завтрака и утреннего чая.

День этот, не предвещавший с утра ничего особенного, отмечен был сперва только придирчивостью старшего лейтенанта Шустермана: он готовился к сдаче смены и старался помешать арестантам спать после подъёма. И прогулка была неладная: после вчерашнего таяния взял ночью морозец — и прогулочные торёные дорожки обняла гололедица. Многие зэки выходили, делали один круг, оскальзаясь, и возвращались в тюрьму. В камерах же зэки, сидевшие на кроватях кто внизу, а кто, свесив или поджав ноги, вверху, не спе-

шили вставать, а тёрли грудь, зевали, начинали «с утра пораньше» невесело шутить друг над другом, над своей злополучной судьбой, да рассказывать сны — любимое арестантское занятие.

Но хотя среди этих снов были и переход мутного потока по мостику, и натягивание на себя длинных сапог — не было, однако, сна, который бы ясно предсказывал гуртовой этап.

Сологдин с утра, как обычно, ходил по дрова. Он и ночью держал окно приотворенным, а уходя на дрова, отворил его ещё шире.

Рубин, головой лежавший к тому же окну, не говорил с Сологдиным ни слова. Он и сегодня ночью страдал бессонницей, лёг поздно, ощутил теперь холодную тягу из окна, — но не стал вмешиваться в действия обидчика, а надел меховую шапку со спущенными ушами, телогрейку, в таком виде укрылся с головой одеялом и лежал подобранным кулём, не вставая на завтрак, пренебрегая увещеваниями Шустермана и общим шумом в комнате, — стараясь дотянуть часы сна.

Потапов из первых встал, гулял, из первых позавтракал, уже попил чаю, уже заправил койку в жёсткий параллелепипед, сидел читал газету — но душой рвался на работу (ему предстояло сегодня градуировать интересный прибор, им самим сделанный).

Каша на завтрак была пшённая, поэтому многие завтракать не шли.

Герасимович, напротив, долго сидел в столовой, аккуратно и неторопливо вкладывая в рот маленькие кванты каши. Невозможно было со стороны предположить в нём теоретика дворцового переворота.

Из другого угла полупустой столовой Нержин глядел на него и размышлял, верно ли отвечал ему вчера. Сомнение есть добросовестность познания, но до какого же рубежа отступать в сомнении? Действительно, если нигде в мире не останется свободного слова, «Таймс» будет послушно перепечатывать «Правду», негры с Замбези — подписываться на заём, луарские колхозники — гнуться за трудодни, партийные хряки — отдыхать за десятью заборами в калифорнийских садах — для чего тогда останется жить?

До каких же пор уклоняться за «не знаю»?

Вяло отзавтракав, Нержин взобрался на последние пятнадцать свободных минут к себе на верхнюю койку, лёг и смотрел в купол потолка.

В комнате продолжалось обсуждение события с Руськой. Ночевать он не приходил и уже точно, что был арестован. В тюремном штабе содержалась маленькая тёмная клетушка, там его заперли.

Говорили не вполне открыто, не называли его вслух двойником, но подразумевали. Говорили в том смысле, что *паять* ему срока уже некуда — но не переквалифицировали б ему, гады, двадцать пять ИТЛ на двадцать пять одиночного (в тот год уже строились

новые тюрьмы из камер-одиночек и всё больше входило в моду одиночное заключение). Конечно, Шикин не станет оформлять дело на двойничество. Но не обязательно же обвинять человека именно в том, в чём он виноват: если он белобрысый, можно обвинить, что он чернявый — а дать приговор такой же, какой дают за белобрысого.

Глеб не знал, далеко ли зашло у Руськи с Кларой, и надо ли, осмелиться ли успокоить её? И как?

Рубин сбросил одеяло и предстал под общий хохот в меховой шапке и в телогрейке. Смех лично над собой он, впрочем, сносил всегда безобидно, но не терпел смеха над социализмом. Сняв шапку, но оставаясь в телогрейке и не спуская ног на пол для одевания, так как это не имело теперь большого смысла (сроки прогулки, умывания и завтрака всё равно были упущены), — Рубин попросил налить ему стакан чая — и, сидя в постели, со всклоченной бородой, бесчувственно вкладывал в рот белый хлеб с маслом и вливал горячую жидкость, — сам же, не продравши глаз, ушёл в чтение романа Эптона Синклера, который держал одной рукой рядом со стаканом. В настроении он был самом мрачном.

По шарашке уже шёл утренний обход. Заступал младшина. Он считал головы, а объявления делал Шустерман. Войдя в полукруглую комнату, Шустерман, как и в предыдущих, объявил:

— Внимание! Заключённым объявляется, что после ужина никто не будет допускаться на кухню за кипятком, — и по этому вопросу не стучать и не вызывать дежурного!

— Это ч ь ё распоряжение? — бешено взвопил Прянчиков, выскакивая из пещеры составленных двухэтажных коек.

— Начальника тюрьмы, — веско ответил Шустерман.

— Когда оно сделано??

— Вчера.

Прянчиков потряс над головой кулаками на тонких худых руках, словно призывая в свидетели небо и землю.

— Это не может быть!! — протестовал он. — В субботу вечером мне сам министр Абакумов обещал, что по ночам кипяток будет! Это по логике вещей! Ведь мы работаем до двенадцати ночи!

Раскат арестантского хохота был ему ответом.

— А ты не работай до двенадцати, му...к, — пробасил Двоетёсов.

— Мы не можем держать ночного повара, — рассудительно объяснил Шустерман.

И затем, взяв из рук младшины список, Шустерман гнетущим голосом, от которого сразу всё стихло, объявил:

— Внимание! Сейчас на работу не выходят и собираются на этап... Из вашей комнаты: Хоробров! Михайлов! Нержин! Сёмушкин!.. Готовьте казённые вещи к сдаче!

И проверяющие вышли.

Но четыре выкрикнутых фамилии как вихрем закружили всё в комнате.

Люди покинули чай, оставили недоеденные бутерброды и бросились друг ко другу и к отъезжающим. Четыре человека из двадцати пяти — это была необычная, обильная жатва жертв. Заговорили все разом, оживлённые голоса смешивались с упавшими и презрительно-бодрыми. Иные встали во весь рост на верхних койках, размахивали руками, другие взялись за голову, третьи что-то горячо доказывали, бия себя в грудь, четвёртые уже вытряхивали подушки из наволочек, а в общем вся комната представляла собой такой разноречивый разворох горя, покорности, озлобления, решимости, жалоб и расчётов, и всё это сгромождено в тесноте и в несколько этажей, что Рубин встал с кровати, как был, в телогрейке, но в кальсонах, и зычно крикнул:

— Исторический день шарашки! Утро стрелецкой казни!

И развёл руками перед общей картиной.

Оживлённый вид его вовсе не значил, что он рад этапу. Он равно бы смеялся и над собственным отъездом. Перед красным словцом у него не устаивала ни одна святыня.

Этап — это такая же роковая грань в жизни арестанта, как в жизни солдата — ранение. И как ранение может быть лёгким или тяжёлым, излечимым или смертельным, так и этап может быть близким или далёким, развлечением или смертью.

Когда читаешь описание мнимых ужасов каторжной жизни у Достоевского, — поражаешься: как покойно им было отбывать срок! ведь за десять лет у них не бывало ни одного этапа!

Зэк живёт на одном и том же постоянном месте, привыкает к своим товарищам, к своей работе, к своему начальству. Как бы ни был он чужд стяжанию, неизбежно он обрастает: у него появляется или присланный с воли фибровый или сработанный в лагере фанерный чемодан. У него появляются: рамочка, куда он вставляет фотографию жены или дочери; тряпичные тапочки, в которых он ходит после работы по бараку, а на день прячет от обыска; возможно даже, что он закосил лишние хлопчатобумажные брючки или не сдал старые ботинки — и всё это он перепрятывает от инвентаризации к инвентаризации. У него есть даже своя иголка, его пуговицы надёжно пришиты, и ещё у него хранится пара запасных. В кисете у него водится табачок.

А если он *фраер* — он держит ещё зубной порошок и иногда чистит зубы. У него накопляется пачка писем от родных, заводится собственная книга, обмениваясь которой, он прочитает все книги лагеря.

Но как гром ударяет над его маленькой жизнью этап — всегда

без предупреждения, всегда подстроенный так, чтобы застать зэка врасплох и в последнюю возможную минуту. И вот торопливо рвутся в очко уборной письма родных. И вот конвой — если этап предстоит телячьими красными вагонами — отрезает у зэка все пуговицы, а табак и зубной порошок высыпает на ветер, ибо ими в пути может быть ослеплён конвоир. И вот конвой — если этап будет пассажирскими вагон-заками — ожесточённо топчет чемоданы, не влезающие в узкую вагонную камеру, а заодно ломает и рамочку от фотографии. В обоих случаях отбирают книги, которых нельзя иметь в дороге, иголку, которой можно перепилить решётку и заколоть конвоира, отметают как хлам тряпичные тапочки и отбирают в пользу лагеря лишнюю пару брюк.

И очищенный от греха собственности, от наклонности к оседлой жизни, от тяготения к мещанскому уюту (справедливо заклеймённому ещё Чеховым), от друзей и от прошлого, зэк берёт руки за спину и в колонне по четыре («шаг вправо, шаг влево — конвой открывает огонь без предупреждения!»), окружённый псами и конвойными, идёт к вагону.

Вы все видели его в этот момент на наших железнодорожных станциях, — но спешили трусливо потупиться, верноподданно отвернуться, чтобы конвойный лейтенант не заподозрил вас в чём плохом и не задержал бы.

Зэк вступает в вагон — и вагон прицепляют рядом с почтовым. Глухо обрешеченный с обеих сторон, не просматриваемый с платформ, он идёт по мирному расписанию и везёт в своей замкнутой душной тесноте сотни воспоминаний, надежд и опасений.

Куда везут? Этого не объявляют. Что ждёт зэка на новом месте? Медные рудники? Лесоповал? Или заветная сельхоз-подкомандировка, где порой удаётся испечь картошечку и можно есть от пуза скотий турнепс? Скрутит ли зэка цынга и дистрофия от первого же месяца общих работ? Или ему посчастливится *дать лапу*, встретить знакомого — и он зацепится дневальным, санитаром или даже помощником каптёра? И разрешат ли на новом месте переписку? Или на много лет пресекутся от него письма, и родные причтут его к мертвецам?..

Может быть он не доедет до места назначения? В телячьем вагоне умрёт от дизентерии? оттого, что шесть суток эшелон будут гнать без хлеба? Или конвой забьёт его молотками за чей-то побег? Или в конце пути из нетопленной теплушки будут выбрасывать, как дрова, окоченевшие трупы зэков?

Красные эшелоны идут до СовГавани месяц...

Помяни, Господи, тех, кто не доехал!

И хотя с шарашки отпускали мягко, оставляя зэкам до первой тюрьмы даже бритвы — все эти вопросы с их вечной силой щемили

сердца тех двадцати арестантов, которые при утреннем обходе комнат во вторник были выкликнуты на этап.

Беззаботная полу-вольная жизнь шарашечных зэков для них кончилась.

95

Как ни был Нержин охвачен заботами этапа, — в нём вспыхнуло и обострилось настроение *оттянуть* на прощанье майора Шикина. И по звонку на работу, несмотря на приказ этим двадцати оставаться в общежитии и ждать надзирателя, он, как и все остальные девятнадцать, ринулся сквозь проходные двери. Взлетев на третий этаж, он постучал к Шикину. Ему велели войти.

Шикин сидел за столом угрюмый, тёмный. Что-то дрогнуло в нём со вчерашнего дня. Одной ногой он провёл над пропастью и знал теперь ощущение, когда не на что стать.

Но прямого и скорого выхода не имела его ненависть к этому мальчишке! Самое большее (и самое безопасное для себя), что мог сделать Шикин — это помотать Доронина по карцерам, сердечно нагадить ему в характеристику и отправить назад на Воркуту, где с такой характеристикой он попадёт в режимную бригаду — и вскоре подохнет. И результат будет тот же самый, что судить бы его и расстрелять.

Сейчас, с утра, он не вызвал Доронина на допрос потому, что ожидал разных протестов и помех со стороны отправляемых.

Он не ошибся. Вошёл Нержин.

Майор Шикин всегда не терпел этого худощавого неприязненного зэка с его неуклонно-твёрдой манерой держаться, с его дотошным знанием законов. Шикин давно уже уговаривал Яконова отправить Нержина на этап и сейчас со злорадным удовольствием посмотрел на враждебное выражение входящего.

У Нержина был природный дар не задумываясь сложить жалобу в немногочисленные разящие слова и произнести их единым духом в ту короткую секунду, когда открывается кормушка в двери камеры, или уместить на клочке промокательно-туалетной бумаги, выдаваемой в тюрьмах для письменных заявлений. За пять лет сидения он выработал в себе и особую решительную манеру разговаривать с начальством — то, что на языке зэков называется *культурно оттягивать*. Слова он употреблял только корректные, но высокомерно-иронический тон, к которому, однако, нельзя было придраться, был тоном разговора старшего с младшим.

— Гражданин майор! — заговорил он с порога. — Я пришёл получить незаконно отнятую у меня книгу. Я имею основания полагать, что шесть недель — достаточный при транспортных условиях

города Москвы срок, чтобы убедиться, что она допущена цензурой.

— Книгу? — поразился Шикин (потому что так быстро не нашёлся ничего умней). — Какую книгу?

— В равной мере, — сыпал Нержин, — я полагаю, что вы знаете, о какой книге речь. Об избранных стихах Сергея Есенина.

— Е-се-ни-на?! — будто только сейчас вспоминая и потрясённый этим крамольным именем, откинулся майор Шикин к спинке кресла. Седеющий ёжик его головы выражал негодование и отвращение. — Да как у вас язык поворачивается — спрашивать Е-се-ни-на?

— А почему бы и нет? Он издан у нас, в Советском Союзе.

— Этого мало!

— Кроме того, он издан в тысяча девятьсот сороковом году, то есть, не попадает в запретный период тысяча девятьсот семнадцатый тире тысяча девятьсот тридцать восьмой.

Шикин нахмурился.

— Откуда вы взяли такой период?

Нержин отвечал так уплотнённо, будто заранее выучил все ответы наизусть:

— Мне очень любезно дал разъяснения один лагерный цензор. Во время предпраздничного обыска у меня был отобран «Толковый словарь» Даля на том основании, что он издан в 1935 году и подлежит поэтому серьёзнейшей проверке. Когда же я показал цензору, что словарь есть фотомеханическая копия с издания 1881 года, цензор мне охотно книгу вернул и разъяснил, что против дореволюционных изданий возражений не имеется, ибо «враги народа ещё тогда не орудовали». И вот такая неприятность: Есенин издан в 1940-м.

Шикин солидно помолчал.

— Пусть так. Но вы, — внушительно спросил он, — вы — читали эту книгу? Вы — всю её читали? Вы можете письменно это подтвердить?

— Отбирать от меня подписку по статье девяносто пятой УК РСФСР у вас сейчас нет юридических оснований. Устно же подтверждаю: я имею дурную привычку читать те книги, которые являются моей собственностью, и, обратно, держать лишь те книги, которые я читаю.

Шикин развёл руками.

— Тем хуже для вас!

Он хотел выдержать многозначительную паузу, но Нержин заметал её словами:

— Итак, суммарно повторяю свою просьбу. Согласно седьмому пункту раздела Б тюремного распорядка верните мне незаконно отобранную книгу.

Подёргиваясь под этим потоком слов, Шикин встал. Когда он сидел за столом, большая голова его, казалось, принадлежала не мел-

кому человеку, — вставая же, он становился меньше, очень короткими выдавались и ноги его и руки. Темнолицый, он приблизился к шкафу, отпер и вынул малоформатный томик Есенина, осыпанный кленовыми листьями по суперобложке.

Несколько мест у него было заложено. По-прежнему не предлагая Нержину сесть, он удобно расположился в своём кресле и стал не торопясь просматривать по закладкам. Нержин тоже спокойно сел, опёрся руками о колени и неотступно-тяжёлым взглядом следил за Шикиным.

— Ну вот, пожалуйста, — вздохнул майор и прочёл бесчувственно, меся как тесто стихотворную ткань:

Неживые чужие ладони!
Этим песням при вас не жить.
Только будут колосья-кони
О хозяине старом тужить.

Это — о каком хозяине? Это — чьи ладони?

Арестант смотрел на пухлые белые ладони оперуполномоченного.

— Есенин был классово-ограничен и многого *недо*понимал, — поджатыми губами выразил он соболезнование. — Как Пушкин, как Гоголь...

Что-то послышалось в голосе Нержина, от чего Шикин опасливо на него взглянул. Ведь просто возьмёт и кинется на майора, ему сейчас нечего терять. На всякий случай Шикин встал и приоткрыл дверь.

— А это как понять? — прочёл Шикин, вернувшись в кресло:

Розу белую с чёрной жабой
Я хотел на земле повенчать...

И дальше тут... На что это намекается?

Вытянутое горло арестанта вздрогнуло.

— Очень просто, — ответил он. — Не пытаться примирять белую розу истины с чёрной жабой злодейства!

Чёрной жабой сидел перед ним короткорукий большеголовый чернолиций кум.

— Однако, гражданин майор, — Нержин говорил быстрыми, налезающими друг на друга словами, — я не имею времени входить с вами в литературные разбирательства. Меня ждёт конвой. Шесть недель назад вы заявили, что пошлёте запрос в Главлит. Посылали вы?

Шикин передёрнул плечами и захлопнул жёлтую книжечку.

— Я не обязан перед вами отчитываться. Книги я вам не верну. И всё равно вам её не дадут вывезти.

Нержин гневно встал, не отводя глаз от Есенина. Он представил себе, как эту книжечку когда-то держали милосердные руки жены и писали в ней:

«Так и все утерянное к тебе вернётся!»

Слова безо всякого усилия выстреливали из его губ:

— Гражданин майор! Я надеюсь, вы не забыли, как я два года требовал с министерства госбезопасности безнадёжно отобранные у меня польские злотые, и хоть двадцать раз усчитанные в копейки — всё-таки через Верховный Совет их получил! Я надеюсь, вы не забыли, как я требовал пяти граммов подболточной муки? Надо мной смеялись — но я их добился! И ещё множество примеров! Я предупреждаю вас, что эту книгу я вам не отдам! Я умирать буду на Колыме — и оттуда вырву её у вас! Я заполню жалобами на вас все ящики ЦК и Совета министров. Отдайте по-хорошему!

И перед этим обречённым, бесправным, посылаемым на медленную смерть зэком майор госбезопасности не устоял. Он, действительно, запрашивал Главлит и оттуда, к удивлению его, ответили, что книга формально не запрещена. Формально!! Верный нюх подсказывал Шикину, что это — оплошность, что книгу непременно надо запретить. Но следовало и поберечь своё имя от нареканий этого неутомимого склочника.

— Хорошо, — уступил майор. — Я вам её возвращаю. Но увезти её мы вам не дадим.

С торжеством вышел Нержин на лестницу, прижимая к себе милый жёлтый глянец суперобложки. Это был символ удачи в минуту, когда всё рушилось.

На площадке он миновал группу арестантов, обсуждавших последние события. Среди них (но так, чтоб не донеслось до начальства) ораторствовал Сиромаха:

— Что делают?! Та-ких ребят на этап посылают! За что? А Руську Доронина? Какой же гад его *заложил*, а?

Нержин спешил в Акустическую и думал, как побыстрей, пока к нему не приставят надзирателя, уничтожить свои записки. Полагалось этапируемых уже не пускать вольно ходить по шарашке. Лишь многочисленности этапа да, может быть, мягкости младшины с его вечными упущениями по службе обязан был Нержин своей последней короткой свободой.

Он распахнул дверь Акустической и увидел перед собой растворенные дверцы железного шкафа, а между ними — Симочку, снова в некрасивом полосатом платьице и с серым козьим платком на плечах.

Она не увидела, но почувствовала Нержина и смешалась, замерла, как бы раздумывая, что именно ей взять из шкафа.

Он не думал, не взвешивал — он вступил в закоулок между железными дверцами и шёпотом сказал:

— Серафима Витальевна! После вчерашнего — безжалостно обращаться к вам. Но труд многих лет моих гибнет. Мне его — сжечь? Вы не возьмёте?

Она уже знала об его отъезде. Она подняла печальные, не спавшие глаза и сказала:

— Дайте.

Кто-то входил, Нержин метнулся дальше, прошёл к своему столу и встретил майора Ройтмана.

Лицо Ройтмана было растеряно. С неловкой улыбкой он сказал:

— Глеб Викентьич! Как это досадно! Ведь меня не предупредили... Я понятия не имел... А сегодня уже ничего поправить нельзя.

Нержин поднял холодно-сожалеющий взгляд к человеку, которого до сегодняшнего дня считал искренним.

— Адам Вениаминович, ведь я здесь не первый день. Такие вещи без начальников лаборатории не делаются.

И стал разгружать ящики стола.

На лице Ройтмана выразилась боль:

— Но, поверьте, Глеб Викентьич, а я не знал, меня не спросили, не предупредили...

Он говорил это вслух при всей лаборатории. Капли пота выступили на его лбу. Он неосмысленно следил за сборами Нержина.

С ним и в самом деле не посоветовались.

— Материалы по артикуляции я сдам Серафиме Витальевне? — беззаботно спрашивал Нержин.

Ройтман, не ответив, медленно вышел из комнаты.

— Принимайте, Серафима Витальевна, — объявил Нержин и стал носить к её столу папки, подшивки, таблицы.

И в одну папку уже вложил своё сокровище — свои три блокнота. Но какой-то внутренний дух-советчик подтолкнул Нержина не делать этого.

Если даже теплы её протянутые руки — надолго ли хватит девичьей верности?

Он переложил блокноты в карман, а папки носил Симочке.

Горела Александрийская библиотека. Горели, но не сдавались, летописи в монастырях. И сажа лубянских труб — сажа от сжигаемых бумаг, бумаг, бумаг, падала на зэков, выводимых гулять в коробочку на тюремной крыше.

Может быть, великих мыслей сожжено больше, чем обнародовано... Если будет цела голова — неужели он не повторит?

Нержин тряхнул спичками, выбежал.

И через десять минут вернулся бледный, безразличный.

Тем временем в лабораторию пришёл Прянчиков.

— Да как это можно? — разорялся он. — Мы одеревянели! Мы

даже не возмущаемся! *Отправлять* на этап! Отправлять можно багаж, но кто дал право отправлять людей?!

Горячая проповедь Валентули встречала отклик в зэческих сердцах. Взбудораженные этапом, все зэки лаборатории не работали. Этап всегда — миг напоминания, миг — «все там будем». Этап заставляет каждого, даже не тронутого им, зэка подумать о бренности своей судьбы, о закланности своего бытия топору ГУЛага. Даже ни в чём не провинившегося зэка годика за два до конца срока непременно отсылали с шарашки, чтоб он всё забыл и ото всего отстал. Только у двадцатипятилетников не бывало конца срока, за что оперчасть и любила брать их на шарашки.

Зэки в вольных телоположениях окружили Нержина, иные сели вместо стульев на столы, как бы подчёркивая приподнятость момента. Они были настроены меланхолически и философически.

Как на похоронах вспоминают всё хорошее, что сделал покойник, так сейчас они в похвалу Нержину вспоминали, каким любителем *качать права* он был и сколько раз защищал общеарестантские интересы. Тут была и знаменитая история с подболточной мукой, когда он завалил тюремное управление и министерство внутренних дел жалобами по поводу ежедневной недодачи пяти граммов муки ему лично. (По тюремным правилам не могло быть жалобы коллективной или жалобы на недодачу чего-либо — другим, всем. Хотя арестант по идее и должен исправляться в сторону социализма, но ему запрещается болеть за общее дело.) Зэки шарашки в то время ещё не наелись, и борьба за пять граммов муки воспринималась острей, чем международные события. Захватывающая эпопея кончилась победой Нержина: был снят с работы «кальсонный капитан», помощник начальника спецтюрьмы по хозчасти, и из подболточной муки на всё население шарашки стали варить дважды в неделю дополнительную лапшу. Вспомнили тут и борьбу Нержина за увеличение воскресных прогулок, которая кончилась, однако, поражением.

Напротив, сам Нержин плохо слушал эти эпитафии. Для него наступил миг действия. Теперь уже худшее свершилось, а лучшее зависело только от него. Передав Симочке артикуляционные материалы, сдав помощнику Ройтмана всё секретное, уничтожив огнём и разрывом всё личное, сложив в несколько стоп всё библиотечное, он теперь догребал последнее из ящиков и раздаривал ребятам. Уже было решено, кому достанется его крутящийся жёлтый стул, кому — немецкий стол с падающими шторками, кому — чернильница, кому рулон цветной и мраморной бумаги от фирмы Лоренц. Умерший с весёлой улыбкой сам раздавал своё наследство, а наследники несли ему кто по две, кто по три пачки папирос (таково было шарашечное установление: на *этом* свете папирос было изобилие, на *том* папиросы были дороже хлеба).

Из совсекретной группы пришёл Рубин. Его глаза были грустны, нижние веки обвисли.

Соображая над книгами, Нержин сказал ему:

— Если б ты любил Есенина, — я б тебе его сейчас подарил.

— Неужели отбил?

— Но он недостаточно близок к пролетариату.

— У тебя помазка нет, — достал Рубин из кармана роскошный по арестантским понятиям помазок с полированной пластмассовой ручкой, — а я всё равно дал обет не бриться до дня оправдания — так возьми его!

Рубин никогда не говорил — «день освобождения», ибо таковой мог означать естественный конец срока, — всегда говорил «день оправдания», которого он должен же был добиться!

— Спасибо, мужик, но ты так *ошарашился*, что забыл лагерные порядки. Кто же в лагере даст мне бриться самому?.. Ты мне книги сдать не поможешь?

И они стали сгребать и складывать книги и журналы. Окружающие разошлись.

— Ну, как твой подопечный? — тихо спросил Глеб.

— Говорят, ночью арестовали. Главных двух.

— А почему — двух?

— Подозреваемых. История требует жертв.

— Может быть *тот* не попался?

— Думаю, что схватили. К обеду обещают магнитные ленты с допросов. Сравним.

Нержин выпрямился от собранной стопки.

— Слушай, а зачем всё-таки Советскому Союзу атомная бомба? Этот парень рассудил не так глупо.

— Московский пижон, мелкий субчик, поверь.

Нагрузившись множеством томов, они вышли из лаборатории, поднялись по главной лестнице. У ниши верхнего коридора остановились поправить рассыпающиеся стопки и передохнуть.

Глаза Нержина, все сборы блиставшие огнём нездорового возбуждения, теперь потускнели и стали малоподвижны.

— И вот, друже, — протянул он, — и трёх лет мы не пожили вместе, жили всё время в спорах, издеваясь над убеждениями друг друга, — а сейчас, когда я теряю тебя, должно быть навсегда, я так ясно ощущаю, что ты — один из самых мне...

Его голос переломился.

Большие карие глаза Рубина, которые многим запоминались в искрах гнева, теплились добротой и застенчивостью.

— Так всё сошлось, — кивал он. — Давай поцелуемся, зверь.

И принял Нержина в свою пиратскую чёрную бороду.

Тотчас за этим, едва вошли они в библиотеку, их нагнал Сологдин. У него было очень озабоченное лицо. Не рассчитав, он слишком

хлопнул остеклённой дверью, отчего она задребезжала, а библиотекарша оглянулась недовольно.

— Так, Глебчик! Так! — сказал Сологдин. — Свершилось. Ты уезжаешь.

Нисколько не замечая рядом «библейского фанатика», Сологдин смотрел только на Нержина.

Равно и Рубин не нашёл в себе примиряющего чувства к «докучному гидальго» и отвёл глаза.

— Да, ты уезжаешь. Жаль. Очень жаль.

Сколько они говаривали друг с другом на дровах, сколько спорили на прогулках! А сейчас не у места и не у времени были правила мышления и жизни, которые Сологдин хотел передать Глебу и не успел.

Библиотекарша ушла за полки. Сологдин малозвучно сказал:

— Всё-таки ты свой скептицизм бросай. Это просто удобный приём, чтобы не бороться.

Так же тихо ответил и Нержин:

— Но твоё вчерашнее... о стране потерянной и косопузой... это ещё удобнее. Я ничего не понимаю.

Сологдин сверкнул голубизною и зубами:

— Мы слишком мало с тобой говорили, ты отстаёшь в развитии. Но слушай, время — деньги. Ещё не поздно. Дай согласие остаться расчётчиком — и я, может быть, успею тебя оставить. Тут в одну группу. — (Рубин удивлённо метнул взглядом по Сологдину.) — Но придётся *вкалывать*, предупреждаю честно.

Нержин вздохнул.

— Спасибо, Митяй. Такая возможность у меня была. Но если вкалывать — то когда же развиваться? Что-то я и сам уже настроился на эксперимент. Говорит пословица: не море топит, а лужа. Хочу попробовать пуститься в море.

— Да? Ну, смотри, ну, смотри. Очень жаль, очень жаль, Глебчик.

Лицо Сологдина было озабочено, он торопился, только заставлял себя не торопиться.

Так они стояли трое и ждали, пока библиотекарша с перекрашенными волосами, сильно накрашенными губами и сильно напудренная, тоже лейтенант МГБ, лениво сверялась в библиотечном формуляре Нержина. И Глеб, переживавший разлад друзей, в полной тишине библиотеки тихо сказал:

— Друзья! Надо помириться!

Ни Сологдин, ни Рубин не повели головами.

— Митя! — настаивал Глеб.

Сологдин поднял холодное голубое пламя взгляда.

— Почему ты обращаешься ко мне? — удивился он.

— Лёва! — повторил Глеб.

Рубин посмотрел на него скучающе.

— Ты знаешь, почему лошади долго живут? — И после паузы объяснил: — Потому что они никогда не выясняют отношений.

Исчерпав своё служебное имущество и дела по службе, понукаемый надзирателем идти в тюрьму собираться, — Нержин с ворохом папиросных пачек в руках встретил в коридоре спешащего Потапова с ящичком под мышкой. На работе Потапов и ходил совсем не так, как на прогулке: несмотря на хромоту, он шёл быстро, шею держал напряжённо выгнутой сперва вперёд, а потом назад, глаза щурил и смотрел не под ноги, а куда-то вдаль, как бы спеша головой и взглядом опередить свои немолодые ноги. Потапову обязательно надо было проститься и с Нержиным и с другими отъезжающими, но едва только он утром вошёл в лабораторию, как внутренняя логика работы захватила его, подавив в нём все остальные чувства и мысли. Эта способность целиком захватываться работой, забывая о жизни, была основой его инженерных успехов на воле, делала его незаменимым роботом пятилеток, а в тюрьме помогала сносить невзгоды.

— Вот и всё, Андреич, — остановил его Нержин. — Покойник был весел и улыбался.

Потапов сделал усилие. Человеческий смысл включился в его глаза. Свободной от ящика рукой он дотянулся до затылка, как если б хотел почесать его.

— Ку-ку-у...

— Подарил бы вам, Андреич, Есенина, да вы всё равно кроме Пушкина...

— И мы там будем, — сокрушённо сказал Потапов.

Нержин вздохнул.

— Где теперь встретимся? На котласской пересылке? На индигирских приисках? Не верится, чтобы, самостоятельно передвигая ногами, мы могли бы сойтись на городском тротуаре. А?..

С прищуром у углов глаз, Потапов проскандировал:

Для при-зра-ков закрыл я вежды.
Лишь отдалённые надежды
Тревожат сердце и-но-гда.

Из двери Семёрки высунулась голова упоённого Маркушева.

— Ну, Андреич! Где же фильтры? Работа стоит! — крикнул он раздражённым голосом.

Соавторы «Улыбки Будды» обнялись неловко. Пачки «Беломора» посыпались на пол.

— Вы ж понимаете, — сказал Потапов, — икру мечем, всё некогда.

Икрометанием Потапов называл тот суетливый, крикливый, безалаберно-поспешный стиль работы, который царил и в институте

Марфино, и во всём хозяйстве державы, тот стиль, который газеты невольно тоже признавали и называли «штурмовщиной» и «текучкой».

— Пишите! — добавил Потапов, и оба засмеялись. Ничего не было естественней сказать так при прощаньи, но в тюрьме это пожелание звучало издевательством. Между островами ГУЛАГа переписки не было.

И снова, держа ящичек фильтров под мышкой, запрокинув голову вверх и назад, Потапов помчался по коридору, почти вроде и не хромая.

Поспешил и Нержин — в полукруглую камеру, где стал собирать свои вещи, изощрённо предугадывая враждебные неожиданности шмонов, ожидающих его сперва в Марфине, а потом в Бутырках.

Уже дважды заходил торопить его надзиратель. Уже другие вызванные ушли или были угнаны в штаб тюрьмы. Под самый конец сборов Нержина, дыша дворовой свежестью, в комнату вошёл Спиридон в своём чёрном перепоясанном бушлате. Сняв большеухую рыжую шапку и осторожно загнув с угла чью-то неподалеку от Нержина постель, обёрнутую белым пододеяльником, он присел нечистыми ватными брюками на стальную сетку.

— Спиридон Данилыч! Глянь-ка! — сказал Нержин и перетянулся к нему с книгой. — Есенин уж здесь!

— Отдал, змей? — По мрачному, особенно изморщенному сегодня лицу Спиридона пробежал лучик.

— Не так мне книга, Данилыч, — распространялся Нержин, — как главное, чтобы по морде нас не били.

— Именно, — кивнул Спиридон.

— Бери, бери её! Это я на память тебе.

— Не увезть? — рассеянно спросил Спиридон.

— Подожди, — Нержин отобрал книгу, распахнул её, и стал искать страницу. — Сейчас я тебе найду, вот тут прочтёшь...

— Ну, кати, Глеб, — невесело напутствовал Спиридон. — Как в лагере жить — знаешь: душа болит за производство, а ноги тянут в санчасть.

— Теперь уж я не новичок, не боюсь, Данилыч. Хочу попробовать работнуть. Знаешь, говорят: не море топит, а лужа.

И тут только, всмотревшись в Спиридона, Нержин увидел, что тому сильно не по себе, больше не по себе, чем только от расставания с приятелем. И тогда он вспомнил, что вчера за новыми стесненьями тюремного начальства, разоблачениями стукачей, арестом Руськи, объяснением с Симочкой, с Герасимовичем — он совсем забыл, что Спиридон должен был получить письмо из дому.

— Письмо-то?! Письмо получил, Данилыч?

Спиридон и держал руку в кармане на этом письме. Теперь он

достал его — конверт, сложенный вдвое, уже истёртый на перегибе.

— Вот... Да недосуг тебе... — дрогнули губы Спиридона.

Много раз со вчерашнего дня отгибался и снова загибался этот конверт! Адрес был написан крупным круглым доверчивым почерком дочери Спиридона, сохранённым от пятого класса школы, дальше которого Вере учиться не пришлось.

По их со Спиридоном обычаю, Нержин стал читать письмо вслух:

«Дорогой мой батюшка!

Не то, что писать вам, а и жить я больше не смею. Какие же люди есть на свете дурные, что говорят — и обманывают...»

Голос Нержина упал. Он вскинулся на Спиридона, встретил его открытые, почти слепые, неподвижные глаза под мохнатыми рыжими бровями. Но и секунды не успел подумать, не успел приискать неложного слова утешения, — как дверь распахнулась, и ворвался рассерженный Наделашин:

— Нержин! — закричал он. — С вами по-хорошему, так вы на голову садитесь? Все собраны — вы последний!

Надзиратели спешили убрать этапируемых в штаб до начала обеденного перерыва, чтоб они не встречались ни с кем больше.

Нержин обнял Спиридона одной рукой за густозаросшую неподстриженную шею.

— Давайте! Давайте! Больше ни минуты! — понукал младшина.

— Данилыч-Данилыч, — говорил Нержин, обнимая рыжего дворника.

Спиридон прохрипел в груди и махнул рукой.

— Прощай, Глеба.

— Прощай навсегда, Спиридон Данилыч!

Они поцеловались. Нержин взял вещи и порывисто ушёл, сопутствуемый дежурным.

А Спиридон неотмывными, со въевшейся многолетней грязью, руками снял с кровати развёрнутую книжку, на обложке обсыпанную кленовыми листьями, заложил дочерним письмом и ушёл к себе в комнату.

Он не заметил, как коленом свалил свою мохнатую шапку, и она осталась так лежать на полу.

96

По мере того, как этапируемых арестантов сгоняли в штаб тюрьмы, — их шмонали, а по мере того, как их прошмонывали — их перегоняли в запасную пустую комнату штаба, где стояло два го-

лых стола и одна грубая скамья. При шмоне неотлучно присутствовал сам майор Мышин и временами заходил подполковник Климентьев. Туго налитому лиловому майору несручно было наклоняться к мешкам и чемоданам (да и не подобало это его чину), но его присутствие не могло не воодушевить вертухаев. Они рьяно развязывали все арестантские тряпки, узелки, лохмотья и особенно придирались ко всему писаному. Была инструкция, что уезжающие из спецтюрьмы не имеют права везти с собой ни клочка писаного, рисованного или печатного. Поэтому большинство зэков загодя сожгли все письма, уничтожили тетради заметок по своим специальностям и раздарили книги.

Один заключённый, инженер Ромашов, которому оставалось до конца срока шесть месяцев (он уже отбухал девятнадцать с половиной лет) открыто вёз большую папку многолетних вырезок, записей и расчётов по монтажу гидростанций (он ждал, что едет в Красноярский край и очень рассчитывал работать там по специальности). Хотя эту папку уже просматривал лично инженер-полковник Яконов и поставил свою визу на выпуск её, хотя майор Шикин уже отправлял её в Отдел, и там тоже поставили визу, — вся многомесячная исступлённая предусмотрительность и настойчивость Ромашова оказалась зряшной: теперь майор Мышин заявил, что ему ничего об этой папке неизвестно, и велел отобрать её. Её отобрали и унесли, и инженер Ромашов остывшими, ко всему привыкшими глазами посмотрел ей вслед. Он пережил когда-то и смертный приговор, и этап телячьими вагонами от Москвы до СовГавани, и на Колыме в колодце подставлял ногу под бадью, чтоб ему перешибло бадьёю голень, и в больнице отлежался от неизбежной смерти заполярных общих работ. Теперь над гибелью десятилетнего труда и вовсе не стоило рыдать.

Другой заключённый, маленький лысый конструктор Сёмушкин, в воскресенье так много стараний приложивший к штопке носков, был, напротив, новичок, сидел всего около двух лет и то всё время в тюрьмах да на шарашке и теперь крайне был перепуган лагерем. Но несмотря на перепуг и отчаяние от этапа, он пытался сохранить маленький томик Лермонтова, который был у них с женой семейной святыней. Он умолял майора Мышина вернуть томик, не по-взрослому ломал руки, оскорбляя чувства сиделых зэков, пытался прорваться в кабинет к подполковнику (его не пустили), — и вдруг выхватил Лермонтова из рук кума (тот в страхе отскочил к двери), с силой, которой в нём не предполагали, оторвал зелёные тиснёные обложки, отшвырнул их в сторону, а листы книги стал изрывать полосами, судорожно плача и крича:

— Нате! Жрите! Лопайте! — и разбрасывать их по комнате.

Шмон продолжался.

Выходившие со шмона арестанты с трудом узнавали друг друга:

по команде сбросив в одну кучу синие комбинезоны, в другую — казённое клеймёное бельё, в третью — пальто, если оно было ещё не истрёпано, они одевались теперь во всё своё, либо же в сменку. За годы службы на шарашке они не выслужили себе одежды. И это не было злобой или скупостью начальства. Начальство было подведомственно государственному оку бухгалтерии.

Поэтому одни, несмотря на разгар зимы, остались теперь без белья и натянули трусы и майки, много лет затхло пролежавшие в их мешках в каптёрке такими же нестиранными, какими были в день приезда из лагеря; другие обулись в неуклюжие лагерные ботинки (у кого такие лагерные ботинки обнаружены были в мешках, у того теперь полуботинки «вольного» образца с галошами отбирались), иные — в кирзовые сапоги с подковками, а счастливцы — и в валенки.

Валенки!.. Самое бесправное изо всех земных существ и меньше предупреждённое о своём будущем, чем лягушка, крот или полевая мышь, — зэк беззащитен перед превратностями судьбы. В самой тёплой глубокой норке зэк никогда не может быть спокоен, что в наступившую ночь он обережён от ужасов зимы, что его не выхватит рука с голубым обшлажным окаёмком и не потащит на северный полюс. Горе тогда конечностям, не обутым в валенки! Двумя обмороженными ледышками он составит их на Колыме из кузова грузовика. Зэк без собственных валенок всю зиму живёт притаясь, лжёт, лицемерит, сносит оскорбления ничтожных людей, или сам угнетает других — лишь бы не попасть на зимний этап. Но бестрепетен зэк, обутый в собственные валенки! Он дерзко смотрит в глаза начальству и с улыбкой Марка Аврелия получает обходную.

Несмотря на оттепель снаружи, все, у кого были собственные валенки, в том числе Хоробров и Нержин, отчасти чтобы меньше ишачить на себе, а главное, чтобы почувствовать их успокаивающую бодрящую теплоту всеми ногами — засунули ноги в валенки и гордо ходили по пустой комнате. Хотя ехали они сегодня лишь в Бутырскую тюрьму, а там ничуть не было холодней, чем на шарашке. Только бесстрашный Герасимович не имел ничего своего, и каптёр дал ему «на сменку» широкий на него, никак не запахивающийся длиннорукий бушлат, «бывший в употреблении», и бывшие же в употреблении тупоносые кирзовые ботинки.

Такая одежда особенно казалась смешна на нём из-за его пенсне.

Пройдя шмон, Нержин был доволен. Ещё вчера днём в предвидении скорого этапа, он заготовил себе два листика, густо исписанных карандашом, непонятно для других: то опусканием гласных букв, то с использованием греческих, то перемесью русских, английских, немецких, латинских слов, да ещё сокращённых. Чтобы пронести листки через шмон, Нержин каждый из них надорвал, искомкал, измял, как мнут бумагу для её непрямого назначения, и

положил в карман лагерных брюк. При обыске надзиратель видел листки, но, ложно поняв, оставил. Теперь если в Бутырках не брать их в камеру, а оставить в вещах, они могут уцелеть и дальше.

На этих листках были тезисно изложены кое-какие факты и мысли из сожжённых сегодня.

Шмон был закончен, все двадцать зэков загнаны в пустую ожидальню со своими разрешёнными к увозу вещами, дверь за ними затворилась и, в ожидании воронка, к двери был приставлен часовой. Ещё другой надзиратель был наряжен ходить под окнами, скользя по обледенице, и отгонять провожающих, если они появятся в обеденный перерыв.

Так все связи двадцати отъезжающих с двумястами шестьюдесятью одним остающимся были разорваны.

Этапируемые ещё были здесь, но уже их и не было здесь.

Сперва, заняв как попало места на своих вещах и на скамьях, они все молчали.

Они додумывали каждый о шмоне: что было отнято у них и что удалось пронести.

И о шарашке: что за блага терялись на ней, и какая часть срока была прожита на ней, и какая часть срока осталась.

Заключённые — любители пересчитывать время: уже потерянное и впредь обречённое к утрате.

Ещё они думали о родных, с которыми не сразу установится связь. И что опять придётся просить у них помощи, ибо ГУЛаг — такая страна, где взрослый мужчина, работая в день по двенадцать часов, неспособен прокормить сам себя.

Думали о промахах или о своих сознательных решениях, приведших к этому этапу.

О том, куда же зашлют? Что ждёт на новом месте? И как устраиваться там?

У каждого по-своему текли мысли, но все они были невеселы.

Каждому хотелось утешения и надежды.

Поэтому когда возобновился разговор, что, может быть, их вовсе не в лагерь шлют, а на другую шарашку, — даже те, кто совсем в это не верили — прислушались.

Ибо и Христос в Гефсиманском саду, твёрдо зная свой горький выбор, всё ещё молился и надеялся.

Чиня ручку своего чемодана, всё время срывающуюся с крепления, Хоробров громко ругался:

— Ну, собаки! Ну, гады! Простого чемодана — и того у нас сделать не могут! Полгода предмайская вахта, полгода предоктябрьская, когда же поработать без лихорадки? Ведь вот какая-то сволочь рационализацию внесла: дужку двумя концами загнут и всунут в ручку. Пока чемодан пустой — держит, а — нагрузи? Развили тяжёлую ин-

дустрию, драть её лети, так что последний николаевский кустарь от стыда бы сгорел.

И кусками кирпича, отваленного от печки, выложенной тем же скоростным методом, Хоробров зло сбивал концы дужки в ушко́.

Нержин хорошо понимал Хороброва. Всякий раз сталкиваясь с унижением, пренебрежением, издевательством, наплевательством, Хоробров разъярялся — но как об этом было рассуждать спокойно? Разве вежливыми словами выразишь вой ущемлённого? Именно сейчас, облачась в лагерное и едучи в лагерь, Нержин и сам ощущал, что возвращается к важному элементу мужской свободы: каждое пятое слово ставить матерное.

Ромашов негромко рассказывал новичкам, какими дорогами обычно возят арестантов в Сибирь и, сравнивая куйбышевскую пересылку с горьковской и кировской, очень хвалил первую.

Хоробров перестал стучать и в сердцах швырнул кирпичом об пол, раздробляя в красную крошку.

— Слышать не могу! — закричал он Ромашову, и худощавое жёсткое лицо его выразило боль. — Горький не сидел в той пересылке и Куйбышев не сидел, иначе б их на двадцать лет раньше похоронили. Говори как человек: самарская пересылка, нижегородская, вятская! Уже двадцатку отбухал, чего к ним подлизываешься!

Задор Хороброва передался Нержину. Он встал, через часового вызвал Наделашина и полнозвучно заявил:

— Младший лейтенант! Мы видим в окно, что уже полчаса, как идёт обед. Почему не несут нам?

Младшина неловко отоптался и сочувственно ответил:

— Вы сегодня... со снабжения сняты...

— То есть, как это сняты? — И слыша за спиной гул поддерживающего недовольства, Нержин стал рубить: — Доложите начальнику тюрьмы, что без обеда мы никуда не поедем! И силой посадить себя — не дадимся!

— Хорошо, я доложу! — сейчас же уступил младшина. И виновато поспешил к начальнику.

Никто в комнате не усомнился, стоит ли связываться. Брезгливое чаевое благородство зажиточных вольняшек — дико зэкам.

— Правильно!

— Тяни их!

— Зажимают, гады!

— Крохоборы! За три года службы один обед пожалели!

— Не уедем! Очень просто! Что они с нами сделают?

Даже те, кто был повседневно тих и смирен с начальством, теперь расхрабрился. Вольный ветер пересыльных тюрем бил в их лица. В этом последнем мясном обеде было не только последнее насыщение перед месяцами и годами баланды — в этом последнем мясном обеде было их человеческое достоинство. И даже те, у кого от волнения

пересохло горло, кому сейчас невмоготу было есть, — даже те, позабыв о своей кручине, ждали и требовали этого обеда.

Из окна видна была дорожка, соединяющая штаб с кухней. Видно было, как к дровопилке задом подошёл грузовик, в кузове которого просторно лежала большая ёлка, перекинувшись через борта лапами и вершинкой. Из кабины вышел завхоз тюрьмы, из кузова спрыгнул надзиратель.

Да, подполковник держал слово. Завтра-послезавтра ёлку поставят в полукруглой комнате, арестанты-отцы, без детей сами превратившиеся в детей, обвесят её игрушками (не пожалеют казённого времени на их изготовление), клариной корзиночкой, ясным месяцем в стеклянной клетке, возьмутся в круг, усатые, бородатые и, перепевая волчий вой своей судьбы, с горьким смехом закружатся:

В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла...

Видно было, как патрулирующий под окнами надзиратель отгонял Прянчикова, пытавшегося прорваться к осаждённым окнам и кричавшего что-то, воздевая руки к небесам.

Видно было, как младшина озабоченно просеменил на кухню, потом в штаб, опять на кухню, опять в штаб.

Ещё было видно, как, не дав Спиридону дообедать, его пригнали разгружать ёлку с грузовика. Он на ходу вытирал усы и перепоясывался.

Младшина, наконец, не пошёл, а почти пробежал на кухню и вскоре вывел оттуда двух поварих, несших вдвоём бидон и поварёшку. Третья женщина несла за ними стопу глубоких тарелок. Боясь поскользнуться и перебить их, она остановилась. Младшина вернулся и забрал у неё часть.

В комнате возникло оживление победы.

Обед появился в дверях. Тут же, на краю стола, стали разливать суп, зэки брали тарелки и несли в свои углы, на подоконники и на чемоданы. Иные приспосабливались есть стоя, грудью привалясь к столу, не обставленному скамейками.

Младшина с раздатчицами ушли. В комнате наступило то настоящее молчание, которое и всегда должно сопутствовать еде. Мысли были: вот наварный суп, несколько жидковатый, но с ощутимым мясным духом; вот эту ложку, и ещё эту, и ещё эту с жировыми звёздочками и белыми разваренными волокнами я отправляю в себя; тёплой влагой она проходит по пищеводу, опускается в желудок — а кровь и мускулы мои заранее ликуют, предвидя новую силу и новое пополнение.

«Для мяса люди замуж идут, для щей женятся» — вспомнил Нержин пословицу. Он понимал эту пословицу так, что муж, значит,

будет добывать мясо, а жена — варить на нём щи. Народ в пословицах не лукавил и не выкорчивал из себя обязательно высоких стремлений. Во всём коробе своих пословиц народ был более откровенен о себе, чем даже Толстой и Достоевский в своих исповедях.

Когда суп подходил к концу и алюминиевые ложки уже стали заскребать по тарелкам, кто-то неопределённо протянул:

— Да-а-а...

И из угла отозвались:

— Заговляйся, братцы!

Некий критикан вставил:

— Со дна черпали, а не густ. Небось, мясо-то себе выловили.

Ещё кто-то уныло воскликнул:

— Когда теперь доживём и такого покушать!

Тогда Хоробров стукнул ложкой по своей выеденной тарелке и внятно сказал с уже нарастающим протестом в горле:

— Нет, друзья! Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой!

Ему не ответили.

Нержин стал стучать и требовать второго.

Тотчас же явился младшина.

— Покушали? — с приветливой улыбкой оглядел он этапируемых. И убедясь, что на лицах появилось добродушие, вызываемое насыщением, объявил то, чего тюремная опытность подсказала ему не открывать раньше: — А второго не осталось. Уж и котёл моют. Извините.

Нержин оглянулся на зэков, сообразуясь, буянить ли. Но по русской отходчивости все уже остыли.

— А что на второе было? — пробасил кто-то.

— Рагу, — застенчиво улыбнулся младшина.

Вздохнули.

О третьем как-то и не вспомнили.

За стеной послышалось фырканье автомобильного мотора. Младшину кликнули — и вызволили этим. В коридоре раздался строгий голос подполковника Климентьева.

Стали выводить по одному.

Переклички по личным делам не было, потому что свой шарашечный конвой должен был сопровождать зэков до Бутырок и сдавать лишь там. Но — считали. Отсчитывали каждого совершающего столь знакомый и всегда роковой шаг с земли на высокую подножку воронка, низко пригнув голову, чтобы не удариться о железную притолоку, скрючившись под тяжестью своих вещей и неловко стукаясь ими о боковые стенки лаза.

Провожающих не было: обеденный перерыв уже кончился, зэков загнали с прогулочного двора в помещение.

Задок воронка подогнали к самому порогу штаба. При посадке,

хотя и не было надрывного лая овчарок, царила та теснота, сплоченность и напряжённая торопливость конвоя, которая выгодна только конвою, но невольно заражает и зэков, мешая им оглядеться и сообразить своё положение.

Так село их восемнадцать, и ни один не поднял голову попрощаться с высокими стройными липами, осенявшими их долгие годы в тяжёлые и радостные минуты.

А двое, кто изловчились посмотреть — Хоробров и Нержин, взглянули не на липы, а на саму машину сбоку, взглянули со специальной целью выяснить, в какой цвет она окрашена.

И ожидания их оправдались.

Отходили в прошлое времена, когда по улицам городов шныряли свинцово-серые и чёрные воронки, наводя ужас на граждан. Было время — так и требовалось. Но давно наступили годы расцвета — и воронки тоже должны были проявить эту приятную черту эпохи. В чьей-то гениальной голове возникла догадка: конструировать воронки одинаково с продуктовыми машинами, расписывать их снаружи теми же оранжево-голубыми полосами и писать на четырёх языках:

Хлеб
Pain
Brot
Bread

или

Мясо
Viande
Fleisch
Meat

И сейчас, садясь в воронок, Нержин улучил сбиться вбок и оттуда прочесть:

Meat

Потом он в свой черёд втиснулся в узкую первую и ещё более узкую вторую дверцы, прошёлся по чьим-то ногам, проволочил чемодан и мешок по чьим-то коленям и сел.

Внутри этот трёхтонный воронок был не *боксирован*, то есть, не разделен на десять железных ящиков, в каждый из которых втискивалось только по одному арестанту. Нет, этот воронок был «общего» типа, то есть, предназначен для перевозки не подследственных, а осуждённых, что резко увеличивало его живую грузовместимость. В задней своей части — между двумя железными дверьми с малень-

кими решётками-отдушинами, воронок имел тесный тамбур для конвоя, где, заперев внутренние двери снаружи, а внешние изнутри, и сносясь с шофёром и с начальником конвоя через особую слуховую трубу, проложенную в корпусе кузова, — едва помещались два конвоира, и то поджав ноги. За счёт заднего тамбура был выделен лишь один маленький запасной бокс для возможного бунтаря. Всё остальное пространство кузова, заключённое в металлическую низкую коробку, было — одна общая мышеловка, куда по норме как раз и полагалось втискивать двадцать человек. (Если защёлкивать железную дверцу, упираясь в неё четырьмя сапогами, — удавалось впихивать и больше.)

Вдоль трёх стен этой братской мышеловки тянулась скамья, оставляя мало места посередине. Кому удавалось — садились, но они не были самыми счастливыми: когда воронок забили, им на заклиненные колени, на подвёрнутые затекающие ноги достались чужие вещи и люди, и в месиве этом не имело смысла обижаться, извиняться — а подвинуться или изменить положение нельзя было ещё час. Надзиратели поднапёрли на дверь и, втолкнув последнего, щёлкнули замком.

Но внешней двери тамбура не захлопывали. Вот ещё кто-то ступил на заднюю ступеньку, новая тень заслонила из тамбура отдушину-решётку.

— Братцы! — прозвучал руськин голос. — Еду в Бутырки на следствие! Кто тут? Кого увозят?

Раздался сразу взрыв голосов — закричали все двадцать зэков, отвечая, и оба надзирателя, чтоб Руська замолчал, и с порога штаба Климентьев, чтоб надзиратели не зевали и не давали заключённым переговариваться.

— Тише, вы...! — послал кто-то в воронке матом.

Стало тихо и слышно, как в тамбуре надзиратели возились, убирая свои ноги, чтобы скорей запихнуть Руську в бокс.

— Кто тебя продал, Руська? — крикнул Нержин.

— Сиромаха!

— Га-а-ад! — сразу загудели голоса.

— А сколько вас? — крикнул Руська.

— Двадцать.

— Кто да кто?..

Но его уже затолкали в бокс и заперли.

— Не робей, Руська! — кричали ему. — Встретимся в лагере!

Ещё падало внутрь воронка несколько света, пока открыта была внешняя дверь — но вот захлопнулась и она, головы конвоиров преградили последний неверный поток света через решётки двух дверей, затарахтел мотор, машина дрогнула, тронулась — и теперь, при раскачке, только мерцающие отсветы иногда перебегали по лицам зэков.

Этот короткий перекрик из камеры в камеру, эта жаркая искра,

проскакивающая порой между камнями и железами, всегда чрезвычайно будоражит арестантов.

— А что должна делать элита в лагере? — протрубил Нержин прямо в ухо Герасимовичу, только он и мог расслышать.

— То же самое, но с двойным усилием! — протрубил Герасимович ответно.

Немного проехали — и воронок остановился. Ясно, что это была вахта.

— Руська!— крикнул один зэк. — А бьют?

Не сразу и глухо донеслось в ответ:

— Бьют...

— Да драть их в лоб, Шишкина-Мышкина! — закричал Нержин. — Не сдавайся, Руська!

И снова закричало несколько голосов — и всё смешалось.

Опять тронулись, проезжая вахту, потом всех резко качнуло вправо — это значало поворот налево, на шоссе.

При повороте очень тесно сплотило плечи Герасимовича и Нержина. Они посмотрели друг на друга, пытаясь различить в полутьме. Их сплачивало уже нечто большее, чем теснота воронка.

Илья Хоробров, чуть приокивая, говорил в темноте и скученности:

— Ничего я, ребята, не жалею, что уехал. Разве это жизнь — на шарашке? По коридору идёшь — на Сиромаху наступишь. Каждый пятый — стукач, не успеешь в уборной звук издать — сейчас куму известно. Воскресений уже два года нет, сволочи. Двенадцать часов рабочий день! За двадцать грамм маслица все мозги отдай. Переписку с домом запретили, драть их вперегрёб. И — работай? Да это ад какой-то!

Хоробров смолк, переполненный негодованием.

В наступившей тишине, при моторе, ровно работающем по асфальту, раздался ответ Нержина:

— Нет, Илья Терентьич, это не ад. Это — не ад! В ад мы едем. В ад мы возвращаемся. А шарашка — высший, лучший, первый круг ада. Это — почти рай.

Он не стал далее говорить, почувствовав, что — не нужно. Все ведь знали, что ожидало их несравненно худшее, чем шарашка. Все знали, что из лагеря шарашка припомнится золотым сном. Но сейчас для бодрости и сознания правоты надо было ругать шарашку, чтоб ни у кого не оставалось сожаления, чтоб никто не упрекал себя в опрометчивом шаге.

Герасимович нашёл аргумент, не досказанный Хоробровым:

— Когда начнётся война, шарашечных зэков, слишком много знающих, перетравят через хлеб, как делали гитлеровцы.

— Я ж и говорю, — откликнулся Хоробров, — лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой!

Прислушиваясь к ходу машины, зэки смолкли.

Да, их ожидала тайга и тундра, полюс холода Оймякон и медные копи Джезказгана. Их ожидала опять кирка и тачка, голодная пайка сырого хлеба, больница, смерть. Их ожидало только худшее.

Но в душах их был мир с самими собой.

Ими владело бесстрашие людей, утерявших в с ё до конца, — бесстрашие, достающееся трудно, но прочно.

Швыряясь внутри сгруженными стиснутыми телами, весёлая оранжево-голубая машина шла уже городскими улицами, миновала один из вокзалов и остановилась на перекрёстке. На этом скрещении был задержан светофором тёмно-бордовый автомобиль корреспондента газеты «Либерасьон», ехавшего на стадион «Динамо» на хоккейный матч. Корреспондент прочёл на машине-фургоне:

Мясо
Viande
Fleisch
Meat

Его память отметила сегодня в разных частях Москвы уже не одну такую машину. Он достал блокнот и записал тёмно-бордовой ручкой:

«На улицах Москвы то и дело встречаются автофургоны с продуктами, очень опрятные, санитарно-безупречные. Нельзя не признать снабжение столицы превосходным.»

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ

Бронь — освобождение от воинской службы по роду деятельности или занимаемой должности в тылу (выражение времен 1941 — 45)

БСЭ — Большая Советская Энциклопедия (несколько раз изымалась и выпускалась заново под влиянием политических изменений)

ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая Партия большевиков (название партии с 1925 по 1952)

ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей; официальное учреждение, фактически — в руках НКВД — МГБ

Всеобуч — всеобщее обязательное обучение; непременное правительственное требование отдавать детей с 7-летнего возраста в государственные школы, не допуская обучения частного или семейного

ВТУЗ — высшее техническое учебное заведение

ВУЗ — высшее учебное заведение

Выходной — день, свободный от работы; советское просторечие, появившееся в начале 30-х годов, после отмены празднования воскресений

Главк — Главное управление; подразделение народного комиссариата или, позже, министерства

Губдезертир — губернский отдел по борьбе с дезертирством; грозное большевистское учреждение времён гражданской войны, имевшее право неограниченного расстрела без суда

Губпрофсовет — губернский совет профессиональных союзов (объединяющий их все)

Заём — очередной из государственных ежегодных, всему населению СССР ненавистных займов, по внешности добровольный, но обязательный, примерно 10% годового заработка; подписка производилась ежегодно в мае

Информбюро — дополнительное (к ТАСС) советское официальное агентство оповещения, вводившееся на годы войны 1941 — 45

КЗОТ — кодекс законов о труде; первый вариант, 1918 года, уже предусматривал всеобщую трудовую повинность населения от 16 лет, принудительное трудоустройство, обязательное выполнение норм

Красные (и черные) доски — доски публичного обозрения, куда заносились, на взгляд начальства, фамилии лучших (и худших) в производстве

МК — Московский комитет партии (коммунистической)

МТС — машинно-тракторная станция (с 1928 по 1958); государственная производственная единица, владеющая и оперирующая сельскохозяйственными машинами, контролёры и грабители колхозов, забирали произвольную «натурплату» — по сути вторые госпоставки

Наркомздрав — народный комиссариат (с 1946 — министерство) здравоохранения

Облоно — областной отдел народного образования

Политотдел МТС — в некоторые периоды — при каждой МТС дополнительный партийный орган, жестко направлявший всю жизнь сельской округи, главный орган террора на селе — с правом вызова войск, арестов, введения военного положения, депортации целых сёл

1 мая, 7 ноября — главнейшие в году советские коммунистические праздники, отмечавшиеся насильственной уличной демонстрацией (прогоном в колоннах) населения

Рабфак — рабочий факультет; учебное заведение, ускоренно (и низкокачественно) готовящее лиц «пролетарского» социального положения в высшее учебное заведение

Райисполком — районный исполнительный комитет советов, районная советская власть

Районо — районный отдел народного образования

Рацпредложение — рационализаторское предложение; какое-нибудь производственное усовершенствование (иногда кажущееся), вносимое участниками производства

СНК, совнарком — Совет Народных Комиссаров, большевистское правительство от момента взятия власти в октябре 1917 до марта 1946, когда переименовано в Совет Министров

Спецхран — отдел специального хранения крупных библиотек, где содержатся материалы, запрещённые населению; пользование по пропускам

ТАСС — официальное телеграфное агентство Советского Союза

ФЗО — школы фабрично-заводского обучения, созданы указом 2 октября 1940 «О государственных трудовых резервах»; по указу устанавливалась мобилизация до 1 миллиона человек в год молодёжи от 14 до 17 лет (от каждых 100 колхозников 2 человека) для обучения в ремесленных училищах и затем обязательной работы на государственных предприятиях; за побег из такого училища (с плохими условиями еды и жизни) давался срок 6 месяцев лагеря; к 1958 году систему ФЗО прошли 10 000 000 молодых людей

ФЗУ — школы фабрично-заводского ученичества с 1920 по 1959 (когда заменены на профтехучилища); условия — значительно лучше, свободней, чем в ФЗО; пополнялись большей частью добровольным поступлением

ЦАГИ — Центральный аэрогидродинамический институт

ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет — формально высший в СССР орган советской иерархии, на самом деле декоративное учреждение, не используемое для серьезных решений; с 1937 года переименовано в Верховный Совет СССР

ЦК — Центральный Комитет (подразумевается — коммунистической партии); высший партийный орган, обладавший в СССР безраздельной и всесторонней властью

ИЗ РУССКОГО СЛОВАРЯ ЯЗЫКОВОГО РАСШИРЕНИЯ А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА*)

«С 1947 года много лет (и все лагерные, так богатые терпением и лишь малыми клочками досуга) я почти ежедневно занимался обработкой далевского словаря — для своих литературных нужд и языковой гимнастики. Для этого я сперва читал подряд все четыре тома Даля, очень внимчиво, и выписывал слова и выражения в форме, удобной для охвата, повторения и использования. Затем нашёл эти выписки ещё слишком громоздкими и стал из первой выжимки вытягивать вторую, а затем из второй третью.

Вся эта работа в целом помогла мне воссоздать в себе ощущение глубины и широты русского языка, которые я предчувствовал, но был лишён их по своему южному рождению, городской юности, — и которые, как я всё острее понимал, мы все незаслуженно отбросили по поспешности нашего века, по небрежности словоупотребления и по холостящему советскому обычаю. Однако в книгах своих я мог уместно использовать разве только пятисотую часть найденного. И мне захотелось как-то ещё иначе восполнить иссушительное обеднение русского языка и всеобщее падение чутья к нему — особенно для тех молодых людей, в ком сильна жажда к свежести родного языка, а насытить её — у них нет того многолетнего простора, который использовал я. И вообще для всех, кто в нашу эпоху оттеснён от корней языка затёртостью сегодняшней письменной речи. Так зародилась мысль составить «Словарь языкового расширения» или «Живое в нашем языке»: не в смысле «что живет сегодня», а — что ещё может, имеет право жить. С 1975 года я для этой цели заново стал прорабатывать словарь Даля, привлекая к нему и словный запас других русских авторов, прошлого века и современных (желающие могут ещё многое найти у них, и словарь значительно обогатится); также исторические выражения, сохраняющие свежесть; и слышанное мною самим в разных местах — но не из штампов советского времени, а из коренной струи языка[...].

Итак, этот словарь ни в какой мере не преследует обычной задачи словарей: представить по возможности полный состав языка. Напротив, все известные и уверенно употребительные слова отсутствуют здесь [...]. Тут подобраны слова, никак не заслуживающие преждевременной смерти, ещё вполне гибкие, таящие в себе богатое движение — а между тем почти целиком заброшенные [...].

А.Солженицын, 1988»

А

АВО́СНИЧАТЬ — пускаться на авось
АВО́СНИК — кто авосничает
АЛКА́ТЬ — 1. голодать; 2. поститься; 3. сильно хотеть

*) «Книжное обозрение». — 1990. — № 13. Полностью словарь опубликован издательством «Наука» в 1990 г.

Б

БАЮНИТЬ — краснобаить
БЕЗГЛАСИЕ, БЕЗГОЛОСЬЕ
БЕСКНИЖНЫЙ — *в част.* неграмотный
БЕСКНИЖИЦА — недостаток книг
БЛАГОПРИЯЗНЬ — доброжелательство

В

ВИНАРЬ — винодел, виноградарь
ВРЕДОСЛОВИЕ — вредные речи, клевета
ВСЯЧИННИК — 1. торгующий мелким товаром; 2. всезнайка, поверхностный энциклопедист
ВЫЗВЕЗДИТЬ *кому* — высказаться резко, напрямки
ВЫЛГАТЬ *что* — добыть неправдой

Г

ГРЕХОВИЩЕ — поприще, место греха
ГУТОРКА — прибаутка, пословица, поговорка

Д

ДЕЕПИСЬ — история
ДРУГОВЩИНА — товарищество, круг, согласие
ДРЫХОНЯ *об.* — соня, лежебок
ДУРОПЛЁТ — пустоплёт, враль

Е

ЕРЕСИАРХ — основатель ереси
ЕРОХА, ЕРОШКА — нечёса, космач; задира

Ж

ЖЕНОБЕСИЕ, ЖЕНОНЕЙСТОВСТВО — непомерное женолюбие

З

ЗАЖОРА, ЗАЖОРИНА — подснежная вода в ямине на дороге
ЗВЕЗДОХВАТ — заносчивый всезнайка
ЗРЯТИНА — пустяки, вздор, всячина

И

ИСПОВЕДЧИК — сообщающий нечто
ИСТИРОК (о резине)

К

КНИГОДЕРЖЕЦ
КНИГОХРАННЫЙ
КНИЖЕСТВО — 1. учёность, начитанность; 2. книжность
КНИЖИСТЫЙ — обильный книгами
КНИЖЧАТЫЙ — имеющий вид книги (*напр.* зажигалка)

Л

ЛУБЯНЕТЬ — твердеть, скорузнуть
ЛУБЯНЫЕ глаза — бессмысленные, бесстыжие
ЛУБЯНКА — лубяной шалаш; табакерка из луба

М

МНОГОЧИЙ *м.* — кто много читает (хоть и без разбору)
МУДРЫЙ — соединяющий истину и добро, разумный, праведный

МУДРОВА́НЬЕ — 1. неуместное умничание; 2. лжемудрое суждение

Н

НА́СЛУД, НАСЛУ́Д, НА́СЛУЗ, НАСЛУ́З — 1. наводь, вода поверх льда; 2. второй пласт льда сверх коренного; 3. крепкий наст по снегу
НОВИ́К — 1. новец, молодой месяц; 2. всё новое, свежее
НОВОВЫ́ШЕДШАЯ книга
НОВОИ́ЗДАННОЕ произведение

О

ОБРАЗОВА́НЩИНА *собр.*
ОТДА́Р, ОТДА́РОК — обратный подарок
ОТРЕЧЁННЫЕ КНИГИ — 1. апокрифические; 2. (ныне) строго запрещенные, про́клятые

П

ПА́ГОЛОС, ПА́ГОЛОСОК — отголосок, эхо
ПОДРУ́ЧНАЯ книга
ПОДРУ́ЧЬЕ — всякая подручная в доме вещь
ПОКО́ИЩЕ — 1. место успокоения; 2. кладбище самоубийц
ПОМЯННИ́К — поминальная книжка

Р

РИСТА́ТЬ — 1. прытко бегать, скакать; 2. упражняться в телодвижениях, бороться
РИФМОТКА́Ч, РИФМОПРЯ́Д

С

СВЯТОРУ́СЬЕ *ср.* — весь русский мир
СИЛОВА́Н *м.* — силач
СКАЗЕ́Я *ж.* — сказочница
СЛОВЕ́СЬЕ *ср.* — лжеумствование
СЛОВОЛИ́ТЕЦ (о писателе)
СЛОВОСОСТЯЗАНИЕ — словесный спор, **словопря**
СМЕХОТНИ́К, СМЕХОТНИ́ЦА — забавник, балагур; пересмешник
СМЕХОСЛО́ВИЕ *ср.* — шутливый разговор
СТИХОТКА́Ч, СТИХОПЛУ́Т
СТИХОБЛУ́Д

Т

ТУМА́К — помесь волка и собаки
ТУПОРЕ́ЧИЕ — красноязычие
ТЩЕМУ́ДРИЕ
ТЩЕПРОСЛА́ВЛЕННЫЙ (не по заслугам)
ТЩЕСЛО́ВИЕ — пустая речь, пустословие

У

УПА́МЯТОВАТЬ *что* — удержать в памяти
У́ПОВОД — 1. работа в один приём, до роздыху, **от выти до выти**; 2. проездка не кормя лошадей
УХВА́ТЧИВЫЙ — догадливый

Ф

ФИ́ГЛИ *мн.* — ужимки, рожи, уловки
ФОРДЫБА́КА *м.* — надутый грубиян, буян
ФУФЛЫ́ЖНИЧАТЬ — жить на чужой счёт

Х

ХО́ЛЕНЬ *м.* — баловень, неженка
ХОЛО́ПНИЧАТЬ — угождать, подличать

Ц

ЦЕЖ *м.* — процеженный раствор
ЦЕЛОУ́МНЫЙ — здравомыслящий

Ч

ЧЕБУРА́ШКА — ванька-встанька
ЧЕСТЬ *инф.* — читать; считать; принимать за что
ЧИСТОРЕ́ЧИЕ — 1. правильное произношение; 2. исконность лексики
ЧИТА́РЬ *м.* — кто читает
ЧТЕ́БНИК — книга для чтения
ЧТЕ́ЧЕСКИЙ, ЧТЕ́ЦКИЙ — отнсщ. к чтецам
ЧИТА́ТЕЛЕВ, ЧИТА́ТЕЛЬНИЦЫН
ДОЧЁЛ книгу — дочитал
книгу ИСЧИТА́ЛИ в лепестки
ЧТИ́ЛИЩЕ — предмет почтения, святыня

Ш

ШКО́ЛИТЬ *кого* — учить, держать строго
ШТУКА́РЬ — искусник, фигляр, выдумщик

Щ

ЩЕДРОВА́ТЬ — колядовать (под Рождество, под Новый год)
ЩУРОВА́ТЫЙ — плутоватый

Э

ЭПИТИМЕ́ЙНЫЙ — отнсщ. к эпитимии

Ю

ЮР м. — 1. открытое место, где всегда толкотня; 2. лобное место, где нет затишья, погода **юрит**

Я

ЯСЕНЕ́Ц, ЯСНЕ́Ц — чистый плотный прозрачный лед (без снега, пузырей, мути)
ЯСНОЗРЕ́НИЕ, ЯСНОЗО́РКОСТЬ

ОГЛАВЛЕНИЕ

В КРУГЕ ПЕРВОМ

Главы 54—96

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН

Малое собрание сочинений, том 2

В КРУГЕ ПЕРВОМ

КНИГА II

Редактор В.М.БОРИСОВ
Художественный редактор Л.Б.ФИЛИППОВА
Художник И.А.ШЕИН
Технический редактор С.Я.ШКЛЯР
Корректоры С.Л.ЛУКОНИНА, Е.Б.ФРУНЗЕ

Сдано в набор 23.09.91. Подписано в печать 23.12.91. Формат 60×84/16. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Бумага газетная. Усл. печ. л. 18,6. Усл. кр.-отт. 19,2. Уч.-изд. л. 20,92. Тираж 1 100 000 экз. (2-й завод 250 001—500 000 экз.). Заказ 2618. С 8

ИНКОМ НВ

103009, Москва, Козицкий пер., 1а

Отпечатано с готовых диапозитивов в полиграфической фирме «Красный пролетарий» РГИИЦ «Республика»
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.


2
Александр Солженицын
В КРУГЕ ПЕРВОМ